

**WE STAND WITH
UKRAINE!**



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ



4 (24) 2022

ВРЕМЕНА

Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

Выпуск 4 (24) 2022

Бостон
2022

ВРЕМЕНА

*Международный литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Давид Гай

VREMENA

*International Journal of Fiction, Literary Debate,
and Social and Political Commentary*

EDITOR-IN-CHIEF: David Guy

Published by **M•GRAPHICS | Boston, MA**

ISSN 2575-9558

Copyright © 2022 by M•GRAPHICS

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except for brief quotations in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

For any information about obtaining permission to reproduce selections from this publication, email or call to the publisher: mgraphics.books@gmail.com / 781-990-8778 or editor-in-chief: guydavid094@gmail.com / 646-270-9615.

Printed in the U.S.A.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

ИРИНА БАСОВА-ЗАБОРОВА	(ФРАНЦИЯ)
ВЛАДИМИР БАТШЕВ	(ГЕРМАНИЯ)
МАРК ВЕЙЦМАН	(ИЗРАИЛЬ)
СЕМЁН КАМИНСКИЙ	(США)
ГЕННАДИЙ КАЦОВ	(США)
ГАРИ ЛАЙТ	(США)
АНДРЕЙ ОСТАЛЬСКИЙ	(АНГЛИЯ)
ЛАРС ПОУЛЬСЕН-ХАНСЕН	(ДАНИЯ)
СЕМЁН РЕЗНИК	(США)
ЭЛЛАЙДА ТРУБЕЦКАЯ	(США)
МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР	(США)
ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН	(США)

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

Дорогие читатели!

Началась подписка на журнал на 2023 год (4 номера).
Для получения всех номеров выпишите чек / money-order
на сумму **70 долларов** (почтовые расходы по США включены)
на имя компании-издателя: **M•GRAPHICS**

Вложите чек/money-order в конверт и отправьте по адресу:

Mr. David Guy 97-07 63th Road, Apt. 11H Rego Park, NY 11374

Телефон для справок: **646-270-9615**. Спасибо!

Вы также можете оформить подписку на нашем вебсайте:

vremena.mgraphics-books.com/subscription

Наши зарубежные читатели теперь имеют возможность оформить
подписку на журнал на нашем сайте с онлайн-оплатой:

vremena.mgraphics-books.com/subscription

Стоимость подписки на год для зарубежных читателей
(включая доставку) — **US \$80**

СОДЕРЖАНИЕ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

- Павел ФИЛАТЬЕВ
ZOY (ПРАВДА ГЛАЗАМИ РОССИЙСКОГО ДЕСАНТНИКА) 7
- Марианна ЛАПТЕВА
НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ
(ХРОНИКА ЖИЗНИ СЕМЬИ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ) 20

ПРОЗА

- Майк ЛОГИНОВ
ЭЛИКСИР ДЛЯ ИЗБРАННЫХ (ОКОНЧАНИЕ) 54
- Владимир БАТШЕВ
ПИСЬМО В БИНГЕН НА РЕЙНЕ. 104
- Александр МАТЛИН
ГАРИНИТУР НЕСЧАСТНЫЙ 118
- Александр ЛИВЕНЦОВ
НЕТ — НОЛЬ, ДА — ЕДИНИЦА 127

ПОЭЗИЯ

- Геннадий КАЦОВ 42
- Борис КАМЯНОВ 88
- Валерий СКОБЛО 98
- Юрий СОЛОДКИН 165
- Эллайда ТРУБЕЦКАЯ 179

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Ольга КУЧКИНА

ТАЙНОЕ ОКНО (СОБРАНИЕ АВТОГРАФОВ) 132

ЮБИЛЕИ

Валерий БОЧКОВ

МАСЛЕНИЦА В ВИРДЖИНИИ 172

НЕЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

ПОЭТ БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ (к 80-летию Василя Дробота) 187

ПЕРЕВОДЫ

Гари ЛАЙТ

СОВРЕМЕННЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ ПОЭТЫ 203

РЕМИНИСЦЕНЦИИ

Дмитрий ПЕТРОВ

СОЛО НА СУДЬБЕ С ОРКЕСТРОМ 216

ЭХО ХОЛОКОСТА

Аркадий Блюмин

ЖИЗНЬ И СУДЬБА ЖАНИСА ЛИПКЕ 254

ТВОРЦЫ КОСМИЧЕСКОЙ ЭПОХИ

Марк АВРУТИН

ВЕРНЕР ФОН БРАУН — ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ 266

Дорогие подписчики и читатели журнала

Сотрудникам редакции журнала и издательства M•Graphics, готовящим журнал к публикации и печати, всегда важно знать, что о журнале думают его читатели, нравятся ли им публикуемые материалы и их подбор, а также оформление журнала.

Ваши отзывы о публикуемых материалах помогут другим читателям обратить внимание на те публикации, которые они по каким-то причинам пропустили и, возможно, послужат начальным толчком в написании своих отзывов на острые полемические материалы.

Мы приветствуем ваши пожелания и замечания, направленные на улучшение журнала, на расширение диапазона публикуемых материалов, а также на улучшение нашего сайта и присутствия журнала в интернете.

Пишите нам — все приходящие в редакцию и издательство пожелания и замечания внимательно изучаются, отзывы о публикуемых материалах будут помещаться в последующих выпусках журнала и на нашем веб-сайте для всеобщего ознакомления. Не забудьте указать ваше имя, город (штат) и страну вашего проживания.

Мы также просим вас сообщать нам о всех случаях неполучения или поздней доставки журнала. К сожалению работа почтовой службы оставляет желать лучшего, но мы принимаем все доступные нам меры по исключению таких досадных сбоев.

Ждём ваших писем!

**<https://vremena.mgraphics-books.com/contact-editor>
<https://vremena.mgraphics-books.com/contact-publisher>**

Павел ФИЛАТЬЕВ

ZOV

Правда глазами российского десантника

ОТ РЕДАКЦИИ

«Вот уже прошло полтора месяца, как я вернулся с войны. Я знаю, что нельзя говорить слово «война», его запретили. <...> Так вот это война: наша российская армия стреляет в украинскую, а та стреляет в ответ, там взрываются снаряды и ракеты. <...> При этом гибнут военные с обеих сторон, а также мирные жители, которым «посчастливилось» жить там, где решили начать войну, называя её «специоперацией», — так начинаются воспоминания российского военнослужащего Павла Филатьева, которые он написал, вернувшись из Украины.

Павел Филатьев — десантник, родом из Волгоградской области, в 2010-х годах служил в Чечне, а в августе прошлого года из-за проблем с работой и отсутствия денег решил подписать новый контракт на службу. Он участвовал в войне на территории Украины в составе 56-го десантно-штурмового полка. Его подразделение в первые дни вторжения отправили на штурм Херсона. Из-за травм, полученных на поле боя, Филатьева эвакуировали на лечение, на фронт он больше не вернулся.

Сейчас Филатьев выступает против войны: он рассказывает правду о том, что увидел своими глазами. Свои воспоминания он описал в книге «ZOV».



Разумеется, путинские карательные органы не простили бы мужественному воину такой откровенности. Ему грозил арест и длительный тюремный срок (а могли и вовсе уничтожить). В канун дня рождения 8 августа (Павлу исполнилось 34 года) он покинул Россию. Помогла ему в этом команда оппозиционного Кремлю портала GULAGu.net. В интервью Филатьев сказал, что намеревается просить политического убежища во Франции.

Мы публикуем фрагменты из его книги..

О БЕСПОРЯДКЕ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВОЙНЫ

Безуспешно мыкаясь и подрабатывая в разных местах, [в августе прошлого года] я принимаю решение вернуться в армию. К 33 годам я так и не имею своего жилья. <...> Мне приходит приказ прибыть в часть [в Крыму]. Спустя дней 10 выдают форму, но только летнюю, берцов нужного размера нет, из-за чего иду и покупаю себе берцы... <...> На утреннем построении <...> начинаю приходить в ужас: на плацу развешены два разодранных флага РФ и ВДВ, из колонки уныло играет гимн, а половина военнослужащих его не поёт. <...>

В середине октября начинают выдавать демисезонную и зимнюю форму, но только поношенную и размеров нет. Я отказываюсь получать поношенную форму не по размеру, из-за чего начинается обострение отношений с командованием, бунтарей тут не любят. После ругани с ротным иду и покупаю себе бушлат. Ротный начинает мстить, пихая в наряды через сутки. <...>

Прибываем на площадку для [учебных] прыжков [с парашютом], ночью был минус, ехали в открытых КамАЗах, все приехали одубевшими от холода... <...> Многие военнослужащие были без тёплой одежды: кто-то не получил, кто-то отказался получать поношенную либо форму не по размеру. <...> На следующий день просыпаюсь, у меня жар, двустороннее воспаление лёгких. <...> В течение недели в инфекционное отделение поступило около тридцати военнослужащих моей части с диагнозами ОРВИ, бронхит, ангина. Все присутствовали на прыжках. <...>

Весь этот бардак достал, пишу жалобу в Министерство обороны: *«Моё командование в/ч 81505 не соблюдает мои права военнослужа-*

щего <...> Обеспечение себя формой наполовину легло на меня самого. <...> Необеспеченность питанием. <...> За три с половиной месяца моей службы я так и не имею записи в военном билете о том, что служу в этой воинской части! За мной не закреплено оружие! <...> За три с половиной месяца отсутствовали занятия, если не считать предпрыжковую допподготовку. Среди контрактников царит атмосфера апатии и 90% в курилках обсуждают: «Быстрее бы закончился контракт». <...> Находясь на столь важном стратегическом направлении, вижу полнейшую анархию, на боевую готовность здесь лишь блёклый намёк». <...>

Командование части [после жалобы в Минобороны] быстро состряпало разбирательство, где выставило меня как регулярно нарушающего дисциплину и как худшего военнослужащего в части. <...>

После ответа от Министерства обороны на мою жалобу, в котором мне пожелали крепкого десантного здоровья и рекомендовали следить за собственной дисциплиной, служить в этом царстве дурдома желание отпало окончательно. <...> И это ВДВ, элита, резерв верховного главнокомандующего! Как сейчас обстоят дела в других подразделениях, страшно представить.

ПРО ОТПРАВКУ НА «УЧЕНИЯ»

В середине февраля моя рота, как и многие другие подразделения, была на полигоне в Старом Крыму. Смотря новости, я понимал, что точно что-то назревает, на полигон стогнали всех, кто увольнялся или болел. С одной стороны, я не хотел иметь больше ничего общего с такой армией, где ты никто, а твои прописанные в законе права написаны лишь на бумаге, где твоя зарплата меньше, чем у грузчика в «Магните». Понимал и то, что армия небоеспособна <...> С другой стороны, я думал, что сейчас, когда что-то назревает, отказаться будет постыдно, равносильно тому, что струсил. <...>

Наша рота жила вся в одной палатке, человек 40. В палатке нары, печка-буржуйка. Даже в Чечне быт был организован лучше. Питание в столовой ещё хуже, чем в гарнизоне... <...> Мыться было негде. <...> Те, кто приехали позже остальных, как я, не имели ни спальника, ни маскировочного костюма, ни брони, ни каски. <...>

Было нечем топить печки, негде было мыться, из-за чего люди ходили на море зимой. В итоге госпитали уже в феврале были забиты

больными, и даже пришёл приказ на запрет ложиться в госпиталь. <...> Задаю своему командиру вопрос: «Где мой спальник и комплект «Ратник?»» На что тот ответил, что его нет, и где спать, и где брать амуницию — это моя проблема. <...>

Следующие несколько дней мы ходили на стрельбище, <...> там я наконец-то впервые взял свой автомат, <...> до этого четыре месяца у меня вообще не было закреплённого оружия! <...> Оказалось, что мой автомат со сломанным ремнём и просто ржавый, на первых же ночных стрельбах произошло затыкание [патрона] (приводит к остановке стрельбы — *Прим. ред.*) после нескольких выстрелов. <...>

Где-то 20 февраля пришёл приказ всем срочно собраться и выдвигаться налегке, предстоял марш-бросок неизвестно куда. Тогда большинство надеялось, что это означает окончание учений. <...> В итоге мы приехали в поля [возле города Армянска в Крыму]. <...> Во многих УАЗах даже не работали печки. <...> Уже тогда все были грязные и измотанные. Некоторые почти месяц жили на полигоне без каких-либо условий, нервы у всех были на пределе, атмосфера становилась всё серьёзнее и непонятнее. <...>

Никто толком не понимал, что происходит, все гадали. 23 февраля прибыл командир дивизии, и, поздравив нас с праздником, объявил, что с завтрашнего дня зарплата в сутки составит 69 долларов (примерно 7 тысяч рублей). Это больше 200 тысяч в месяц, плюс обычная зарплата. Это был чёткий знак, что будет что-то серьёзное. <...> Тогда мы осознали, что это не крымская операция «Вежливые люди» и не учения, а началась полноценная война. Пересекая границу Украины под залпы ракет в сопровождении боевых вертолётов и самолётов, уже тогда стали говорить, что никаких денег такая работёнка не стоит. <...>

КАК НАЧИНАЛАСЬ ВОЙНА

[24 февраля я] проснулся часа в два ночи [в кузове КамАЗа], колонна выстроилась где-то в глуши, все заглушили двигатели, фары выключены. <...> Слышу грохот, гул, вижу, что небо стало светлым от залпов: справа и слева от нашей колонны работала реактивная артиллерия. Было непонятно, что происходит, кто и откуда стреляет и по кому. <...> Пошёл тихий ропот: «Началось». <...> Я почувствовал <...> тревожное осознание того, что сценария «КрымНаш» не будет, появилось чёткое предчувствие пиздеца.

Я не мог понять: это мы ведём огонь по наступающим украинцам? Может, по НАТО? Или мы нападаем? По кому ведётся этот адский обстрел? <...> Армия так устроена, что задавать вопросы там некому, <...> мне никто ничего объяснять не будет. Я могу лишь бросить оружие и побежать куда-то назад и стать трусом либо идти за всеми. <...> Сейчас я понимаю, что меня использовали: <...> где-то хитростью (СМИ и патриотизм), где-то силой (закон и наказание), сахарком (зарплата), где-то похвалой (награды и звания). <...>

Колонна заметно оживилась и начала медленно двигаться вперёд. <...> Я слышал стрельбу и взрывы в той стороне, куда мы едем. <...> Мой «Урал» медленно пересёк разбитый погранпост таможни Крым — Украина <...> Я увидел покорёженные, дымящиеся или расстрелянные автомобили. <...> Показались указатели, надписи на украинском, флаги Украины. <...>

Вдруг мы резко останавливаемся на какой-то безлюдной дороге, поступает команда «К бою!» Мы все резко, но неумело высыпаемся из машин и разбегаемся по сторонам дороги, занимая позиции к бою: кто на колено, кто лёжа, а кто-то тупо стоит, потому что в падлу пачкаться. Хорошо, что команда ложная, иначе подготовленный противник хорошенько бы потрепал нас с такой выучкой. <...>

Всё это время я ехал с патроном в автомате и готов был выстрелить в любого, представляющего опасность. Куда, зачем и почему мы едем, не было ясно. Было точно понятно, что началась настоящая война. <...> [Позже] узнаю, что [у нас] приказ ехать на Херсон, захватить мост через Днепр. Стало понятно, что мы напали на Украину... <...>

Узнал, что у нас уже есть раненые и убитые. <...> Потом низко над нами пролетел истребитель, чей он — наш или нет — никто не понял, у командования связи нет. <...> Командир говорил, что связи нет, хрен пойми, что происходит, но главное — не ссать, сейчас мы поедem дальше. Он говорил это с напускной храбростью, но в глазах я видел, что он тоже в ахуе.

[25 февраля] готовимся выдвигаться. <...> Вдруг появился начмед (начальник медицинской службы — *Прим. ред.*) полка, он ходил и искал, куда переложить раненого. <...> [Он увидел, что] в кузове нашего «Урала» всего два человека, а кузовов ровно уложен ящиками с минами, на которые можно положить раненого на носилках. Положил парня в бреду на ящики, начмед сделал ему укол, завернул в фольгу и сказал, чтобы мы смотрели: если начнётся кровотечение, перетянуть жгут.

Похоже, что это был парень, которому [свои же] сломали ногу поворотом пушки на БМД (боевой машине десанта — *Прим. ред.*). Он лежал и очень тихо стонал, постоянно говорил, что ему холодно. <...> Потом мне сказали, что этот парень умер. Вместо того чтобы, как в «американских фильмах», эвакуировать его в госпиталь к прекрасным и заботливым медсёстрам, мы везли его всё дальше в тыл противника на ящиках с минами в «Урале», в котором не было тормозов.

ПРО ОТНОШЕНИЕ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ К МИРНЫМ ЖИТЕЛЯМ

В [украинских] населённых пунктах нас встречали редкие люди и провожали угрюмым взглядом. <...> Было чувство тревоги и ощущения опасности от этих домов, одновременно с чувством уважения к их патриотизму. Я понимал, что если вдруг из одного из домов <...> мне покажется опасность, то буду стрелять не думая. Невнимательность или промедление — смерть моя или товарищей, сомнения опасны. Но в то же время мне не хотелось никого убивать... <...> Мимо колонны по трассе ходили гражданские с сумками: очевидно, те, кто убежал от войны. В основном все шли и ехали из Херсона, куда мы сейчас готовились выдвигаться. <...> Мимо нас уже проехали сотни автомобилей с видеорегистраторами, а некоторые через стекло открыто снимали нас на телефон, какой же дурдом. <...>

На позициях по правой стороне дороги что-то начинает гореть, минут через 10 слева от нас тоже начинается пожар. Кто-то поджёг слева и справа от наших позиций сухой камыш. Очевидно, что кто-то сделал это специально, и это точно не наши. <...> Появляется какая-то злость на гражданских людей. Я понимаю, что мы тут незваные гости, но для их же безопасности им лучше держаться от нас подальше. Поэтому злит и удивляет поведение гражданских.

Какого хрена мы вообще здесь делаем? Это не наша специализация. Мы не полиция и не ОМОН, все настроены на столкновения с ВСУ, и никто не хочет объяснять гражданским: нахуя мы сюда прибыли, мы и сами не знаем. Рассуждать уже поздно, ты на передовой и либо ты, либо тебя. <...>

[28 февраля] узнаю слух, что кто-то расстрелял гражданский автомобиль, который не останавливался, из пушки БМД. В автомобиле была мать и несколько детей, выжил лишь один ребёнок. <...> Смерть невинных гражданских была и будет в любой войне, но становится

гадко в душе. Пока наши правительства выясняют между собой, как кому жить, а военные с обеих сторон являются их инструментом, гибнут мирные люди, их привычный мир рушится. Когда ты осознаёшь это — не знаешь, как тебе поступить. Бросишь всё и уйдёшь — тогда станешь трусом и предателем. Продолжишь в этом участвовать — и станешь соучастником смертей и страданий людей.

О НЕРАЗБЕРИХЕ НА ПОЛЕ БОЯ В ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ

У меня крутятся мысли о том, как мы будем штурмовать Херсон: не думаю, что выйдет мэр города с хлебом и солью, поднимет флаг РФ над зданием администрации, а мы парадной колонной войдем в город. <...> Насколько я слышал, Херсон — крупный город, если мы заедем туда колонной, то нам пиздец. Я знал наш уровень подготовки и организованности и готовился к худшему. Насколько же должны быть плохи дела в украинской армии, что наше командование решило, что мы возьмём наскоком этот город? Взять мы его должны были ещё вчера, вчера был эффект неожиданности на нашей стороне, но все как всегда. В мирное время бардак, а в военное он стал ещё хуже. <...>

<...> Сейчас по нам ожидается отработка «градов» противника, и очевидно, что тогда будет много 200-х и 300-х (погибших и раненых — *Прим. ред.*) Наших самолётов и вертолётов давно не видно, связи нет, все устали и хотят спать, но умирать тоже никто не хочет. Некоторые усиленно роют окопы из последних сил, обливаясь потом... <...> Нас здесь человек 500, техника расставлена хаотично, роются окопы и траншеи. Понимаю, что окопы в песке точно не спасут нас от РСЗО (реактивной системы залпового огня — *Прим. ред.*). <...> Хожу с комком в горле, понимая, что до утра могу не дожить. <...> Подойдя к одной из групп, <...> общаюсь с ребятами, они мне рассказывают, что их [в 11-й бригаде] осталось [в живых] человек 50. <...> Мне было обидно от осознания того, что я вот так бесславно умру под ударами РСЗО и контратакой ВСУ. <...> Для нас это будет просто мясорубка, мы истощены, мы не на своей земле, не знаем местность, связи нет, поддержки авиации и артиллерии нет, те, кто прорвались вперёд, уже уничтожены. <...> Где основные силы? Где «арматы», «сарматы», «белые лебеди» и все остальное дерьмо из пропаганды по ТВ?! <...>

Вся подготовка наша была лишь на бумаге, техника наша безнадёжно устарела. <...> Мы, десантно-штурмовой батальон, отправлены на войну в УАЗиках! Огромное количество техники просто не смогло доехать до войны, а это всего лишь 200 километров. У нас даже тактика до сих пор такая же, как у дедов! <...> С такими мыслями я побрёл к очередному УАЗу моей роты, кто-то где-то добыл бутылку коньяка.

<...> Начинаем собираться на штурм Херсона... <...> в ВДВ нет серьёзной техники и вооружения, мы не основная армия, наша общая численность на всю страну максимум 40 тысяч, из них часть срочников и они находятся в гарнизоне. Где армия? <...> Ехали недолго, впереди показался маленький мост, это уже въезд в город. На мостике наша колонна выстраивается и застывает на месте... Идеальное место для засады, колонна стоит на узкой дороге... Мы просто идеальная мишень на своих небронированных УАЗах, стоим минут 20 не двигаемся... <...> В итоге стали <...> медленно двигаться обратно. Оказалось, что мы проебали нужный поворот.

О НЕХВАТКЕ БЫТОВЫХ ВЕЩЕЙ И МАРОДЁРСТВЕ

Начинает темнеть, приходит команда всем окопаться. <...> Было очень холодно, начался мороз, некоторые стали пытаться спать по очереди. Ни у кого не было спальных мешков, поднялся сильный ветер, и мороз стал пробирать до костей. <...> Иду где-нибудь найти спальник. <...> Некоторые находили какие-то картонки и тряпки, укрываясь ими. <...> Проходя мимо частных домов, вижу, что один из них был вроде как заброшен и не похож на жилой. <...> Глядя на жилой дом рядом, находившийся в этом же дворе, стою и борюсь с желанием войти в него, попросить [у местных] одеяла. Если в доме не будет людей, то просто войти и взять что-нибудь, чтобы согреться... Спустя несколько минут отказываюсь от этой идеи: реакция у них может быть самая разная. <...> Чувство мерзкое от всего вокруг, мы как твари просто пытаемся выжить. Нам и противник не нужен, командование нас поставило в такие условия, что бомжи живут лучше. <...> Я постелил одну клеёнку на землю, мы легли с пареньком, прижавшись друг к другу, чтобы хоть как-то согреться, сверху мы накрылись другой клеёнкой, она не грела, но немного защищала от ветра.

[На следующий день] мы прибыли в Херсонский морской порт. <...> Все выглядели истощёнными и одичавшими, все начали обыскивать здания в поисках еды, воды, душа и места для ночлега, кто-то стал таскать компьютеры и всё ценное, что смог найти. Я не был исключением: нашёл шапку в разбитой фуре на территории, забрал её. Балклава была слишком холодной. В кабинете с телевизорами сидели несколько человек и смотрели новости, там же они нашли бутылку шампанского. <...>

В офисах была столовая с кухней и холодильниками. Мы, как ди-кари, съели всё, что там было: хлопья, овсянка, варенье, мёд, кофе... <...> Было абсолютно плевать на всё, мы были уже доведены до предела, большинство прожили в полях месяц без любого намёка на комфорт, душ и нормальную еду. Людей, не дав им после этого отдохнуть, отправили на войну. Каждый хаотично искал себе место для сна, шла ругань за очередь в душ. <...> До какого же дикого состояния можно довести людей... <...> За ночь мы перевернули всё вверх дном. Встретил [солдат], ломающих кофе-автомат в поисках гривен, непонятно на хрена они им сдались.

ПРО УСТАЛОСТЬ ОТ ВОЙНЫ

[3 марта] пошёл слух о том, что мы поедem на штурм Николаева и дальше на Одессу. Я не мог этому поверить: неужели наверху не понимают, что люди измотаны? <...> Теперь до нас дошли слухи, что пехота из мотострелков массово отказывается ехать, поэтому у нас нет возможности отдохнуть. Появилась злость на отказников. <...>

Далее больше месяца был день сурка. Мы окапывались, по нам работала артиллерия, по ВСУ работала наша артиллерия, нашу авиацию почти не было видать. Мы просто держали позиции в окопах на передовой: ни помыться, ни поесть, ни поспать нормально. Все обросли бородами и грязью, форма и берцы стали выходить из строя. Высокое командование мы не видели. <...> Жрать было нечего, кроме сухпаев: одна коробка на два дня. <...>

Объявили о том, что будут платить деньги за каждого убитого солдата ВСУ или подбитую технику, прям как раньше делали боевики в Чечне. <...> Никто так и не привёз нам новую форму, обувь, амуницию и тёплую одежду. Пара коробок гуманитарной помощи содержала в себе дешёвые носки, майки, трусы и мыло. По сути, до нас доехали лишь посылки от родственников и жён. Но почему-то посылки

не всегда доходили до адресата и были вскрыты. Лишь благодаря им мы стали хоть как-то «нормально» пить чай, кофе, подкармливаться консервами, конфетами <...>

Кто-то стал стрелять себе в конечности или специально подставляться, чтобы получить 3 миллиона (выплата за ранение — *Прим. ред.*) и свалить из этого ада.

Из-за обстрелов артиллерии некоторые сёла рядом практически перестали существовать. Все вокруг становились всё злее и злее. Какая-то бабушка отравила наших пирожками. Почти у всех появился грибок, у кого-то сыпались зубы, кожа шелушилась. Некоторые стали спать на посту из-за усталости. <...> Кто-то стал сильно бухать, непонятно где находя спиртное. <...>

Каждый раз при артобстреле я вжимался головой в землю и в голове вновь всплывала мысль: «Господи, если я выживу, то сделаю всё, чтобы изменить это!» <...> Мне не страшно было умереть, мне было обидно так нелепо отдать жизнь из-за этого дерьма, непонятно ради чего, ради кого? <...> Мне было обидно, что верхушке на нас насрать. Они всячески демонстрируют, что мы для них нелюди, мы просто как скот. Мне было обидно, что перед войной, которую [они] начали, сделали всё, чтобы развалить нашу армию. <...>

Чувство, которое ты испытываешь, когда покидаешь зону боевых действий, неопишимо... Два месяца грязи, голода, холода, пота и ощущения присутствия рядом смерти. Жаль, что не пускают репортёров к нам на передовую, из-за чего вся страна не может полюбоваться на десантников — заросших, невымытых, грязных, худых и озлобленных, <...> на своё бездарное командование, неспособное заняться оснащением [солдат] даже во время боевых действий. Половина моих ребят переодевались и ходили в украинской форме, потому что она более качественная и удобная, либо своя была изношена. А наша великая страна не способна одеть и накормить собственную армию.

ПРО СУДЬБУ РАНЕНЫХ

К середине апреля мне попала земля в глаза из-за обстрела артиллерии, и начался кератит. Спустя пять дней мучений из-за угрозы потери глаза меня всё-таки эвакуировали. <...>

<...> Фельдшер, отправлявший меня на эвакуацию с передовой, просил передать в медицинский отряд, что у него нет шприцев и обезболивающих, на передовой нет даже этого. <...> Достаточно просто

сравнить аптечку российского солдата и американского, теперь часто встречающуюся у ВСУ. Лучшей параллелью будет сравнение «жигулей» и «мерседеса». <...>

<...> Нас привезли в одну из казарм, которая была определена под тех, кто выписан из госпиталя и направлен туда для ожидания отправки в часть. [Там была] сотня людей, вернувшихся с войны, у которых едет крыша после пережитого и ощущения счастья от того, что они остались живы и вернулись в цивилизацию. Кто-то сильно заикается, двоих видел с потерей памяти, многие там жёстко пьют, пропивая то, что заработали, выезжая ночью к проституткам и прогуливая по 100 тысяч за сутки. <...>

Лечиться и покупать лекарства пришлось за свой счёт. Два месяца я пытался добиться лечения от армии, ходил в прокуратуру, ходил к командованию, к начальнику госпиталя, писал президенту. Всем плевать, никто не помог. Ни страховок, ни лечения. <...>

Плюнув на всё, я решил пройти военно-врачебную комиссию и уйти [из армии] по здоровью. <...> Командование заявило, что я уклоняюсь от службы, и передало документы в прокуратуру на возбуждение уголовного дела. Многих, беря на такой понт, пытаются отправить обратно. <...> Их цель — ради новой звезды закинуть как можно больше людей назад, пусть без подготовки и оснащения.

Армия, в которой гнобят своих же солдат... тех, кто уже был на войне, тех, кто не хочет возвращаться туда, умереть непонятно за что. Полно погибших, родственникам которых не выплатили компенсации. Раненым и больным в большинстве случаев отказывают в компенсации и страховках. <...> Больше половины полка нет, кто-то уволился по разным причинам, есть больные и раненые, погибшие. Есть даже те, кому до сих пор ничего не заплатили [за службу по контракту], так как по документам их там не было, а письма в Министерство обороны не дают никакого результата. <...> А три миллиона, которые мы называем «путинскими», я не получил, как и многие другие. На счету моей карты за два месяца «спецоперации» было 215 тысяч рублей.

О ПРИЧИНАХ НЕУДАЧ РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Главная причина [неудач российской армии в Украине в том, что] мы не имели морального права нападать на другую страну, тем бо-

лее на самый близкий нам народ. <...> Когда всё это началось, я знал мало людей, которые верили в нацистов и тем более желали воевать с Украиной. У нас не было ненависти и мы не считали украинский народ врагами.

Вторая причина — это то, как всё начиналось. Начинать «специальную операцию» с обстрелов территории Украины артиллерией, авиацией и ракетами... На какой приём от гражданского населения мы рассчитывали, если люди 24 февраля проснулись от взрывов артиллерии, авиации и ракет? Кто ожидал, что после такого начала народ не сплотится против захватчиков?

Третья причина — это ужасная коррупция и бардак в нашей армии, её моральное и техническое устаревание. <...> Карьерный рост возможен лишь при наличии связей и лояльности системе. В нынешней армии, чтобы не иметь проблем, надо молча делать то, что сказали, даже если сказали полную глупость. <...> Офицеров до сих пор учат, как управлять армией по призыву, а не профессиональной армией контрактников, которые зачастую старше по возрасту, чем молодые офицеры. Отбор в армию далёк от здравого смысла, устроиться тяжело, а уволиться ещё сложнее. <...> Заработная плата контрактника далека от достойной. <...>

Военные уставы написаны для армии прошлого, и их до сих пор не приспособили к современным реалиям. Мы все там выслуживаемся, а не делаем армию сильнее. <...> Многая наша техника устарела или её недостаточно, а сложная система поставок новой [техники] не работает эффективно. Многого существует лишь на бумаге и в отчётах. <...> Наша амуниция и форма неудобная и некачественная: большинство военнослужащих покупают и переодеваются в американские, европейские образцы или даже украинскую [форму]. <...> Почему снова, как в 1941 [году], мы не готовы к современной военной реальности? Почему миллионы мужчин, служившие в армии, об этом знают и молчат?

ХОТЯТ ЛИ РОССИЙСКИЕ СОЛДАТЫ ВОЕВАТЬ?

Большинство в армии недовольны тем, что там происходит, недовольны правительством и своим командованием, недовольны Путиным и его политикой, недовольны министром обороны, не служившим в армии. <...> Большинство военных не хотят никого убивать и тем более не хотят войны, но мы скованы патриотизмом, законами,

чувством вины перед сослуживцами, никто не хочет быть трусом. Мы не можем бросить оружие и сбежать. <...>

Я не вижу в окопах детей Скабеевой, Соловьёва, Киселёва, Рогозина, Лаврова, Медведева, зато постоянно слышу от них призывы убивать. Сын какого депутата Думы находится на войне? Их дети более талантливые и умные, чем дети рабочих и крестьян? Или родители не желают им такой судьбы, как у нас? Многие едут туда, потому что это хоть какой-то шанс заработать. <...>

Мы все стали заложниками многих факторов, таких как месть, патриотизм, деньги, долг, карьера, страх перед государством. Я считаю, что мы заигрались. Мы не ДНР и ЛНР присоединили, мы начали страшную войну. Войну, в которой уничтожаются города и которая приводит к гибели детей, женщин и стариков.

Марианна ЛАПТЕВА

НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ...

ХРОНИКА ЖИЗНИ СЕМЬИ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ

НИЧЕГО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО, ПРЕДВЕЩАЛО ВСЁ

Мы не верили. Мало кто верил. Забавно сейчас вспоминать: было время, когда украинские новости ещё запугивали, а не успокаивали. Мы не верили новостям. Думали, это всё накручивание, создание инфоповода. Я говорила так: пока сама из собственного окна не увижу, собственным ухом не услышу — не поверю. Поэтому мы не скачали карту бомбоубежищ, не собрали «тревожный чемодан».

Зима заканчивалась, от неё уже все устали. Ковид, карантин, а тут ещё эти учения у наших границ. Все обсуждали выступление Путина «мы вам устроим декоммунизацию», шутили, что у деда деменция и пора пить таблетки. А мы, как все, заканчивали ремонт, строили планы, хотели весной поехать в отпуск в Европу. И когда из страны в один день улетели сразу несколько влиятельных лиц, и когда почти одновременно закрылись филиалы IT компаний и перевезли своих сотрудников в Польшу, и даже когда перестали работать посольства других стран в Украине, мы уверяли друг друга: это всё накручивание. Какая война в 21 веке, не смешите!

Вечером ужинали вместе, обсуждали что-то, что тогда ещё было важным, спорили, хохотали. В десять я уложила детей спать. Вымыла посуду. Перед сном решила принять ванну, зажгла свечи. Вода остывала медленно. Хотелось побыть в этом состоянии тепла, безопасности, домашности как можно дольше, побыть в тишине. Я провела так целый час, ещё думала, что зря просидела в ванной так долго.

Если бы я знала, что этот час был прощанием с моей прошлой жизнью, вряд ли я стала бы себя корить.

ДОМ

Меня зовут Марианна, для друзей Маша. Мне 34, у меня муж Руслан и четверо детей: Лере недавно исполнилось 14, Милане 9, Нике 5, а младшему, Лёве, 2. Я родилась в Одессе, так же как мои мама и бабушка, которых, к сожалению, уже нет. Папа из Николаева, он тоже умер. Моё детство прошло у моря, на даче. Городские пляжи всегда забиты туристами, поэтому одесситы ходят на дикие. А дикие пляжи Одессы — волшебные. Утром солнце поднимается над морем из-за фиолетового утёса, песок ещё холодный и мелкие волны булькают на камнях. На горизонте, как бусины на нитке, плывут рыбацкие лодки, пахнет рыбой и водорослями, летают чайки, толстые и смешные, а вдалеке белый маяк торчит, как невыкуренная сигарета.

Одесса — дом, который по счастливой случайности мне достался, я думала, что проживу здесь всю жизнь. Здесь я ходила в школу, поступила в универ, влюбилась, вышла замуж, родила детей. Здесь мои друзья, мой любимый ресторан, даже любимый рынок. В моём дворе летом цветёт акация и липа, мои соседи жарят по вечерам бычков, играют на пианино и ругаются матом, когда смотрят новости. И обнимающие поля пшеницы, гороха, подсолнуха, и солнце, дробящееся в окнах домов, и бесконечные ноябрьские дожди, и мерзкая, пронизывающая зима с мокрой кашицей вместо снега, и даже подъезд, в котором никак не заменят лампочки — всё это мой дом. Я никогда не думала, что можно так сильно и нежно его любить. Жаль, что пришлось понять это, оказавшись за тысячи километров.

24.02 2022. ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОЕ ВОЕНЯ

...Бахает так, что включились сигнализации машин. Стёкла дребезжат, я думаю, что они сейчас вылетят. Дверь в спальню открылась и хлопнула. Первое, что приходит в голову — «петарда». Петарда — не страшно. Какие-то дураки ночью балуются. Успокаиваю себя и снова ложусь, а через секунд двадцать бахает снова, сильнее. Потом звук, похожий на свист фейерверка и новый взрыв. Мы включаем свет, встаём, смотрим в окна. Дом напротив тоже больше не спит. Люди выглядывают с балконов, выбегают на улицу. Я вижу, как соседи во дворе спешно бросают сумки в багажники, садятся в машины и уезжают. Другие кричат что-то, я не могу разобрать. Одно только слово, как эхо, в каждом окне: «Началось... началось... началось...». Просыпается Лера, моя старшая дочь. Она плачет, задыхается от страха, дро-

жат руки. Я закутываю её в одеяло, стараюсь успокоить, но задыхаюсь сама. Руслан листает новости, ходит по комнате, кому-то звонит. «Это на два-три дня. Это всё быстро закончится. Не будет никакой войны, вот увидишь».

Мы не заметили, как рассвело. Холодное, тусклое февральское солнце. Если бы остаться здесь, в этой точке, когда ещё только начало, когда ничего не знаешь и кажется, что можно всё вернуть. Остановите это, пусть это прекратится, пусть я проснусь! Где-то вдалеке гудит. Страшный, тянущий звук. Сирены. Это ведь сирены, да? Почему так долго? Почему не заканчивается? И я замираю, потому что не умею справляться со страхом. Я замираю и больше ничего не могу.

Утром приходит сообщение в школьных чатах, длинные, спотыкающиеся слова: «В связи с объявленным военным положением все уроки отменяются. Просьба оставаться дома». Просыпаются дети. Милана спрашивает: «Ночью были салюты?» Ника и Лёва спали и ничего не слышали. Я говорю детям, что сегодня мы никуда не пойдём.

25.02

Мама и папа, какое счастье, что вы не дожили. Бабушка, дед, какое счастье, что вы не видите.

Война.

27.02

Смутные, похожие на размытые пятна, дни. Тишина на улицах, напряжённые разговоры. Я всё ещё не могу заставить себя собрать сумки, верю, что два-три дня и всё снова будет как раньше. Дети не спят ночами. Занимаются всякой ерундой, она отвлекает их от страха. Они шьют игрушки, вяжут салфетки, рисуют. Мы с первого дня сказали детям всю правду. Началась война. Нужно быть внимательными и помогать друг другу. Нужно быть начеку. Муж продолжает ходить на работу. Он врач, «я не могу подвести пациентов, я должен работать, что бы ни было». А после работы он протирает ложки. Часами сидит в кухне и протирает. Он кажется очень спокойным. Я не живу. От страха не могу есть, спать, меня всё время тошнит. Один хороший друг по телефону заставляет меня пить какао через трубочку, и это ещё держит меня на ногах. Муж берёт на себя домашние дела и детей.

28.02

Нет сил на то, чтобы встать с кровати. Моя рука не выпускает телефон даже ночью. Двадцать четыре часа новостей. Они занимают все мои мысли и становятся с каждым днём всё хуже: Киев, Гостомель, Мариуполь, Херсон, Харьков. Люди бегут в бомбоубежища, ночуют в метро, подвалах.

Мои родственники пытаются выехать из Харькова, попадают под обстрел и прячутся в яме. Проводят там две ночи. Чудом остаются живы, добираются до автобусов, через Польшу улетают в Израиль. В Киеве «Грады». Дочка моей подруги отмечает в подвале свой день рождения. Ей всего семь. В Херсоне по улицам ездят российские танки. В Николаеве подрывают мост. В Одессе нервная тишина. Иногда, раз или два в день что-то взрывается, гудят сирены. Нам говорят: не волнуйтесь, это ПВО. А мы видим дым в небе, разрушенные здания в промышленных зонах города. Мы слышим взрывы, и нам повторяют фразу, которую обычно говорит президент в американском фильме-катастрофе: «Для паники нет причин». Воздушную тревогу не всегда слышно, мы скачиваем приложения и подписываемся на специальный канал в Телеграм с оповещениями. Мои друзья уезжают. Молдова, Румыния, Болгария, Польша, Германия, Швеция, Великобритания. Некоторые даже не сообщают об этом. Обидно, я злюсь, что все нас бросили. Предатели! Труссы! Но решиться уехать всё ещё не могу.

У границы с Польшей огромная очередь. Люди стоят по сорок часов. Кто-то не выдерживает и разворачивает домой. Один мужчина умирает прямо там, в очереди, в своей машине. В новостях говорят — инфаркт. Вводят закон о невыезде мужчин призывного возраста. Мои друзья — семейная пара — доехали до молдавской границы, простояли восемь часов в очереди и их не выпустили.

На границах разделяются семьи. Плачут и женщины, и мужчины. Те, кто не плачут — замирают внутри, замораживаются. Эта застывшая, как воск, травма будет с ними всегда. А мы многодетная семья и вроде бы можем выехать. Одноклассница моей дочери с семьёй попадает под обстрел, где — мы точно не знаем. Живы. И мы решаем, что ехать опасно, нужно оставаться дома. Заклеить окна скотчем, пополнить запас еды и воды, подготовить коридор к ночёвкам. Теперь в нашей новой жизни есть правило двух стен, правило не подходить к окнам, канал оповещений воздушных тревог.

Утром на скамейке под домом вижу кучу игрушек. Мы уже знаем, что приближаться нельзя, может быть взрывчатка. Соседи вызывают полицию. Тероборона с автоматами ходит под окнами. Иногда слышны выстрелы и крики. А может мне только кажется. Кого-то ловят за пособничество врагу. Кто-то пропадает без вести. Муж моей бывшей коллеги вышел утром из дома, к нему подъехала чёрная тонированная иномарка, больше его не видели. Из тюрьмы сбегают эки. Каждый доброволец может прийти в тероборону и получить автомат. Вводят комендантский час — с семи вечера нужно быть дома. Вечерами свет не включаем, нам говорят, в темноте сложнее десантироваться. Кто-то находит странные знаки на крышах зданий, на детских площадках. Их сразу замазывают чёрной краской. Муж выходит на базар, и через пять минут я слышу взрыв где-то совсем близко. Звоню, гудок, гудок, гудок, гудок...

— Алло!

— Ты где? Ты слышал?

— Да, бахнуло. Вижу дым. Я в порядке. Иду домой.

Всё изменилось, это не просто слова. От громких звуков мы вздрагиваем и смотрим в небо. По сигналу тревоги бежим в коридор. Есть те, кто быстро отошёл от страха и начал действовать. Собирают деньги, плетут сетки, набирают в мешки песок. Наш город больше не млеет под солнцем, не танцует ночами, не поёт песен. Он обложен мешками, противотанковыми ежами. Он затих в ожидании. Он готовится.

А я всё мечусь. Оставаться или ехать, где больше риск, какое решение правильное? Ведь страшно всё. Решаем остаться.

1.03. РЮКЗАК И ЧЕТЫРЕ СУМКИ

Утром вижу новость о ракетных крейсерах у берегов Одессы. О десантных кораблях. Я уже знаю как выглядит оккупированный, обстрелянный город. Мы видели в новостях Мариуполь, Херсон. Это ад наяву, ожившие кадры фильмов. Поликлиника мужа закрывается. Из города продолжают уезжать. Закрывают одну из дорог, ведущих к границе. Нехорошие слухи идут из Приднестровья. Днём опять взрывы. Я чувствую, что нужно действовать, но всё ещё не могу. От страха тело стало твёрдым, непослушным, я его почти не чувствую. Беру ручку, блокнот, пишу списки. И сама не разбираю свой почерк, пропускаю буквы. Первым делом нужно разбудить мозг. Повторяю

про себя таблицу умножения, вспоминаю выученные когда-то стихи. Я составляю списки вещей, для каждого — свой отдельный листочек. Думать трудно, решить что брать с собой — всё равно, что играть в рулетку. Я не знаю куда и насколько мы уедем, как много вещей унесём в руках. Комплект одежды, полотенца, зубные щётки. Книги не беру — тащить тяжело. Игрушки младшим детям, по три каждому, выбираю самые любимые, и обязательно пижамы, чтобы было что-то привычное. Мозг понемногу просыпается, в голове пунктирно вырисовывается план. Пишу пост в фейсбуке: «Друзья! Кто может подвезти нашу семью к молдавской границе? Сегодня!». И понимаю, что вряд ли нам кто-то поможет, ведь нас шесть человек. Что делать в Молдове, куда ехать — не знаю. Но говорят, там, у таможни есть волонтеры, они встретят, помогут с жильём. Мне дают телефоны каких-то людей, ссылки, а я пишу знакомым с машинами, но почти все уехали.

— Извини, не отвечала. Мы в Кишинёве.

— Мы в Болгарии, уехали в первую ночь.

— Сiju на Западной. Хотел в Польшу, но туда не прорваться, слишком много машин. И всем вручают повестки. Денег предлагал — не взяли. Будем пока тут.

На железнодорожном вокзале давка. Переполненные поезда. В каждом купе человек пятнадцать. Люди сидят на полу в коридорах, в тамбурах, стоят у стенок, лишь бы только уехать. Моя приятельница с ребёнком присылает фото из поезда. «Вот малый лежит на полу у стенки. Тут столько народу, дышать нечем. Я вижу мужа через окно. Уезжаем».

Заглушаю новую волну паники, заставляю себя действовать, идти по плану. Продолжаю звонить знакомым. Подруга уже по пути в Берлин, пишет: «Уезжайте! Очень прошу, уезжайте оттуда! У вас всё получится!»

Потом одна знакомая присылает сообщение: «Доберитесь до молдавской границы, там я вас заберу. Есть квартира в Кишинёве. Но только сегодня. Завтра её отдадут другим, а мы уедем. Решайте».

Я отвечаю: «Выезжаем через час».

Короткий разговор с мужем:

— Ты уверена?

— Да.

- Уверена, что хочешь ехать? Там у нас ничего нет...
- Мы едем прямо сейчас.

Отрываю от кровати окаменевшее тело. Иду, держась за стенку, голова кружится. Вручаю детям списки вещей, даю чёткие указания. Вдруг звонок:

— Эй, семейство! Я слышал, вам транспорт нужен. Могу предоставить свой дирижабль.

Это Лёха, наш друг семьи. Холостяк на большой тачке.

— Так ты сможешь?

— Да, но только уже!

И надо торопиться, ведь можно встрять в очереди, а Лёхе нужно ещё вернуться до комендантского часа. Дети как тренированная команда: собираются за пятнадцать минут, старшие помогают младшим. Документы, зарядки, сменная обувь, консервы, бутылка воды, всё нужно уместить в четыре сумки и один походный рюкзак. От украинской до молдавской таможни два километра, придётся нести в руках.

Через час мы собраны, и это теперь наш дом, наша жизнь, наше будущее: походный рюкзак и четыре сумки. Они кучей лежат в коридоре, а мы молча смотрим на них. Окидываю взглядом квартиру. Я прожила в ней всю жизнь до этого дня. Мы только закончили ремонт, купили новую мебель. Цветы, перед выходом надо бы их полить. Не позволяю себе грустить, думать о том, что будет. Мы выключаем свет, проверяем воду, открываем дверь и выходим. И всё, что было, заканчивается прямо здесь. Уверенность, размеренность, планы на завтра. Больше никаких планов. Будущего нет. Только то, что дано. А на улице идёт снег. Обычное дело в Одессе, в начале марта.

ПУТЬ

Несёмся по скользкой дороге. На превышение скорости никто уже не смотрит. Валит метель. Нас подрезает какой-то джип, Лёха громко ругается. На перекрёстке из окна джипа выглядывает пожилая женщина, бледные губы, испуганные глаза:

— Я за детьми еду! Я не знаю, куда мне ехать! Вы понимаете? Я за детьми!

— А мы тоже с детьми! — кричит Лёха, и мы не пропускаем её, набираем скорость, она остаётся где-то сзади, теряется за завесой снега. На поворотах машину заносит, скользко, детей укачивает, тошнит. На

остановки нет времени, и мы едем. Я знаю, что всё делаю правильно. Мне спокойно. Больше я не боюсь.

Перед границей очередь — машин тридцать. Не так уж много. Кто-то идёт пешком, тянет чемоданы по снегу. Нас останавливает пограничник. На лице зелёная балаклава, в руках автомат:

— Куди їдете? (укр.)

— Я семью отвезти и назад. Можно мы как-то мимо очереди? Мы быстро! Туда-сюда, — говорит Лёха. Лёхе не страшно. Он шаровик, веселюк. Он почему-то знает, что это прокатит.

— Не можна! Бачите скільки людей!

— Так у нас дети!

— У всіх діти! Люди пішки йдуть і нічого! Всі чекають. Не можна!

— Та шо вы в самом деле! Многодетная семья! Куда им пешком?!

Пограничник колеблется, качает головой, но потом:

— Ну добре! Але взагалі то не можна! Швидко туди й назад! Зрозумів?

— Понял, понял! Спасибо!

Едем вперёд, объезжаем блокпост и очередь. Уже у таможни выходим быстро, стоять здесь нельзя. Прощаемся с Лёхой коротко, «ну давайте», «ещё увидимся», запоминаю его спину в дутой куртке, быстрю походку широким шагом, прощальный мах рукой. Мы дружим десять лет, сколько вместе отметили праздников, сколько сыграли настолок. Увидимся ли? «Пишите там, как приедете!» «Ты держись!» «До встречи».

От ветра пальцы холодные, тяжело нести сумки. На таможне проверяют паспорта, перед нами двое — отец и сын лет семнадцати. Сына пропускают, отца нет.

— Пап, я без тебя не пойду.

— Иди, иди. Всё хорошо будет.

— Пап, я назад.

Пограничники раздражаются, подгоняют, они злые, дёрганные, и на семейные драмы им плевать.

И сын разворачивается, тащит отца из очереди, они ругаются, долго спорят и потом вместе уходят.

Я готовлюсь принять решение — что делать, если не выпустят мужа? И боюсь ответа, боюсь того, какой он безоговорочный и твёрдый, этот

ответ. Нас пересчитывают по головам, берут паспорта и целую вечность мы ждём, пока их проверят. «Четверо детей, пропускай!», и вот уже идём за шлагбаум, держимся за руки, я несу Лёву. Ветер и снег с дождём колет лицо, под ногами скользко. Нас выпустили, я так боялась, что мужа развернут домой. Я видела, как плакали у машин и как невыносимо долго прощались. Но у нас четверо. Наши дети — пропуск туда, где нет войны. Буферная зона — два километра. Мы идём молча, и здесь я начинаю чувствовать это стыдное, унижительное «мы беженцы».

Подъезжает тонированный Лексус с молдавскими номерами. Мужчина высовывается из окошка:

— Вам нужна помощь? Давайте подвезу!

И не спросив даже имени, бросаем вещи в его багажник, усаживаем детей, двери захлопываются, внутри тепло, играет, кажется, блюз.

— Замерзли? — спрашивает.

Кто-то из детей отвечает, что да, замерзли.

— Чёртова война! Ну ничего. Ничего...

У молдавской таможни толпа. Я не верю, не верю, что это происходит. Нам навстречу бегут люди, берут наши сумки, суют чашки с чем-то горячим, одеяла.

— Вам есть куда ехать? Вас кто-нибудь встречает?

Молодой смуглый пограничник качает головой.

— Четверо детей? Берегите себя! Всё будет хорошо!

Из толпы машет женщина. Это с ней мы договорились в фейсбуке. Теснимся в её маленькой Тойоте, дети, вещи, всё в куче. Лёва сидит на полу под сиденьем, пытается открыть дверь. Пока едем — темнеет. Дороги в Молдове плохие, детей снова укачивает. По пути съедаем какую-то дрянь на заправке, от которой болит живот, но подбадриваем друг друга. Всё хорошо. Всё точно хорошо. Приезжаем в квартиру уже ночью. Там, кроме нас, ещё шесть жильцов в двух комнатах. Нам стелят на полу постели, заваривают сладкий чай. Я закрываюсь в ванной, сажусь на пол и плачу. И от того, что доехали. И от того, что мы вместе. И ещё от того, что я бросила свой дом в войне и чувствую себя предателем.

8.03. КИШИНЁВ

Здесь ужасный сыр. Я так люблю сыр, и вроде он здесь тот же, что у нас, но почему-то совсем невкусный. Кишинёв грязный и нищий.

Люди дают пожить в своих квартирах бесплатно, как это удивительно! А украинцы между тем ненавидят друг друга. У нас сложный, вздорный народ, но всё же он этого не заслужил.

Сыр невкусный, но такие хорошие здесь плацнды! Мы берём с тыквой и с вишней. Лера любит с картошкой. А вино мы здесь ни разу ещё не брали. Мы живём в большой квартире, в хорошем районе. Сожители, все шестеро, уехали в Болгарию, и теперь квартира наша на целый месяц. Здесь рядом парк. Он огромный, вмещает три озера с утками. Мы ходим туда каждый день. Ника говорит всем детям на детской площадке, что мы бездомные. Но может быть, наш дом теперь больше? А может, и нет его, этого дома? Это иллюзия, будто у людей есть дом. Иллюзия, будто у нас вообще что-то есть. Я попросила подругу, чтобы она прислала нам из Одессы кое-какие вещи. Села писать список и поняла, что мне ничего не нужно. Это довольно банальная мысль, до которой когда приходишь — всё сразу становится намного проще. У меня дома два полных шкафа вещей, а мне ничего не нужно. Всё это бесполезный хлам.

А под Киевом пропал мальчик во время эвакуации. Они с бабушкой переправлялись на лодке. Бабушка утонула, а мальчика не нашли. Родители верят, что найдут. Я верила, что войны не будет. Колбаса здесь ещё ничего.

Мы решили не оставаться в Молдове. Уезжаем через пару дней. Три поезда доведут нас в чужую страну, в далёкий маленький город. Наверное, там будет тихо. А мне всё время снятся бомбы, и ещё страшно потерять детей на вокзале. Я верила, что войны не будет. Мальчика не нашли.

15.03. ДАЛЬШЕ И ДАЛЬШЕ.

Пишу из поезда Кишинёв — Бухарест. 2 вагон, 4 купе. Мы едем толпой, как цыганская семья, это забавно. Билеты купили сегодня утром, ради нас (так сказали в кассе) добавили вагон. Поезд старый, как наши старые украинские поезда, и пахнет так же. На вокзале какие-то подростки раздавали еду. Бутерброд, бутылка воды и яблоко. Мои съели и сказали, что вкусно. А я не ела, потому что я параноик. Нужно учиться доверять миру.

По вагону ходят мужики в шортах. Проводник уже в третий раз приглашает нас в «бар-ресторан». Душно, воняет несвежей едой и водкой,

рядом кто-то храпит. Мои дети съехали с катушек от тесноты и жары. Мы все друг на друга раздражаемся и рычим. Лёва ползает по вагону на четвереньках и мяукает.

На румынской границе стоим три часа — в поезде меняют колёса. Я никогда раньше такого не видела. Отцепляют вагоны, поднимают их на домкратах, снимают колёса, ставят новые и снова опускают домкратом. От духоты кружится голова. Ночью я совсем не сплю.

В Бухаресте нас встретят какие-то люди и отвезут в четырёхзвёздочный отель. Бесплатно. Это волонтеры из христианской церковной организации. Смешно. Нам, евреям, бегущим в Германию от русских военных, помогает румынская христианская церковь. Всё так запутано и так странно. Но глядя на такие вещи, я верю, что добро, человечность всё-таки победит.

Руслан сказал, что будет бросать курить — сигареты дорогие в Европе. Вот так, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, нужно что-нибудь вроде войны. Люди тысячами приезжают в Европу и требуют жильё и денег. Нас тоже скоро будут ненавидеть, может быть и побольше, чем россиян. Они там, далеко, в своей железной крепости. А мы здесь, по всей Европе, в магазине, в баре, в соседней квартире, в парке с утками. Нам будет тяжело. Мы всегда будем чужими.

Мы будем строить свой дом.

Лёва научился говорить слово «душ». Он говорит «дуфффф» и губы складывает трубочкой. Мы смеёмся. Нужно избавиться от стыда за своё счастье. И за то, что мои дети не увидели настоящей войны. И за то, что нам хорошо вместе. И за то, что в Германии нас ждёт жильё и постели. И за то, что у меня есть роскошь выбора. И главное, за то, что в войне я увидела вдруг возможность. Это страшно, и всё-таки в этом смысл жить.

Я буду делать всё, чтобы мне и моей семье жилось хорошо. Буду строить дом. Буду ходить по чужим землям с виной, привязанной к ногам. Я бы так не написала в каком-нибудь рассказе, но это дневник и здесь можно всё.

16.03 РУМЫНИЯ

План такой: ночуем в Бухаресте, а утром садимся в поезд до Вены. Из Вены прямой — в Берлин. Там нас встретят незнакомые люди. Мы

никогда их не видели, мы говорим на другом языке, но они встретят нас и отвезут в новый дом. Мне страшно, но интересно. Ночь, я не сплю, пишу в отеле в центре Бухареста, номер 610.

...Мы прибыли в 6 утра, и на платформе нас встретили волонтеры Алина и Елисей. Им лет по 20–25, они невероятно милые и говорят по-английски. Взяли наши вещи, помогли достать бесплатные билеты до Берлина, погрузили нас в две машины и привезли в отель. Тут всё шикарное и дорогущее, а мы грязные беженцы с кишинёвского поезда. Стыдно. Завтракаем здесь тоже бесплатно, старшие дети стараются вести себя тихо и не набирать в тарелки всё сразу. А младшим пофиг всё. От стресса им хочется много есть. Елисей и Алина каждому подарили по коробке подарков. Дети довольны, кто-то из них случайно обмолвился «как хорошо в войне!»

Про Бухарест ничего толком не знаю. Из окошка отеля он кажется большим изрезанным пирогом. В номере чисто и тихо. Нам повезло. Словно кто-то большой ведёт нас за руку. Может, и правда стоит довериться и просто идти.

17.03. «3 ВАМИ БОГ» (УКР)

Нужно время, чтобы всё это осознать. Украинки рвут платья для коктейлей Молотова. В Мариуполе ракета падает на роддом. В каком-то селе, в подвале мальчик на бетоне рисует маму. Наши друзья уходят в тероборону. А мои дети спрашивают, разбомбят ли наш дом. Господи, господа. Мы стоим на станции где-то в Румынии. Этот тяжёлый день всё никак не закончится. К поезду мы успели вприпрыжку, потому что ехали двумя такси и одно, то, где был муж и старшие дети — заблудилось, свернуло не на том перекрёстке. До отхода поезда десять минут, а я с младшими детьми и сумками стою у вокзала и не представляю, что делать. Украинские карточки здесь не работают, связи с мужем у меня нет. Наконец, вижу их, бегущих через дорогу. Пять минут, хватаю детей, вещи. Мчимся через вокзал, где-то впереди уже гудит поезд. Бежим, дети едва успевают, Милана несёт большую бутылку воды, и та всё время выпадает из её рук.

На платформе толпа, почти все — украинцы. Кто с собакой, кто с кошкой, какая-то девочка держит огромную клетку с канарейкой, и все толкаются, кричат, не дают пройти... Минута. Я кое-как влезаю в последний вагон, там женщины завалили вход чемоданами, Лёва кричит, вырывается из моих рук, падает на пол, проводник протал-

кивает нас в коридор, поезд трогает. Тащимся через вагоны, находим своё купе, бросаем наконец вещи. Успели. Лера плачет — «я боялась, что мы потеряемся». Мы едем, и можно смотреть в большое окно. Там то лес, то снежные горы, то чуть позеленевшие поля, маленькие посёлки. Нас догоняет солнце, сквозит в деревьях, и от его мягкого света в нашем купе уютно.

На какой-то станции стоят волонтеры с украинскими флажками и едой. Столько еды! Они затаскивают в поезд целые блоки воды, кефира, мешки бутербродов, они такие уверенные и счастливые! Но поезд отходит, и люди из всех купе толпой бегут в коридор. Они хватают еду, рвут мешок, толкают друг друга, кричат. Они нагибают в карманы, под кофты, в сумки, я вспоминаю, как в детстве воровала яблоки на чужой даче. Мне стыдно. Страшно видеть, что делает с людьми война. Будут ли судить обо мне по всем этим людям? В соседнем купе ругаются женщины: «я тебе патлы повыдираю, старая сука!», «рот закрой!». В войне нет хороших людей. В ней нет вообще ничего хорошего. Только грязь и дерьмо.

Я плачу. Хочу домой и хочу, чтобы мой дом выстоял.

Мы медленно проезжаем станцию. За окном, на перроне, стоит румынская девочка лет семи, в руках она держит сине-жёлтый плакат с надписью «З вами Бог».

18.03 ВЕНГРИЯ

Ночью мы в Венгрии. Остановка четыре часа. Пограничники проверяют каждое купе и почти всех высаживают. Никто не знает в чём дело. Они идут по вагону, за ними семенит переводчица. И в каждом купе я слышу «Выходите». Мои спят. Нервной рукой достаю документы, билеты. Пограничник высокий, усатый, открывает дверь, занимает весь проём, фонариком светит в лицо. Показываю паспорта. Он забирает их и уходит. Переводчица говорит: «вы можете остаться». А в следующем купе: «выходите!». Я не знаю, что происходит. За окном ночь и сонные, испуганные люди. Почему их высадили? Куда они пойдут? Через час возвращается пограничник. «Всё в порядке. Хорошей дороги». Мы стоим ещё час, и только под утро поезд трогает. На рассвете выхожу в коридор. В вагоне тихо и пусто. В кабинке проводника никого. Доезжаем до Будапешта. Там длинная остановка, и нам говорят выходить, мол, приехали.

- Но у нас прямой билет до Вены!
- Ничего не знаю. Возьмёте билет в кассе. Вы ж украинцы, вам дадут.

Шумный будапештский вокзал, растерянные, сидящие на сумках люди. Волонтёры раздают горячий чай, кофе, булочки, пакетики со средствами гигиены. Мы стоим в очереди, и я думаю, что к этому нужно будет привыкнуть. В кассе, действительно, получаем новый билет, и вот снова поезд, на этот раз венский, красивый, блестящий, красный. Нам дали билеты без мест, поэтому стоим в проходе, придерживаем рюкзак. Он казался маленьким, когда мы его собирали, а сейчас он такой большой! Мы выискиваем свободные места, сажаем детей, но заходят люди, показывают билеты, это их места, они заплатили, и я забираю детей, извиняюсь, всё справедливо. Так и мечемся по вагону туда-сюда. Беженцы.

В Вене пересадка всего десять минут. Огромный вокзал, я и не знала, что есть такие большие вокзалы. Руслан оставляет нас на скамейке, и бегом в пункт помощи беженцам, достать еды в дорогу (кусок хлеба, тоненький ломтик сыра, вода). Подъезжает немецкий поезд. И снова бегом, походный рюкзак, сумки. И эти тяжёлые куртки, плечи от них ноют. Люди смотрят на нас с любопытством, но никто не предлагает помощь. У меня страшно болит спина. Нужно потерпеть, остался последний рывок. И в какой-то момент жалею, а может, зря всё это? Зря тащу их через пять стран, зачем? Может быть, они не хотели? Может быть, лучше дома? Там всё привычно, как-нибудь переждали бы, справились, а теперь что?

В поезде тепло и мягко, немецкие поезда — комфортные. А мы такие уставшие, вымотанные, что ничего уже не замечаем и ужасно хотим спать. За окнами Австрия. Леса, холмы, реки. Красота, до которой мне нет дела. Только бы хоть немного поспать. Через десять часов будем в Берлине. Там нас встретят, а дальше... а дальше будь что будет.

20.03. НОВЫЙ ДОМ

Когда подъезжали к Берлину, считали минуты. Ещё двадцать, ещё десять, ещё две. От стресса, усталости, отсутствия сна я почти падала в обморок. Вопросы мучили: что за люди нас встретят? Можно ли им доверять? Куда отвезут? Вдруг там будет какой-нибудь лагерь беженцев? Мы слышали столько грустных историй! Люди бежали от вой-

ны в Германию, а там селились в церквях, в столовых, в складских помещениях. Сто человек в одном зале, у каждого только стул и кровать. Или железные контейнеры где-то в поле. И жаловаться нельзя, вас ведь приняли, будьте благодарны. Скажите вообще спасибо, что не на улице. Моя подруга из Николаева с семьёй живёт в Мюнхене в какой-то церкви, и с ними ещё пятьдесят человек. Им говорят: возможно, появится жильё, никто точно не знает. Живите тут, всё же лучше, чем под обстрелами.

Вдруг за окном мелькает большой жёлто-голубой плакат. Поезд наконец останавливается. Различаю на плакате слова «Семья Лаптевых». Хватаю Лёву, две сумки, протискиваюсь к выходу, за мной дети, Руслан последний с остальными вещами и походным рюкзаком, который застревает в проходе, как же он, чёрт возьми, надоел! Женщина, что держит плакат, машет: «Сюда! Сюда!». Сама не знаю почему, бегу к ней, обнимаю её как подругу, по которой ужасно соскучилась. Она говорит по-английски. Мы знакомимся, и я не могу перестать обнимать её, не могу перестать плакать. Наш путь окончен, четыре поезда, три бессонные ночи, беготня по вокзалам, очереди за едой. В руках, ногах, в спине тяжесть такая, что, кажется, вот-вот упаду. Женщина ведёт нас к выходу, по пути расспрашивает о чём-то, подбадривает детей. Садимся в микроавтобус.

— Сколько нам ехать?

— Примерно час, можете поспать немного.

В Берлине полночь. Фары, светофоры, дорожные знаки сливаются в пятна, текут за стеклом как краски. С этой ночи начинается наша новая жизнь.

ГЕРМАНИЯ

20.04. МАЛЕНЬКИЙ ГОРОДОК

Обычно беженцы живут у хостов. Это значит — в доме или в квартире вместе с хозяевами. С одной стороны, это удобно. Тебе помогут, отведут за ручку, не оставят в одиночестве решать проблемы. С другой — тяжело привыкнуть к чужим правилам, тяжело всё время находиться в гостях. А, наверное, нигде в мире не чувствуешь себя так «в гостях», как в Германии.

Но нам снова повезло. Мы поселились в отдельной квартире, а наш хост живёт отдельно. Квартира небольшая, двухэтажная, на третьем этаже старого, отреставрированного дома. Большие окна с синими

рамами, высокие потолки, а с чердака ночью хорошо видно звёзды. Тихая брусчатая улица, красные крыши со старинными флюгерами, в центре на старой ратуше бьют часы. Вдоль улицы невысокие дома, зелёные, розовые, голубые, они словно нарисованы и вырезаны из картона.

Наш городок совсем маленький, но в нём есть всё, что нужно для жизни. Немцы очень ценят комфорт. Есть школы, супермаркеты, больница, дом престарелых. И это неудивительно, ведь по большей части здесь живут старики. Несколько ресторанов и пиццерий, парикмахерская, веломастерские, большой открытый бассейн. Есть железнодорожная станция, и на маленьком вычищенном жёлтом поезде можно попасть в другой городок или в город побольше. А с пересадкой за час доехать до Берлина.

По утрам старушки в цветастых платьях на велосипедах едут в магазин. По вечерам во всех дворах жарят сосиски. Каждый прохожий здоровается «Guten Morgen!», «Guten Tag!». Здесь поздний закат. В десять вечера ещё совсем светло, кажется, будто время идёт медленнее и не нужно никуда торопиться. Рядом с городом большой лес с озёрами, над головой летают орлы и ястребы, а у железнодорожных путей, если встать пораньше, увидишь оленей. Благодаря низким домикам здесь хорошо видно небо, много воздуха, и, глядя на это, на детей, что с визгами носятся по лесной поляне, хочется дышать, дышать, дышать. Хочется жить.

Когда мы приехали, квартира была вымыта, обставлена, полностью подготовлена к жизни. О нас позаботились люди, которых мы даже не знали. Пишу и хочется плакать. Холодильник забит едой, постели, полотенца, зубные щётки, игрушки, коробки с одеждой.

Наш хост Хайко — аптекарь. Его аптека прямо под нами, на первом этаже. Женщина, которая встретила нас и взялась вести над нами шефство — Кати. Это она всё обставила и подготовила к нашему приезду. У Кати есть подруга Анита. Ей 67, она живёт одна в огромном доме, который когда-то был ангаром. Её муж умер от рака, и весь дом Анита обставила его фотографиями. Она часто зовёт нас в гости на барбекю. У Аниты есть брат Вальти. Фамилия у него — Дойч. Он всё время повторяет, что это фамилия, а не национальность. Вальти часто возит нас на своём микроавтобусе по всяким бюрократическим делам, слушает рок и всё время рассказывает о внуках. Ещё есть сестра

Сибилла, маленькая старушка в огромных очках, которая дала в нашу квартиру всю мебель. У неё на шее шарф даже летом и огромная связка ключей от церкви. И есть Ханна, менеджер банка, с которой я хожу в кружок по керамике. И Аня, моя новая подруга. Обещала научить меня играть на гитаре. И Штефи, и Ингрид, и Кристиана, и ещё много-много людей. Это прекрасные люди. Они помогают нам с первого дня и по сей день. Благодаря им у нас было время отдохнуть, адаптироваться и поднакопить силы перед трудностями, которые ждали впереди, имя им — бюрократия.

25.05. НЕ ТАК ПРОСТО

Украинцев в Германии оформляют по 24 параграфу и дают статус временной защиты. Этот статус означает вид на жительство на два года, право на жильё и работу. Кроме того, все украинские дети обязаны ходить в школу, так же как и немецкие, делать прививки, обследоваться у врача. Каждый украинец, прибывший в Германию по 24 параграфу, должен получить налоговый номер, прописку, разрешение на пособие и ещё множество разных бумажек. Наши шутят: «у нас столько документов не было за всю жизнь в Украине!».

Поначалу мы удивлялись, зачем немцам целые шкафы с толстыми папками. Что они там хранят? Теперь мы знаем.

Бюрократия здесь — нескончаемая спираль, ты движешься от одного витка к другому и когда кажется, что это конец и все документы собраны, приходит какое-нибудь письмо из центра занятости, и финиш твоего бумажного марафона превращается в новый старт. Нас перебрасывают от одной инстанции к другой, от одного уполномоченного к другому. Чтобы получить бумажку с подписью, нужен термин. (Термин — это время записи). Чтобы получить термин, нужно написать письмо и ждать ответного письма почтой. Одна бумажка, за которой мы выстояли двухчасовую очередь, оказалась лишь предварительным замещением следующей бумажки, при том, что назначения у обеих одинаковые. Моему мужу, врачу, чтобы получить здесь работу, нужно пройти через такие бюрократические дебри, что проще, пожалуй, было бы освоить новую профессию.

А ещё — немецкий канцелярский язык. Как-то мы попросили немца объяснить смысл одного документа. Он не смог этого сделать, говорит: «я сам не понимаю, что они пишут. Я всю жизнь живу в Германии, но что означает это слово — не знаю!». Разбираться в официаль-

ных письмах — всё равно что плутать в лабиринте, в полной темноте, стоя на голове. И каждое новое письмо всё длиннее, всё запутаннее. В детский сад я заполнила столько анкет, опросников, подписала столько договоров, разрешений и принесла столько справок, что проще было бы, наверное, отправить детей в космос. Немцы разводят руками: «Такая у нас система. Сами страдаем». Одна контора работала раз в неделю по полчаса в день. И наш знакомый немец потратил месяц на то, чтобы выбить туда термин. Всё очень усложнено, запутано, иногда граничит с абсурдом, но такова реальность. Так живут все немцы, и так теперь живём мы.

Перед войной мы остались без сбережений (только закончили большой ремонт). Потому, пока не получили пособие, жить нужно было очень скромно, просчитывать каждую трату. Что значит для человека, который раньше ходил в рестораны, ездил в отпуск за границу, наряжался, водил детей в частную школу, стоять в очереди за бесплатными бананами где-то в Германии? Что значит ждать часами на улице под дождём чека, по которому можно в банке получить немного денег? За бесплатными подгузниками и туалетной бумагой, за ношеной одеждой, за канцтоварами для детей... Мне скажут: многие так всю жизнь живут. Но жить плохо всю жизнь не то же самое, что в один день всё потерять.

Как-то стоим 4 часа в очереди за соцпомощью. Мужчина в тёмных очках с большим белым конвертом подмышкой причитает:

— Да пустите же без очереди детей! Почему не пускают детей? Они же кушать хотят, пить... вы сами виноваты, что это всё, сами, сами вы виноваты. Да пустите же детей!

Потом подходит его старенькая мать и говорит тихо:

— Серёженька, успокойся.

В очереди за канцтоварами ругаются женщины:

— Вы куда тащите целый мешок, вам зачем столько?

— А вам зачем? У меня ребёнок в школе.

— У всех в школе! Карандаши хоть оставьте! Нагребла вон целую кучу!

— Сколько надо, столько и нагребла.

А в начале очереди объявляют:

— Рюкзаки, тетради разобрали. Можно не стоять.

В куче свезённого гуманитарного барахла мы выбирали уцелевшие тарелки, стаканы, постельное бельё. У нас в квартире было, но недостаточно, нас ведь шесть человек, посуды нужно много, постели нужно стирать. Просили у немцев то кастрюлю, то сковородку. Три дня собирались с духом попросить комод. У нас есть всё, что нужно, нам всё дали, а мы, наглые, просим. И каждый раз стыдно, как же мы докатились, как это случилось с нами?

Есть организация Тафель. Там можно за копейки взять еды. Стоишь с шести утра, занимаешь очередь. Рядом с тобой старики, малоимущие немцы, городские сумасшедшие. Полуголый мужик в порванной мексиканской шляпе что-то бормочет по-испански, женщина в халате с грязной тачкой ругается сама с собой. Стоишь так несколько часов, а в итоге получаешь кило подбитых бананов, пару яблок и пакет зелени. В следующий раз повезёт.

Нас, тех, кто уехал, обвиняют в легкомысленности, пофигизме, предательстве. «Уехала и радуется!» Мы и в самом деле радовались. Но только вначале. Идёшь по чистой улице, смотришь на аккуратные домики, на высаженные палисадники во дворах. И хороший цвет автобуса, и больница с волейбольной площадкой, и школа свежеевыкрашенная, приятный глазу фасад. Всё кажется идеальным, вот она, Европа, куда мы так долго стремились.

Но проходит время, эйфория, адреналин уходят, и постепенно начинаешь видеть вещи такими, какие они есть. Неидеальными, иногда даже абсурдными. Начинаешь сравнивать, тосковать. И эта тоска с такой тяжестью ложится на плечи, что многие не выдерживают и уезжают домой. В войну, в смертельную опасность, под бомбы. Но домой.

К новым немецким реалиям не каждый готов приспособиться. Строгий распорядок дня, дотошная сортировка мусора, правила на каждом шагу. Свободолюбивому и немного расхлябанному украинцу трудно привыкнуть к тому, что в воскресенье, к примеру, все магазины закрыты и нужно планировать покупки заранее. Или к тому, что весь транспорт ходит строго по расписанию, а такси могут себе позволить только очень обеспеченные люди. В Германии пользоваться такси — ужасное расточительство.

В маленьком городке в пять часов вечера всё закрыто, большинство учреждений работает два дня в неделю по два часа в день, а за-

писи нужно ждать месяцами. На любую встречу нужен «термин», банковская карточка открывается две недели и не работает в интернет-магазинах. Нельзя шуметь по воскресеньям, если вздумал пропылесосить, соседи сделают замечание, что ты мешаешь им отдохнуть. Нельзя устанавливать кондиционер без особого разрешения, сушить бельё на балконе. В семьях некоторых хостов нужно вставать и ложиться спать строго в одно и то же время, а после 9 вечера очень нежелательно говорить по телефону.

Одна моя знакомая жила в семье, где хозяйева каждый день готовят пасту. А она её терпеть не могла, но сказать стеснялась. У другой знакомой хост — пожилая строгая немка — отбирала все её письма, читала и отказывалась возвращать.

Здесь не стоит слишком бурно проявлять эмоции, твой юмор непонятен, а твоя растерянность вызывает недоумение, раздражение, гнев. Как-то на нас наорал водитель автобуса, потому что мы не знали, что для остановки нужно нажать кнопку. Здесь не расслабишься, приходится каждую минуту быть начеку. При этом украинцу, потерявшему дом, безопасность, опоры, нужно постараться как можно скорее адаптироваться, терпеть, быть благодарным. Ведь Германия открыла двери всем без исключения и делится своими благами, которые порой получше тех, что есть у самих немцев. Для украинцев бесплатно: страховка, жильё, коммунальные услуги, мобильная связь (она очень дорогая в Германии), а в первые месяцы войны был ещё и общественный транспорт. Украинцы получают пособия, различные льготы, скидки. Благотворительные организации дают одежду, дешёвую еду, средства личной гигиены, дарят велосипеды, игрушки. Ты должен быть благодарен. Ты должен помнить, что здесь тебе лучше, чем под обстрелами. Ты должен вести себя как немец и делать то, чего от тебя ожидают — как можно скорее найти работу.

Здесь никого не волнует, какая у тебя профессия, сколько лет и денег ты вбухал в образование. Здесь нужны уборщики, повара, люди для ухода за стариками. Водители, фермеры, разнорабочие. Немцы не особенно рады предоставить украинцу хорошее рабочее место или сдать квартиру. Сейчас уже почти невозможно найти обещанное социальное жильё. Те, кому удалось устроиться — везунчики или смогли выстроить с немцами хорошие отношения. А это тоже непросто. Ты

должен избавиться от всех своих недостатков, стать хорошим мальчиком или девочкой, слушаться старших, следовать всем советам, а им не будет конца, как можно чаще благодарить, сдерживать гнев, слёзы.

А ведь в то же самое время ты наблюдаешь каждый день в прямом эфире, как умирают люди в твоей стране. Как разрушают твой город, университет, где ты учился, детский сад, куда ходил за ручку с мамой, а на обратном пути тебе покупали мороженое. Держаться. Держать в себе. Соседи уничтожают твой дом. Соседи говорят с тобой на одном языке. Соседи ненавидят тебя просто потому, что ты есть. И от злости, от бессилия, от обиды трясутся руки. Ты наблюдаешь всю несправедливость и чувствуешь себя виноватым.

А те, кто остался, кто не уехал, как ты, трусливо, не бросил свой дом погибать — они тоже ненавидят тебя. Они желают, чтобы ты в этой своей Германии ещё хлебнул...

Легко ли беженцам в самой богатой стране Европы? По-честному, охренеть как трудно. Но *show must go on*. Ты собираешь себя заново, по досточкам сколачиваешь свой новый мир, стискиваешь зубы и идёшь дальше. Благодарить немцев, привыкаешь к правилам, заново учишься радоваться тому, что дано прямо сейчас.

Мы привыкаем. Адаптируемся. Учимся. Взрослые, которые снова стали детьми.

... КАКОЙ-ТО ИЗ ДНЕЙ

Опять обстреляли одесский порт. Мужчина решил искупаться в море, наткнулся на мину и ему оторвало голову взрывом. У свёкра в квартире вылетели стёкла и дверь. В прибрежной зоне разбомбили дома. И всё-таки. В Киеве проходит фотовыставка, посвящённая детям в освобождённых сёлах. Какой-то парень рисует новую украинскую марку. Подростки танцуют выпускной вальс на руинах разрушенной школы. Пары женятся, рождаются дети. Жизнь.

Время идёт, а мы живём. Болеем, выздоравливаем, попадаем в неприятности, разруливаем, радуемся, грустим. Учим немецкий. Выстраиваем по шажочку путь к новой жизни, в которой снова можно будет чувствовать себя полноценно. Не нахлебником, не иждивенцем, не беженцем. Я не знаю, вернёмся ли мы домой, в Украину. Я не знаю,

останется ли что-нибудь от Украины, увижу ли друзей, которые там. Мне не дано смотреть в будущее, а прошлое учит не строить планов. Всё может измениться в одну секунду у каждого. У меня, у тебя. И если есть только одна минута, в которой хорошо и спокойно, эта минута стоит того, чтобы быть в ней абсолютно счастливым.

ОБ АВТОРЕ

Марианна Лаптева родилась в Одессе. По образованию филолог. Закончила литературные курсы. Пишет прозу и стихи. Её рассказы опубликованы в журналах «Скобы», «Иначе», «Esquire», «Качели», «Teens write», «Литерратура». Попала в лонг-лист премии «Лицей».

Журнал «Времена» планирует опубликовать в следующем номере две новых новеллы Марианны Лаптевой.

Геннадий КАЦОВ
«...И МЛЕЧНЫМ ВСЁ ИДЁТ ПУТЁМ»

* * *

одно чувство, новое — ненависть! сжав кулаки,
талдычит весь день, ночью спать не даёт, будто зуммер —
таким я не видел себя и не ведал таким:
«умри! — повторяю, как мантру, — скорей бы он умер!»

как смерти желать, подобрал для кого-то пятак
на веко?! — и дома неймётся, и вызовешь убер,
пока там стреляют по людям, и плавится танк:
«умри! — проклиная тебя, — поскорей бы ты умер!»

по жовто-блакитному небу мой голос бродил,
и жовто-блакитній земле посвящал свои мрії,
уже распознав голоса, ибо он не один,
их не сосчитать, кто желает убийце «умри!» и

умри же, умри же, умри — заклинания текст
простой обращён, как послание *urbi et orbi*:
умри, сделай царский последний подарок для тех,
кого ты отправить рассчитывал в царствие скорби

очистится в реках вода, станет легче дышать,
из бомбоубежища выйдя, сощурятся мальчик
и девочка — громко вдохнут и ускорят свой шаг,
затем побегут в лучший мир, где мир — и не иначе

* * *

морозный вражий март! когда б не бойня
в украине, проклинали бы погоду —
нет больше веры и любви к ай-поду,
глядишь в ай-фон — душе и глазу больно:
в пурим осечка и, кропя колоду,
новозаветная бессильна тройня

скрипишь зубами, «мягкой силы» жертва
и раб гипертонического криза
в нью-йорке... не оставит телевизор
надежды никому — раскроет жерла
в живых картинках: край горит карниза
жилого дома, арматуры жерди

розе ветров досталась часть квартиры:
без глаза выбитого тьма глазницы,
как в пустоту раскрытая страница,
она стоит, что задник в зале тира —
на гвоздике семь дырок от цевницы,
потушенной пожарными... для мира

теперь чернеет остов фортепьяно
в чехле из лопнувших от боли струн,
в сыром углу обуглившийся труп,
быть может, пианиста... дальним планом...
и цедишь чай (сейчас там все умрут),
и хафнера читаешь себастьяна

* * *

нефть дорожает, киснет молоко,
смерть, как и жизнь, тебе даётся даром:
шрифт брайля дети выучат легко,
и внуки наши будут верить в дао

всех даун телезрителей спасёт
в финале сериала про фашистов!
сегодня бог душевнее, чем чёрт
вчера, а завтра — чем душа душистей

фаустпатрон так гёте сочинил,
чтоб в тексте было не найти вердикта —
зачем её садистки расчленил
орфей, когда спустился к эвре дикой

канада ближе, дальше всех луна —
ковид к ней подобрался незаметно,
сеть кратеров оставила война,
всё довершит крылатая комета

где в огороде бузина, с тех мест
до дядьки в киеве — полжизни цугом,
плюс жизнь взаймы, железный минус крест
за то, что так вот всё сложилось, сука!

* * *

в июне чаще дни воскресенья,
чем в диком мае, где семь суббот:
что грязь весне, то лету — сельва,
и не для осени сельвский бог

на блюде неба блестит глазунья —
раскрытый охрой гигантский глаз,
все остальное — штрихи лазурью,
едва, для вкуса, и по углам

в кусочке лета осколок мира,
как в янтаре неземной жучок,
с которым жизни гастрономия
свела все счёты, а что ещё?

там леший бродит, там ртутью пахнет,
здесь гоп со смыком, а где их нет!
мир если сцена, то мы — в антракте,
в последней очереди в буфет

дрова в деревьях в деревне летом —
готовь к зиме, заточи топор,
ночь коротка, но ещё нелепей,
что дни длиннее с недавних пор

мостики скрипят на соседской даче
и водомерка отмерит срок,
пока кукушка решит задачу,
пока февральский не спит сурок

«в руке синица, а голубь мира
нагадит сверху в мороз и зной», —
как мне хозяин сказал трактира:
взгляд, в общем, верный, но очень злой

* * *

поэт и государь — дилемма:
кто из двоих протагонист?
поэт — глобален, как поэма,
правитель — совестью нечист

мечтает каждый император
трибуном и поэтом быть,
за что народ его — без мата
лелеять будет и любить...
глава страны — за ним не дует!
строфу истории творя,
он даже сверху надиктует,
дав дуба, проще говоря

судьба нелёгкая поэта
в россии: сколько ни налей,
в него палят из пистолета
и отправляют в мавзолей;
он там лежит, сопит в бородку,
не пишет эпиграмм друзьям,
поскольку послан на чукотку-
камчатку за хорей и ямб

возьмём другой пример — сонеты
тот, как петрарка, не умел,
но был великим среди поэтов,
насочиняв немало дел;
он дактилической мужскую
на стройках рифму предпочёл:
был в пурим, среди друзей тоскуя,
уколот «новичком» в плечо

такой пример — другим наука:
романтик и любимец муз,
был «пид@рас» его кликухой
за нюх и абсолютный вкус,
гекзаметром себя прославил
с высокой паперти оон!
был в ссылку не за то отправлен
и умер, дум великих полн

погиб поэт! невольник чести
его наследье подхватил:
не мог анжамбеман прочесть он,
но им писал по мере сил,
всё было к месту — щёки, брови,
талант расцвёл не по годам,
когда услышал голос крови
и к йом кипур концы отдал

россия — родина поэтов!
тюрьмы не хватит и сумы —
дуэли, гонки на лафетах,
а всё равно их тьмы и тьмы

чем жуть грязней, тем чище строки...
луч света, амфибрахий дня —
пришёл прожектор перестройки,
чтоб словом всех объединять!
бесспорно, он — один из лучших,
всегда во лбу горит пятно,
но был смещён коварным путчем,
как будто снялся для кино

вослед ему (долой советскость
в литературе!) всей душой
пришёл поэт, подняв словесность
на старте сразу по большой!
он чувство ритма с чувством такта
мешал, как всякий модернист,
писал стихи для рок-спектаклей
и умер, вызванный на бис!

его преемник, слывший магом,
скрывал годами скромно нимб:
рука к перу, перо к бумаге —
чернил хватило б на верлибр!
он объявил войну силлабам,
мир славя и качая пресс,
но пурим вновь пришёл, неслабо
поставив на поэте крест

и кто теперь? чему предтеча
и продолжатель славных рифм?
мир ждёт, не ставя к гробу свечи,
и с содроганием внутри

* * *

мой бог, арес,* крутой и беспощадный,
агрессии верховный покровитель,
обмана профи, спец спецопераций —
я раб твой, ученик твой и солдат
твоей войны и твоего раздора,
я верный твой посол, в крови по горло
на вечно грешной греческой земле,
твоих безумных спутниц энио с эридой
без страха и упрёка обожатель!
скажи на милость, что-то не пойму:
арес, куда несёт нас рок событий?

мы были, по примеру твоему,
удачны в распрах, в схватках кровожадны,
мы тупо сеяли вражду повсюду
и полисы дотла с землёй ровняли,
насиловали женщин и детей,
хребты ломали ветхим старикам
в их же домах, которые сносили
без продыху, без сна и без разбору —
нам не нужны в свидетели ни камни,
ни пленные с гвоздями под ногтями,
ни летописцы — им бы кровью харкать

мы этику учения афины
паллады** откровенно презирали:
ах, воинская доблесть, слово чести,
тактический расчёт на поле боя —
ни вероломства, ни циничного
вранья, ни голословных обещаний...

* Арес — в древнегреческой мифологии бог войны. В отличие от Афины Паллады — богини честной и справедливой войны, — Арес, отличаясь вероломством и хитростью, предпочитал войну коварную и кровавую. Спутницы Ареса — богиня раздора Эрида и кровожадная Энио.

** Родной город Афины Паллады — Аттика. Считалось, что она избрала флейту.

нам академий в аттике не знать,
ведь знание — для грёбанных флейтистов,
а гуманизм умножает скорбь,
ведёт к болезням головного мозга,
как-то духовности со всепрощеньем

арес, наш бог! везде нести жестокость
ты призывал, и поджигать соседей,
уничтожать посевы, скот, людей,
ограбить, дав пример родному сыну —
безжалостному палачу в грядущем,
который жизнь отдаст и мать предаст
за процветание империи,
за гимн её, что и покойника разбудит,
как будто в пять утра аларм сработал
в чужой машине под твоим окном
и до восьми, как резаный, орал

* * *

я не убит, не ранен, не в плену —
слегка после обеда разморило,
возможно, мало к мясу розмарина
добавил, вот и снится про войну

не ту, где есть окопные сто грамм,
атаки, взрывы, танк подбитый вражий,
а где повсюду трупы — им не важно
ни поле брани, ни другая брань

там и лежит в подливе г. кацов —
рассветный час картошкой в спецмундире
дымится и, как в зеркале, в надире
перед ним чесноздреватое лицо

и не одно: в количествах промыш-
ленных с укропом поданы к обеду
безносой, дабы встретить ночь победы
и там деревья гнуть, шуметь камыш

анфас похожи, как на дефиле,
зубаты в профиль, но зато безухи:
их тьмы и тьмы, и нечто в этом духе
противники, все на одно филе

враги — во всём чужие; имена
врагов погибших мало интересны:
хоть посыпай их перцем с солью пресной,
безличными их делает война

я не умел колоть в живот штыком
и челюсть не умел дробить прикладом,
но знать, кого прибил в бою, не надо,
ты можешь быть никак с ним не знаком

и он не спросит ни о чём, и в миг,
когда открою вежды, пробудишься,
в том мире мёртвых имя тише, тише —
и здесь его не вспомнят, став людьми

* * *

какое столетие душное,
день ночи темней —
дорогу осият идущие
(те, кто без коней,
и кто без теней)

какое-то масло — машинное,
прокис виноград:
идут шестирукими шивами
богов выбирать
их электорат

ребёнок рождается уродиной —
последний в роду:
то, что называли мы родиной,
у нас украдут,
зароют в аду

и вырастет мёртвое дерево:
на ветках сухих
всё, что безвозвратно потеряно,
воскреснет, как хит,
бесплотным, как стих

останется в жизни бессрочное —
тебе, дурачку:
губами найдя грудь молочную,
прижаться к соску,
по маме соску...

* * *

— я всех приглашаю к обеду, — она предложила спокойно,
приветливо, с лёгкой усмешкой, — ну, как говорится, по коньям!

был свет, бил откуда-то сверху; был стол, сервированный пышно,
и в комнате круглой без окон стоял неземной аромат,
и дивный «пинкфloyd», но, возможно, и «ногу свело», еле слышно
звучал отдалённо, оттуда, и это сводило с ума

гостей усадила в каком-то порядке, одном ей известном —
набилось порядком, в застолье по-родственному и не тесно:

мой дядя с семьёй из херсона, пропавшие без вести в марте;
племянник, убитый под бучей; из харькова шурин с детьми
(жену его из-под завала спасли вместе с пуделем мартой);
сгоревшие в комнатах заживо в ворзеле я и мои

одета, как хиппи, в тунику с привычной к прикиду косою,
горилкой она привечала, ржаным караваем и солью!

на лбах пеплом з выводила — земли всем досталось навечно,
вносила, шутя, похоронки в заоблачный вордовский док:
мы пили до дна, до зелёных (как здесь, так и там) человечков,
и тост поднимали за тостом за тех, кто уже к нам идёт

на закусь подали нам печень, сердца, требуху, студень мозга
всех наших врагов незабвенных, земных палачей — здесь всё можно

здесь можно, как плов, есть руками, в живую их плоть проникая,
и видеть, как корчатся в муках они наяву и во сне —
от гостеприимной хозяйки её поцелуи, не кары,
им передавали, надеясь, что скоро им встретиться с ней

она шутовски нацепила себе длинный нос буратино,
«чтоб жизнь удалась, — пошутила, — а то ведь без носа противно!»

и впрямь, это мёртвое место пугало, пока было пусто...
но главный вопрос оставался среди бытовых пустяков
о том, что когда душегубов введут, их за стол наш не пустят?
она обещала: в сортире им жрать из цветочных горшков

ОБ АВТОРЕ

Геннадий Кацов — поэт, прозаик, эссеист, радио- и тележурналист. В середине 1980-х был одним из организаторов легендарного московского клуба «Поэзия» и участником литературной андерграундной группы «Эпсилон-салон». В мае 1989 г. переехал в США. Последние 33 года работает тележурналистом в Нью-Йорке. Радио-

и журналистскую деятельность начал с программы Петра Вайля «Поверх барьеров» на Радио «Свобода».

Вернулся к поэтической деятельности после 18-летнего перерыва в 2011 году.

Автор 10 книг поэзии и прозы. Стихотворения опубликованы в энциклопедической антологии «Самиздат Века» (1997). Номинант лонг-листов «Русской Премии» (2013 и 2014 гг.). Лауреат премии литературного журнала «Дети Ра» (2014 г.). Член редколлегии альманаха «Времена» (США) и «Эмигрантская Лира» (Бельгия).

Публикации последних лет — в ведущих интернет-изданиях и периодических литературных журналах (США, Европа, Украина, Россия, Израиль). Один из авторов американской антологии «101 еврейское стихотворение Третьего тысячелетия» (101 Jewish Poets for the Third Millennium), Ashland Poetry Press, USA, 2021

Майк ЛОГИНОВ
ЭЛИКСИР ДЛЯ ИЗБРАННЫХ

ГЛАВЫ ИЗ НОВОГО РОМАНА

МОСКВА, НАШИ ДНИ

Я спустился во двор дома на Новинском, где беседовал с Катей и мамой. На улице было холодно. Я спал всего несколько часов и от этого чувствовал себя каким-то оглушённым. Что было делать? Поехать на работу и заснуть там, сидя в кресле? Или вернуться домой и вздремнуть пару часов? Я поёжился, засунул руки поглубже в карманы куртки и огляделся. Во дворе было пусто, только вдоль выезда на Садовое кольцо по направлению к дому ковыляла какая-то старушка. В руках у неё было два пластиковых пакета. Видимо, с продуктами. Вглядевшись повнимательнее, я понял, что старушка — не кто иная, как Альбина Антоновна Беклемишева, мама моего друга Антона. Я не был уверен, что хочу с ней разговаривать. Не то чтобы я что-то имел против неё, нет. Просто не хотелось с ней разговаривать в это хмурое утро, и всё. И я уже собрался пойти в противоположную сторону, но тут случилась авария. Старушка Беклемишева, преодолевшая уже примерно половину расстояния от улицы до подъезда, вдруг как-то неловко запнулась и растянулась на земле. Пакеты выпали у неё из рук, и из них во все стороны покатались яблоки и творожки «Агуша». «Господи! Только бы она ничего себе не сломала», — взмолился я и ринулся на помощь старухе.

— Альбина Антоновна! Альбина Антоновна! — заорал я, подбегая к ней. — С вами всё в порядке?

Кричал я не столько от того, что был взволнован, сколько из опасений, что она ещё и глухая.

Окончание. Начало в №2 (22)

— Ой... ой... — стонала Беклемишева.

Я аккуратно взял женщину под мышки и поставил её на ноги.

— Альбина Антоновна, вы не ушиблись? — продолжал допытываться я.

Но Беклемишева, видимо, не могла так быстро включиться в беседу и только без конца повторяла своё «ой». Я осторожно отпустил её, желая убедиться, что она может стоять без посторонней помощи. Опыт дал удовлетворительные результаты. Беклемишева стояла, слегка скрючившись, но вполне устойчиво. Ноги вроде были целы. Я осторожно подёргал её за кисти рук. Вроде тоже ничего... Отряхнул испачканный в пыли плащ.

— Вы целы?

Старушка перестала ойкать и попытался сфокусировать взгляд на моём лице. Я понял, что пришло время представиться.

— Альбина Антоновна, вы меня узнаете? — спросил я.

Беклемишева прищурилась, пытаясь рассмотреть меня получше. Но я чувствовал, что идентификация пока не случилась.

— Я — Лёша! Лёша Кораблев. Ваш сосед. Друг Антона. Я тут у сестры был...

Нет, не надо про сестру. Слишком много информации сразу. Надо повторить своё имя.

— Я — Лёша Кораблев! Узнаете меня?

Тиньк! Альбина Антоновна включилась.

— Лешенька, здравствуй! — произнесла она и протянула ко мне сухонькую старческую ручку. — Как я рада тебя видеть! Спасибо тебе, родной! А я вот такая старуха неуклюжая, растянулась тут посреди дороги...

Говорила она неплохо. И улыбалась так приятно.

Я быстро собрал разлетевшиеся во все стороны продукты питания и побросал их в пакеты.

— Альбина Антоновна, я вас провожу.

— Ой, да что ты, Лешенька! Не надо! Я сама справлюсь.

— Надо! Мне это совсем нетрудно.

— Ну спасибо тебе!

Я галантно отставил левый локоть, Беклемишева опёрлась на мою руку, и мы двинулись к дому. Благополучно добрались до подъезда и поднялись на лифте на второй этаж. Перед дверью вышла заминка, Беклемишева долго рылась в карманах в поисках ключей. Она даже

высказала предположение, не выпали ли они, когда она шлёпнулась. Но я со всей серьёзностью заверил её, что никаких ключей на месте происшествия не видел. Наконец ключи были найдены, и мы вошли.

В Беклемишевской квартире мало что изменилось с тех пор, как я был там в последний раз. Даже запах, казалось, остался прежним — запах старой мебели, книг с примесью какого-то старого, давно вышедшего из моды парфюма.

Я помог Альбине Антоновне снять плащ и проводил её в кухню. Потом принёс из прихожей пакеты и стал выкладывать их содержимое на стол. Беклемишева снова было попыталась отказаться от моих услуг, но я заглянул в один из пакетов и обнаружил, что разбилась маленькая баночка с джемом и некоторое количество содержимого вытекло на помидоры и пачку сливочного масла.

— Альбина Антоновна, давайте я тут всё аккуратно выну, а то, не дай бог, порежетесь.

Старушке моё предложение показалось разумным. И некоторое время она спокойно сидела, наблюдая, как я разгружаю пакеты, и лишь изредка давала указания, что и куда положить. Кроме банки с джемом разбилось ещё только два яйца. Урон был определён как приемлемый, и Беклемишева сразу повеселела.

— Лешенька, ведь всё так дорого, так дорого! — начала жаловаться она. — Выйдешь в магазин, половины пенсии как не бывало. Спасибо, Сева с Антошей помогают, а так и не знаю, как жила бы.

Сева, сын Альбины Антоновны от первого брака, был сильно старше нас с Антоном, и мы с ним почти не общались. Про его отца, первого мужа Беклемишевой, мне ничего не было известно. «А ведь Антон, получается, поздний ребёнок, — подумал я. — Сколько ей было, когда она его родила? Под сорок?» Почему-то в детстве я над этим не задумывался, хотя разница в возрасте между моей мамой и Антошкиной была заметной.

— Лёша, давай я тебе чаю налью, — предложила Альбина Антоновна.

«Это у них семейное — чаи гонять», — подумал я.

Чаю мне не хотелось, но в память о старой дружбе...

— Спасибо, не откажусь.

Беклемишева встала и начала доставать из шкафов чашки, ложки и блюдца. Потом поставила на плиту чайник и зажгла газ. Двигалась

она по кухне бодро и уверенно, только слегка припадала на левую ногу.

Теперь надо было о чём-то говорить со старушкой. Но эта перспектива уже не казалась мне неприятной.

— Ну, как твои дела, Лешенька? — спросила Беклемишева. — Что делаешь?

И из великого множества вариантов ответа я выбрал единственный, который, как мне казалось, мог увести нас от набивших оскоми-ну разговоров о посягательствах застройщиков на детскую площадку.

— Я, Альбина Антоновна, пишу статью о прадеде, академике Заблудовском, — сообщил я.

— Ай! — воскликнула старушка Беклемишева, умильно сложив на груди сухонькие ручки. — О Павле Алексеевиче? Ах! Это хорошо, это очень хорошо... Какой это был человек! Какой человек! А ещё я помню его ассистента... Бориса... У него фамилия была ещё такая красивая, двойная. Он из каких-то князей был...

— Кончак-Телешевич, — напомнил я.

— Верно, верно. Борис Ростиславович. Он был другом семьи. И, между прочим, ухаживал за твоей бабушкой Ариадной Павловной. У них был роман. — Альбина Антоновна смешно закатила глаза. — Встречал её около дома. Кланялся, целовал руку. Нам, девочкам, было очень интересно. Элегантный был такой мужчина. Денди!

— А почему он потом перестал быть другом семьи? Я от мамы знаю, что между ними какой-то произошёл разлад...

— Ну, не знаю. Ариадна Павловна перед войной вышла замуж... за дедушку твоего. Может, поэтому они и разошлись...

— Альбина Антоновна, а что потом стало с Борисом Ростиславовичем?..

— Не знаю, не могу сказать...

— А когда умер этот Кончак? — спросил я.

— Умер? — удивлённо посмотрела на меня Альбина Антоновна. — Ничего он не умер. Я видела его не так давно... В прошлом году. Или нет? В позапрошлом... Жив он был тогда.

Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осмыслить это сообщение.

— То есть как жив? — переспросил я.

— Да вот так жив. — Альбина Антоновна посмотрела на меня так, словно я опять был несмышлёным ребёнком. — Как мы с тобой.

Я снова попытался произвести в голове некоторые арифметические вычисления. В начале 30-х годов Борис Ростиславович Кончак-Телешевич был уже взрослым человеком. Судя по маминым рассказам, ему было лет тридцать или даже тридцать с гаком. Ну да! Он же участвовал в Гражданской войне на стороне белых! Значит, он родился около 1900 года. Ему, что же, сто восемнадцать лет? Не может этого быть! Нет, старушка обозналась. Или из ума уже выживает...

— А где вы его видели, Альбина Антоновна? — решил уточнить я.

— На Ваганьковском кладбище, — с готовностью ответила мама Антона. — Я тогда на могилу Ефима Самуиловича ездила, после Пасхи.

— А это точно был он? — спросил я осторожно.

— Ну а кто же? — слегка обиделась Беклемишева. — Я что, по-твоему, из ума выжила?

— Но сколько же ему лет? Он же, наверное, очень... эээ... пожилой.

Альбина Антоновна задумалась. Судя по всему, она пыталась произвести в уме те же вычисления, что я проделал минутой раньше.

— Ну, много ему лет... Даже очень, — неуверенно протянула Беклемишева. — Не могу точно сказать. Но выглядит он очень хорошо, держится прямо. И одет всё так же элегантно. Я его сразу узнала!

— Вы с ним разговаривали?

— Да. Он со мной первый заговорил. Я стояла, цветы выбирала. Вдруг слышу сзади голос: «Здравствуйте, Альбина!» Я прям вздрогнула. Голос-то какой знакомый! Он, Борис, ко мне всегда так обращался, когда встречал во дворе или дома у Заблудовских. Он с детьми разговаривал, как со взрослыми, на «вы». И кланялся. Мне, девчонке, это ужасно смешным казалось. Я думала, что он так с нами играет... Смешливая такая была. И тогда он тоже улыбался и говорил: «Альбина всё хохочет, Альбина замуж хочет!» Такая присказка у него была... Я поворачиваюсь и гляжу — он! Стоит улыбается. И глаза всё такие же — пронзительно голубые, глубоко посаженные.

— Поразительно! Он что-нибудь рассказал про себя? Что он? Где он?

— Нет. Только сказал: «Рад видеть вас, Альбина, в добром здравии». И пошёл. Ещё в руках у него трость была такая старомодная. Теперь так не ходят...

— И как его найти, вы не знаете?

— Нет, Лешенька...

«Фантастика! Значит, если верить Беклемишевой, год или два назад Борис Кончак был ещё жив. Мать честная! Как это возможно?»

МОСКВА, НАШИ ДНИ

Мой поиск ни к чему не привёл — в Москве не значился человек с таким именем и фамилией. Есть много Кончаковых. Есть Телешевичи, не так много, но есть. А вот чтоб Кончак, а тем более Кончак-Телешевич, и чтоб имя ещё совпадало, такого нет...

Признаться, я был обескуражен. Почему-то я был уверен, что все получится. Хотя, собственно, почему? Возможно, что старушка Беклемишева всё-таки обозналась или выжила из ума — видит давно умерших людей и разговаривает с ними. Или... Что — или? Допустим, Борис Ростиславович живёт под чужим именем. Зачем? И кто же он такой, чёрт возьми? Лудильщик, портной, солдат, шпион? Секретный академик? И как тогда его найти? Кстати, Альбина Антоновна говорила, что встретила Кончака на Ваганьковском кладбище... Уж не на могилу ли Заблудовских он приходил? Да и захочет ли таинственный Кончак говорить со мной? Он не объявлялся семьдесят лет! А ведь если бы хотел повидаться с семьёй своего благодетеля, то, наверное, давно сделал бы это. Уж ему-то не пришлось бы долго искать... И всё-таки кладбище было единственной зацепкой, и на следующее утро я отправился на Ваганьковское.

Расспросы разных кладбищенских работяг привели, в конце концов, к нужному человеку по имени Сергей. Я изложил ему свою просьбу. Пришлось долго уговаривать. Поколебавшись, Сергей полез в карман и извлёк оттуда обычную кнопочную трубку, поискал нужный номер и нажал кнопку вызова. Томительно потянулись секунды, абонент, видимо, не отвечал. «Ответь, ответь, пожалуйста», — молился я. И просьба моя была услышана, на том конце наконец взяли трубку.

— Здравствуйте, это — Сергей... — торопливо заговорил мужчина. — Сергей... с Ваганьковского кладбища... да... Тут такое дело... Человек пришёл... очень вас добивается... да, я сказал... родственник, говорит, Заблудовских...

— Как вас зовут? — обратился Сергей ко мне.

— Алексей Кораблев, — отдельно произнёс я. — Правнук академика Заблудовского.

— Кораблев Алексей, — сообщил Сергей в трубку, — говорит, правнук...

Выслушав невидимого собеседника, Сергей снова обратился ко мне:

— Чего вы хотите?

Этот вопрос меня немного обескуражил. Мне казалось, что пароль «правнук Заблудовского» должен был открыть мне все двери. Может быть, этот человек мне не верит? Или, может, это вовсе не Кончак?

— Передайте, пожалуйста, вашему... клиенту, что он забыл на могиле одну вещь.

Снова информация ушла в сеть.

— Какую вещь?

— Портфель. Старый коричневый портфель с серебряной биркой. На бирке написано «Дорогому Борису в день рождения. 25 апреля 1935 года»...

С некоторыми ошибками, но Сергей справился с передачей этого сообщения. Последовала короткая пауза, а затем наступила развязка.

— Оставьте ваш телефон, — сказал Сергей, — вам позвонят.

Я продиктовал номер, после чего сеанс связи закончился.

МОСКВА, НАШИ ДНИ

Визит на кладбище можно было считать лишь частичным успехом, и всё-таки настроение у меня заметно улучшилось. Я предчувствовал прорыв, правда, было не совсем понятно какой. Живой Кончак был абсолютной сенсацией. Его присутствие на этом свете давало шанс узнать подробности давних событий, и не только. В мыслях я постоянно возвращался к разговору с Коженковым. Итак, после процесса 1938 года лизаты и лизатотерапия исчезли с научного горизонта. И вдруг восемьдесят лет спустя журналист Слава Любомирский начинает интересоваться, казалось бы, давно забытым открытием прадеда в связи с делом Манюченко. Насколько далеко он продвинулся в своих поисках? Неизвестно. Мог он проделать тот же путь, что и я? Ну, хотя бы отчасти? Вполне. То есть он мог знать о человеке по имени Борис Кончак. Стоп! Ну да! И если Кончак жив, то Любомирский... теоретически... тоже мог об этом узнать... Я схватился за телефон и открыл папку с фотографиями. Вот она — серия снимков, похожих на маленькие серые квадратики, странички из записной книжки Любомирского.

Я быстро пролистал их. Цифры, стрелочки, таинственный Гиренко, инициалы И. Т., А. К., Б. К... Б. К.! А что, если это Борис Кончак? Вероятность отличная от нуля. Нет, конечно, это могло быть простым

совпадением, и за буквами Б и К скрывался Бабрак Кармаль или даже Бенедикт Камбербетч. Но что-то подсказывало мне, это — не Кармаль и не Камбербетч. Ведь мы с Любомирским бродили по каким-то параллельным коридорам. Да, значит, и про Кончака Слава тоже мог знать... А то, что мне это сразу не пришло в голову, вполне прощительно. Я же был совершенно уверен, что Борис Ростиславович давно в могиле!

МОСКВА, НАШИ ДНИ

Наутро меня разбудил телефонный звонок. Это был худший способ пробуждения. Резкий сигнал вырвал меня из сна, разметав в клочья последнее видение. Несколько секунд я лежал, стараясь вспомнить, что же мне снилось, но телефон продолжал звонить, требуя моего присутствия в реальном мире. И я оставил попытки. «Господи, который час? Семь? У вас нет сердца, — подумал я о звонившем, — кто бы вы ни были». Я стал шарить вокруг себя, но нащупать зловредную трубку не удавалось. «Где же она?» Телефон продолжал звонить, неведомый абонент не оставлял надежды поговорить со мной. Наконец аппарат был найден, он лежал на полу рядом с кроватью. Почему там?

— Алло! Я вас слушаю!

Сначала в трубке царил тишина, потом раздался щелчок, и незнакомый голос произнёс:

— Доброе утро! Вы просили вам позвонить.

«Я просил позвонить? — спросонья мне не удавалось сразу включиться. — Кого? Зачем?»

Голос в трубке явно принадлежал немолодому человеку, слышалась в нём какая-то надтреснутость. Но несмотря на это, он звучал твёрдо и как будто нетерпеливо, так, словно это я оторвал его обладателя от важного дела и он, недовольный, ждал теперь объяснений. И горе мне, если бы причина оказалась недостаточно уважительной, разноса было не избежать. Я собрался с духом.

— Кто говорит?

— Меня зовут Борис Ростиславович, — произнёс голос. — Мне передали, что вы хотели со мной поговорить.

— Вы — Кончак? — выпалил я.

— Да, — ответил голос, как мне показалось, с лёгкой заминкой. — Некоторые люди знали меня под этой фамилией...

С чем можно было сравнить то, что я чувствовал? Это как если бы летательный аппарат НАСА «Новый горизонт» позвонил мне с Плутона...

— Меня зовут Алексей Кораблев, — решил я представиться. — Я правнук академика Павла Алексеевича Заблудовского.

— Павел Алексеевич не очень любил, когда его величали академиком, это звание казалось ему слишком... торжественным. — голос Кончака едва заметно изменился, как будто смягчился. — Он предпочитал, чтобы его называли профессором. Так чем я мог быть вам полезен, Алексей?

Я почувствовал, что если сейчас начну объяснять всё с самого начала, человек на другом конце провода просто не станет меня слушать и повесит трубку. А я должен был о стольком его спросить...

— Сколько вам лет? — неожиданно для себя спросил я.

Человек на другом конце хмыкнул.

— Много, очень много. — в голосе Кончака послышалась усталость.

— Сто семнадцать? Сто восемнадцать?

— Хм, вы правильно посчитали.

— Как вам это удалось?

— Лизатотерапия. Потенцирование организма с помощью тканевых препаратов. Изобретение Павла Алексеевича Заблудовского.

— Значит, работы по лизатотерапии всё-таки продолжались?

— Нет... Не совсем, — неохотно сказал Кончак. — Это сложная и очень тяжёлая история...

— Расскажите её мне.

Кончак молчал. Я вдруг испугался, что он сейчас повесит трубку.

— Зачем вам это? — спросил он наконец.

Я даже немного растерялся от такого вопроса.

— Я хочу знать. Знать обо всём. О прадеде. О лизатах. О том, что произошло 19 сентября 1935 года.

— Н-да... Что произошло... — как эхо, повторил Кончак. — Вы учёный?

— Нет, я — журналист. Я пишу статью о Павле Алексеевиче.

— Да-да, — отрешённо повторил Кончак. — Статью... О нём давно надо было написать. Но что это даст в конечном счёте?

Я на секунду задумался.

— Может быть, это даст «живой» воде шанс?

В трубке снова воцарилась тишина.

— Хорошо, — промолвил наконец Кончак. — Я готов с вами встретиться...

Дом, адрес которого мне сообщил Кончак, чем-то напоминал наш дом на Новинском. Такой же старый, некогда красивый и дорогой, а теперь пришедший в упадок. Стёртые ступени. Кованые лестничные решётки, замазанные омерзительной чёрной масляной краской. Старинные перила с позднейшими вставками из бесформенных деревяшек. Свисающие из-под потолка провода. Голые лампочки без плафонов. «Когда-то здесь, наверное, шла совсем другая жизнь», — подумал я, оглядываясь по сторонам.

Я не стал вызывать лифт и пошёл вверх по лестнице. Этажи в доме были высокими, чтобы попасть на второй, пришлось преодолеть три длинных лестничных марша. На площадку выходили три квартиры — одна, судя по всему, большая и две поменьше. Квартира № 12 располагалась на четвёртом этаже. Те же три двери. Тусклая лампочка под потолком. Я огляделся и прислушался. Вокруг царил полная тишина, нигде не работал телевизор, не плакал ребёнок, не играла музыка. «Даже странно», — подумал я. Квартира Кончака относилась к числу «больших». Постояв секунду-другую, я шагнул к двери и нажал кнопку. Сквозь дверь было слышно, как где-то далеко, в глубине квартиры дребезжит звонок. Однако никакого ответного движения не последовало. Я позвонил ещё раз. «Неужели его нет дома? Или раздумал встречаться?» — с тревогой подумал я. Выждав ещё несколько секунд, я нажал ручку двери, и она открылась... «О чёрт! — забеспокоился я. — А что, если это засада? Нет, поздно отступать».

В прихожей горел свет. Я с любопытством огляделся по сторонам. Вещей на вешалке почти не было. Болтался одинокий чёрный плащ, да ещё стоял в углу большой синий зонт с коричневой деревянной ручкой. Ни шляп, ни обуви. Голый пол без дорожек и ковриков. Квартира производила странное впечатление. Старая и явно нуждавшаяся в ремонте, она выглядела так, словно прежние хозяева уехали и вынесли всё барахло, а новые ещё не вселились и не приступили к переделкам.

В коридор выходило четыре или пять дверей, но все они, кроме одной, были закрыты, и из-за них не доносилось не звука. Я пошёл по коридору, половицы заскрипели у меня по ногам. «Прямо как на Но-

винском», — подумал я и заглянул в единственную открытую дверь. Это была просторная комната, что-то вроде гостиной или столовой. Слева я заметил большой обеденный стол, одним боком придвинутый к стене. Рядом высился старинный буфет со стеклянными дверцами, в котором вперемешку были свалены посуда, книги и какие-то непонятные приборы. С потолка свисала тяжёлая золочёная люстра с хрустальными подвесками. Паркет, когда-то очень хороший, потемнел и разошёлся так, что между досками образовались широкие чёрные щели...

— Алексей, полагаю? — спросил уже знакомый мне голос.

Я обернулся и увидел в глубине комнаты, в небольшом эркере мужчину. Это был высокий худой старик с бледным, чисто выбритым лицом. Седые волосы, начавшие уже редеть, но пока ещё довольно густые, были аккуратно зачёсаны назад и даже как будто слегка набриолинены. Крутой высокий лоб переходил в крупный нос горбинкой. Рот невыразительный, с бледными тонкими губами. Зато подбородок — мощный, выпирающий, настоящий триумф воли! Но самым замечательным в облике старика были его глаза. Синие, удивительно ясные, они, как два живых существа, глубоко сидели в маленьких пещерах глазниц. Взгляд их был пытливым и как будто немного насмешливым. Я внимательно вглядывался в старика, стараясь найти в нём признаки столетней старости. И не мог. Ну разве что кожа на шее сморщилась и немного обвисла. Но всё равно я не дал бы ему больше семидесяти. Ну, семидесяти пяти! Мною вновь овладели сомнения: а вдруг это никакой не Кончак? Одет старик был в свободный домашний свитер синего цвета и темно-серые брюки. Из-под свитера выглядывала свежая белая рубашка без галстука. На ногах у старика были чёрные, до зеркального блеска начищенные туфли.

— Борис Ростиславович?

— Да, это я, — ответил старик. — Проходите.

Скупой приглашающий жест. Пальцы длинные и тонкие. Я шагнул в комнату.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал старик. — Вон там, сзади вас — стулья.

Я обернулся и увидел, что у стены рядом с дверью отдельно от стола выстроились в ряд четыре старинных стула с гнутыми ножками и мягкими сиденьями. Шёлк, которым они были обиты, малость заса-

лился, но дырок нигде не было видно. Я взял один из стульев и поставил его в центре комнаты, поближе к старику. Тот вышел из своего эркера и сел в кресло с жёсткими деревянными подлокотниками. Мне показалось, что я где-то уже видел эту прямую спину и неторопливую, уверенную походку.

— Это вы приносите цветы на могилу Павла Алексеевича? — спросил я.

— Да, я бываю там.

— Спасибо.

— За что?

— За то, что поддерживаете там порядок. Мы, к сожалению, редко приходим туда...

— Мы?

— Да, мы с сестрой и мама.

— Как здоровье Ольги Александровны? — спросил Кончак.

— Спасибо, слава богу, неплохо.

— Я помню её совсем маленькой девочкой...

— Она вас тоже помнит.

— Неужели? Удивительно.

— Она рассказывала, что вы приезжали к бабушке... К Ариадне Павловне после войны.

— Да-да... Ей было лет восемь, не больше. Хотя чему я удивляюсь? В этом возрасте дети уже кое-что помнят... Последний раз я видел вашу маму на похоронах Ариадны. Это было в 1975-м...

— Она мне об этом не рассказывала.

— Она, наверное, меня не заметила... А я не стал подходить, — сказал старик.

Он сидел в кресле, непринуждённо закинув ногу на ногу, и смотрел на меня со спокойной улыбкой.

— Так вы, Алексей, утверждали, что я что-то забыл на могиле Павла Алексеевича, — сказал Кончак, разглядывая меня. — Простите меня, но я не припоминаю такого...

Я открыл сумку и вынул оттуда старый портфель, который нашёл в коробке с прадедовыми документами.

— Вот.

— Позвольте взглянуть?

Я встал и передал портфель старику, тот несколько секунд внимательно разглядывал его.

— Да, я помню эту вещь, — сказал он наконец, — это — подарок, подарок от Заблудовских на моё тридцатипятилетие... Полагаю, что я принёс в этом портфеле какие-то документы на Новинский да так его там и оставил. Не думал, что он сохранился. Спасибо. Так о чём же вы хотели со мной поговорить?

«Обо всём! — хотел крикнуть я, но мною вдруг снова овладели сомнения. — А что, если это все-таки не Кончак, а другой человек, всё это — какая-то странная провокация? Но зачем? Выяснить, что мне известно о расследовании Любомирского? Для этого можно было вы-брать способ менее экзотический».

— Вы правда Кончак? — спросил я.

Старик рассмеялся:

— Вы сомневаетесь?

— Если честно, да. Я не нанесу вам смертельного оскорбления, если попрошу показать паспорт?

— Паспорт? — рассмеялся Кончак, моё предложение, похоже, насколько его не обидело. — Конечно, я могу показать вам паспорт, но только, боюсь, это внесёт в дело ещё большую путаницу.

— Почему?

— Он ненастоящий. Там другое имя, другой год рождения, всё другое...

— Вы живёте по фальшивому паспорту? И как же вас зовут... по бумагам?

— А какая, собственно, разница? Поплавский или Персигов... Когда мне выправляли этот документ, спросили, какую фамилию я бы хотел взять? Я сказал: любую.

— Зачем вам потребовалось брать чужую фамилию?

— Меньше вопросов, — спокойно ответил старик. — Я — одинокий человек, но живу всё-таки не в безвоздушном пространстве. Врачи, собес, железнодорожные и авиабилеты, счета в банках... Одним словом, есть много мест, где нужно предъявлять удостоверение личности... И вот представьте, сидит клерк в каком-нибудь жилкомхозе, и приходит к нему человек за справкой. Здравствуйте, говорит, вот мой паспорт. А в паспорте год рождения 1900. Начинаются удивления, расспросы. А зачем? Вот мне и посоветовали...

— Кто посоветовал?

— Люди, с которыми я работаю.

— А с кем вы работаете?

Старик посмотрел на меня исподлобья. Взгляд у него был озорной.

— Не беспокойтесь, Алексей, я — не криминальный элемент.

— А кто вы?

— Ммм... Я в некотором смысле государственный служащий.

— И где вы служите?

— Я работаю на государственную безопасность, — просто и безо всяких ужимок ответил старик.

Повисла пауза.

— Так получилось, — добавил он, глядя мне прямо в глаза.

— И что, вы действительно до сих пор работаете?

— Ну, я, конечно, не хожу каждый день в присутствие и не сижу за столом с девяти до шести. И не участвую ни в каких... акциях. Я — консультант. Как булгаковский Воланд.

— И так же, видимо, считаете себя частью той силы, которая, желая зла, творит добро? — не смог удержаться я от сарказма.

Услышав это, старик вдруг необычайно оживился.

— Именно! Именно, Алексей! — замахал он рукой. — Вы даже не представляете, насколько уместной в моём случае является эта аналогия. Не представляете!

— Только, боюсь, с вашей организацией всё наоборот: она всегда утверждала, что желала добра, но творила зло...

— Ах, мой молодой друг! Граница между добром и злом такая зыбкая, такая неопределённая. Для кого добро? Для кого зло? Это ведь с какой стороны посмотреть...

Эта вспышка активности только усилила мои сомнения. «Не может быть! Не может столетний старик так выглядеть, так говорить!»

— Что же, если ваш паспорт ненастоящий, тогда как вы докажете, что вы — Кончак?

— Ах, вам всё же требуются верительные грамоты, — снисходительно заметил старик и откинулся на спинку стула. — Извольте!

Он полез в карман брюк и извлёк оттуда какой-то предмет.

— Я тут кое-что приготовил к нашей встрече, — сказал он и поставил на маленький столик рядом со своим креслом фарфоровую фигурку — изящная японка в кимоно играла на флейте.

— Узнали?

Конечно, я узнал. Две такие же статуэтки стояли у нас в шкафу в столовой на Новинском. Только те девушки играли на струнных инструментах. «Ну конечно! — подумал я. — Я всегда чувствовал, что там

кого-то не хватало, что там должна была быть третья девушка. Хотя почему?..»

— Вы когда-нибудь слышали о санкеку? — прервал мои размышления старик.

— Нет, — признался я.

— В переводе это означает «композиция трёх». Это стиль японской камерной инструментальной музыки. Три девушки — три инструмента. Кото — это род цитры, сямисен и флейта сякухати.

— Откуда у вас эта статуэтка?

Старик немного помедлил с ответом.

— В конце 30-х... Короче, с некоторых пор я не мог больше бывать у Заблудовских, как прежде, — объяснил Кончак. — Вот я и взял эту статуэтку на память... Если честно, то я её стащил. Надеюсь, вы меня извините...

Я понимал, что статуэтка — не доказательство, что это тоже может быть трюком, но... всё же верил.

— Вам действительно сто восемнадцать лет?

— Представьте себе, да.

— Как это возможно?

— Ещё великий Мечников...

— Да-да, я читал доклад прадеда.

— Поверьте, это было яркое выступление. Профессор Заблудовский умел увлечь аудиторию...

— И всё-таки как вам это удалось?

— Вы же помните, что писал Павел Алексеевич? Если поддерживать нормальную работу всех важнейших органов и не позволить цепи разорваться в самом слабом её звене, то можно...

— Вы поставили опыт на самом себе?! Вы принимали лизаты? Все эти годы?

— Именно так, — подтвердил старик. — После того как в 1938 году работы по лизатотерапии в ВИЭМе и Лечсанупре официально закрыли, я решил продолжить опыты э-э-э... в частном порядке. Технология изготовления препаратов была мне хорошо известна...

Кончак поднялся с кресла и направился к двери, которая вела в смежную комнату.

— Не желаете взглянуть?

Я подошёл и встал у него за спиной. Борис Ростиславович открыл дверь и щёлкнул выключателем. За дверью обнаружилась небольшая — метров восемь квадратных — комната без окон. Очевидно, кладовка. Там было оборудовано что-то вроде домашней лаборатории. Вдоль стены тянулся длинный стол, заставленный склянками, пробирками и приборами, из которых я смог узнать только микроскоп. В одном углу стоял старый пузатый холодильник «ЗИЛ», а в другом я с удивлением увидел обычную электрическую мясорубку марки «Мулинекс». Запах химических препаратов чувствовался здесь сильнее.

— Вот тут в последнее время я изготавливаю препараты для личного пользования, — сообщил Кончак.

Он снова щёлкнул выключателем, и комната-лаборатория погрузилась во тьму. Мы вернулись на свои места.

— Я делал инъекции по определённой схеме — тестолизат, миолизат, лизат гипофиза, ещё некоторые препараты... И вот мне сто восемнадцать лет, а я практически здоров. Мой мозг работает превосходно, каждое утро я делаю гимнастику и... скажу вам по секрету, могу даже совершить половой акт с какой-нибудь симпатичной женщиной. Ну, при некоторой дополнительной стимуляции, конечно...

— Значит, «живая» вода существует?

— «Живая» вода? Вы знаете, Павел Алексеевич тоже иногда использовал это выражение. Из сказки... Там ворон, кажется, должен был взять из одного источника немного «живой» воды, а из другого — немного «мёртвой», а потом серый волк использовал их по обстоятельствам... Хотя метафора в сказке была более сложной. «Мёртвая» вода как бы убивала Ивана окончательно, отправляла его душу на ту сторону, а «живая» уже возвращала к жизни...

— Для того чтобы родиться вновь, нужно сначала умереть?

— Совершенно верно. Профессор Заблудовский вообще считал, что сказки не являются выдумкой в чистом виде, они всегда отражают какую-то сторону реальности, фиксируют человеческий опыт, пусть иногда в искажённом, фантастическом виде...

— А «мёртвая» вода тоже существовала в реальности? — спросил я. Кончак посмотрел на меня даже как будто с удивлением.

— Да, конечно. Раз существовала «живая» вода, значит, должна была быть и «мёртвая»...

— И что, обвинения, выдвинутые против врачей на процессе 1938 года, имели под собой основания?

— Это получилось, в общем-то, случайно, — заявил Борис Ростиславович после небольшой паузы. — Я просто ошибся с концентрацией...

Его прозрачные голубые глаза снова смотрели прямо на меня.

— Вы слышали что-нибудь о законе Арндта-Шульце?

Я помнил, что прадед упоминал этот закон в какой-то из своих статей, но теперь не мог вспомнить, в чём была суть.

— Закон Арндта-Шульце гласит, что слабые раздражения усиливают жизнедеятельность клеток, средние — поддерживают, сильные — тормозят, а очень сильные — прекращают, — спокойно пояснил Кончак. — Году в 1928-м... мы все тогда ещё жили в Казани... я ставил опыты на лягушках, вводил им в сердце кардиолизат. Так вот 0,01-процентный раствор оказывал положительное действие. Сразу после введения препарата амплитуда сокращений резко увеличивалась, и только после довольно продолжительного времени происходило снижение к норме... Но однажды...

Кончак сделал паузу.

— ...Однажды я, видимо, перепутал концентрацию и обнаружил, что препарат оказал действие прямо противоположное...

— Какое?

— Сердце остановилось. 1-процентный раствор оказал отрицательное действие на орган, то есть произошло уменьшение амплитуды сокращений и замедление их, что довольно быстро привело к остановке сердца... Я стал экспериментировать... Точно так же действовал и 0,1-процентный раствор — с той лишь разницей, что остановка сердца происходила не так скоро... Это блестяще подтвердило гипотезу профессора Заблудовского о том, что продукты белкового распада в малых дозах работу сердца возбуждают, а в больших останавливают.

— Вы рассказали об этом Павлу Алексеевичу?

— Разумеется.

— И как он к этому отнёсся?

— Сказал, что это очень интересные экспериментальные данные... Мы даже подготовили статью... Она была опубликована позже в материалах Лечсанупра...

Я на мгновение прикрыл глаза. Вот, собственно, и всё. Вина доказана! Лизатами можно было не только лечить, но и убивать. Причём

убивать по-разному. Можно быстро, вкатив пациенту раствор, концентрация которого в сто раз превышала безопасную. А можно медленно, уменьшив «убойную» дозу в десять раз. И, разумеется, вскрытие ничего подозрительного не показывало.

— То есть Менжинского действительно убили при помощи лизатов?

— Ммм... Мне эта версия представляется весьма правдоподобной. Ягода очень хотел занять его место.

— Павел Алексеевич в этом участвовал?

— Нет. Его интересовала только «живая» вода. Дать жизни шанс, продлить её до естественных пределов — вот задача, которую он пытался решить...

Кончак остановился, взгляд его снова на мгновение стал отрешённым. Я молча ждал продолжения.

— Павел Алексеевич Заблудовский был настоящим русским интеллигентом, идеалистом, — медленно произнёс Кончак. — Он верил в силу разума, в прогресс, в мораль, принципы... Он был убеждён, что развитие общества идёт по нарастающей, что каждое следующее поколение лучше предыдущего, умнее, добрее, терпимее... Представить, что кто-то будет сознательно использовать достижения науки для убийства, он не мог.

— Кто же тогда дал в руки НКВД «мёртвую» воду?

— Это долгая история, Алексей, — произнёс старик серьёзно, почти сурово. — Мы с Павлом Алексеевичем были в очень разном положении. Он, выдающийся учёный с мировым... да-да, мировым!.. именем, мог стоять гордо и заниматься чистой наукой. А у меня — бывшего белогвардейца, дворянина и социально чуждого элемента — такой возможности не было... Для меня вопрос стоял предельно просто — или я работаю на них, или меня уничтожат.

Кусочки пазла стали потихоньку складываться в картину.

— Так это вы рассказали им о том, что с помощью лизатов можно незаметно убивать людей?

— Да... Токсикологическая лаборатория существовала в ГПУ давно. Они с 20-х годов варили там свои дьявольские зелья. Говорили, что сам Ягода был в молодости провизором и умел готовить яды... Гэпэушники смотрели на всё под определённым углом зрения. Они везде видели врагов, которых надо уничтожить... Их всегда больше интересовала смерть, а не жизнь, «мёртвая» вода, а не «живая».

— И вы им помогли?

— А что мне оставалось делать?

— Ну, выбор всегда есть. Я знаю, что некоторые микробиологи отказались делать бактериологическое оружие.

— Некоторые отказались, — с готовностью подтвердил Кончак, — и их расстреляли, тогда другие согласились.

— И вы оказались среди мастеров выживания?

— Я даже не буду на вас обижаться, — снисходительно произнёс Кончак. — Ведь вы сейчас изволили упрекнуть меня в трусости, не так ли? Знаете, что я вам на это скажу? Легко рассуждать, находясь в относительной безопасности, а когда перед вами стоит выбор согласиться сотрудничать или умереть, ответ даётся, поверьте, совсем не так легко.

Я его понимал. Что делать, если цена сопротивления или даже простой фронды — жизнь? Будешь взвешивать слова поневоле.

— То есть Павел Алексеевич не знал о токсикологической лаборатории?

— До определённого момента не знал...

— А когда узнал?

— Незадолго до своей смерти.

— Это вы рассказали ему?

— Да.

— Зачем?

— Он стал подозревать, что происходит что-то неладное... Смерть Менжинского его озадачила. Я помню один наш разговор летом 1934 года... Вообще, Павел Алексеевич был очень щепетилён в вопросах врачебной этики и никогда ни с кем не обсуждал состояние здоровья пациентов. А тут вдруг сам заговорил со мной об этом. Он сказал, что не понимает, почему умер Вацлав Рудольфович, ведь его, по словам Заблудовского, лечили правильно. После приёма лизатов Менжинскому действительно становилось лучше, и тут вдруг такой поворот... Павел Алексеевич думал о возможной врачебной ошибке, но не верил в злой умысел. Однако когда в январе 1935-го при похожих обстоятельствах умер Куйбышев, Павел Алексеевич определённо стал что-то подозревать... Он хотел расследования, потому что опасался, что его детище — лизатотерапия — будет погублено. Короче, он решил написать письмо.

— Кому? Сталину?

— Ну уж сразу Сталину! — Кончак криво усмехнулся. — Нет, для начала, насколько я знаю, он хотел обратиться к начальнику Лечсанупра Ходоровскому и наркому здравоохранения Каминскому. Ну, может быть, ещё к директору ВИЭМа Фёдорову. Я приложил все усилия к тому, чтобы отговорить его.

— Почему?

— Я опасался за Павла Алексеевича.

— Вот как? Почему?

— НКВД счёл бы его нежелательным свидетелем, последствия могли быть ужасными...

— И поэтому вы убедили его не обращаться в... инстанции? — спросил я.

— У меня был ещё один резон...

— Какой же?

— Я боялся и за себя. Если бы Павел Алексеевич поднял шум, в НКВД наверняка решили бы, что это я рассказал ему о секретных опытах... Тогда мне было бы несдобровать.

Я кивнул, и Кончак продолжил:

— Да, так вот. Я уговорил его пока никому не писать. Я сказал, что если имела место преступная халатность или даже сговор с целью убийства, то расследование, безусловно, должно быть проведено. Против этого едва ли кто-нибудь стал бы возражать. Но что, если никакого преступления не было и показавшиеся подозрительными обстоятельства — не более чем простое совпадение? В этом случае заявление в инстанции могло иметь тяжкие последствия! Ведь известно, с какой готовностью наши органы везде находили заговоры, даже там, где их вовсе не было. Как они относились к старым специалистам, тоже хорошо известно. Кто лечил Менжинского? Доктор Казаков. Кто лечил Куйбышева? Доктор Виноградов. Они были известны как хорошие специалисты, репутация у них была вполне прочная. А получилось бы, что профессор Заблудовский написал на них донос.

— И что Павел Алексеевич сказал на это?

— Он был явно смущён. На него, человека в высшей степени порядочного, слово «донос» действовало парализующе. Он сказал, что ещё раз всё обдумает.

— А что случилось дальше?

Кончак как-то весь подобрался, лицо его стало строгим, сосредоточенным.

— Я припоминаю, что разговоры наши с Павлом Алексеевичем происходили в мае или в начале июня 1935 года. А в июле с профессором случился первый сердечный приступ. Вы знаете, что у него было больное сердце?

— Да. Стенокардия.

— Совершенно верно. Мы все очень переживали, но Павел Алексеевич довольно быстро поправился. Серафима Георгиевна уговорила его поехать отдохнуть. Он согласился и где-то в конце июля отправился в Кисловодск в санаторий. Вернулся через месяц в хорошей форме и отличном настроении. Я был у него в один из последних дней августа. Не помню точно дату. Мы говорили о всяких пустяках, Павел Алексеевич много шутил, рассказывал смешные истории из жизни отдыхающих. О странных смертях не было сказано ни слова. Его подозрения, казалось, развеялись, как страшный сон. И тут...

— Что тут?

— Тут случилась катастрофа.

— Что вы имеете в виду?

— Тридцатого августа при весьма странных обстоятельствах в Москве умер французский писатель Анри Барбюс. Слышали о таком?

— Конечно.

— Он был одним из тех левых европейских интеллигентов, которые дали одурачить себя советской пропагандой. Вы что-нибудь читали из его произведений?

— Если честно, нет.

— Я тоже. Говорят, что он написал пару приличных вещей, но последним его произведением стала биография Сталина... Так вот история это очень тёмная. Барбюса доставили в Кремлёвскую больницу как будто с пищевым отравлением, а он в тот же день взял и умер «с явлениями крупозного воспаления лёгких». Диагноз был такой же, как у Максима Пешкова, а заключение о смерти подписал всё тот же доктор Лев Григорьевич Левин...

— Вы думаете, его тоже убили?

— Трудно утверждать что-либо наверняка, но исключить такого поворота нельзя.

— За что было убивать человека, только что написавшего биографию Сталина?

— Может быть, книга не понравилась главному герою? — мрачно усмехнулся Кончак. — А может быть, это было как-то связано с интри-

гами вокруг Горького? Важно не это, а то, что вся эта история произвела на профессора Заблудовского очень тяжёлое впечатление. Все его страхи и подозрения вернулись и ещё больше усилились.

— Но почему? Барбюсу, что, давали лизаты?

— Я этого не знаю. Возможно, профессор получил какие-то сведения или намёки непосредственно от Левина или кого-то ещё из кремлёвских врачей. Я был у Заблудовских 1 сентября. Павел Алексеевич был мрачен, но настроен решительно. Он отвёл меня в кабинет и заявил, что намерен писать Ягоде. Я был в ужасе! Умолял его не делать этого, но понимал, что на этот раз отговорить профессора будет трудно. У меня был только один способ остановить его...

Я вздрогнул, слова Кончака прозвучали как-то уж очень двусмысленно.

— ...Открыть ему всю правду. Я прямо сказал, что за известными ему событиями стоит НКВД.

— И как он к этому отнёсся?

— Как я и думал, он мне сначала не поверил... Но когда я сообщил ему подробности... Я чувствовал, что он был потрясён. Он ходил по комнате, засунув руки в карманы брюк, и всё время повторял: «Что же делать? Что же теперь делать?» Я честно сказал ему: «Не думаю, что вы можете что-то сделать, не подвергая смертельной опасности себя и свою семью». Он не хотел с этим смириться, говорил, что должен быть какой-то выход...

— И чем же закончился ваш разговор?

— Я взял с Павла Алексеевича слово, что он не будет ничего предпринимать, не поставив меня в известность... А в конце, когда мы уже прощались, он вдруг заговорил о своих братьях — Андрее и Сергее, о том, как по-разному сложились их судьбы. Он сказал, что если человек сталкивается со злом, у него есть только два пути — бороться или бежать. Если же он не делает ни того, ни другого, то рано или поздно становится частью зла.

— И что было дальше?

— Ничего. Я ушёл. Павел Алексеевич не провожал меня, как обычно.

— Это была ваша последняя встреча?

— Да.

— А как вы узнали о его смерти?

— Вечером 19 числа мне позвонила Ариадна.

— Так что же случилось?

— Сердечный приступ, я полагаю.

Я испытал чувство, похожее на разочарование. То есть всё было так, как мне всегда и рассказывали.

— А мог Павел Алексеевич... — я запнулся. — Узнав всё... добровольно уйти из жизни? Скажем, сделать себе смертельную инъекцию?

Кончак на секунду задумался.

— Теоретически нельзя этого исключать, но для этого у него должен был быть препарат нужной концентрации, а я не слышал, чтобы он хранил лизаты дома... Кроме того, идея самоубийства была настолько противна его жизнелюбивой и оптимистичной натуре, что я с трудом могу представить такой исход для него. Хотя, конечно, ситуация, в которой он оказался... в которой мы все оказались... была экстраординарной, поэтому ничего нельзя исключать. Быть частью всего этого безобразия он не хотел, но открыто протестовать не мог. Бежать, как брат Сергей, тоже не мог. Что оставалось? Впрочем, мы с вами можем строить самые разные предположения, но окончательной и неопровержимой правды, боюсь, не узнаем уже никогда.

— А вам смерть прадеда никогда не казалась какой-то... подозрительной?

Кончак пожал плечами.

— Подозрительной? После того как я стал работать в токсикологической лаборатории НКВД, мне все смерти стали казаться подозрительными, — мрачно заметил он. — Но... у меня нет никаких доказательств... У профессора Заблудовского действительно было больное сердце. Возможно, он и правда скончался во сне от приступа грудной жабы. И никакие внешние обстоятельства не были тому причиной. Если, конечно, не считать потрясения, какое он испытал, узнав, что его изобретение стало орудием убийства.

Мы немного помолчали.

— У меня будет к вам ещё один вопрос, — сказал я.

— Извольте.

— Как получилось, что лизатотерапия стала одним из героев третьего московского процесса? Почему именно лизаты?

Кончак откинулся на спинку кресла и задумчиво посмотрел куда-то мимо меня.

— Хм... Это тоже получилось, в общем-то, случайно. Осенью 1936 года сняли Ягоду, и из НКВД стали исчезать его люди... В это время в лаборатории появился человек по фамилии Карнаухов. Не помню его имени-отчества. Он был из новых, из ежовцев. Ходил по комнатам, беседовал с сотрудниками — одним словом, вникал. И однажды пригласил меня к себе в кабинет на беседу. Вёл себя корректно, предложил чаю, разрешил курить. А спрашивать стал о смерти Менжинского. Я сразу понял, что они «лепят» дело на самого Ягоду. И подумал, а почему нет? Почему не дать им подсказку? Пусть негодяи убивают друг друга...

— Но вы же понимали, что тем самым скомпрометируете лизотерапию? Повредите делу, которому посвятил себя профессор Заблудовский?

— Понимал, но видел в этом и положительную сторону.

— То есть как? — спросил я, совершенно ошеломлённый.

Кончак задумчиво пожевал губами.

— Видите ли, целый год после смерти Павла Алексеевича я напряжённо размышлял о том, что будет с его делом. И выводы, к которым я приходил, были неутешительными. К тому времени «мёртвая вода» была у них в руках, и с этим ничего уже нельзя было поделаться. Но какая судьба ждала «живую воду»?

— Как какая? Люди бы жили, как вы, сто двадцать лет!

— Возможно. Но вы, как и ваш прадед, упускаете из виду один существенный момент. Сто двадцать лет стали бы жить все люди. Не только хорошие, но и дурные. Вы можете себе представить, что было бы, если б Сталин прожил сто двадцать лет?

Я прикрыл глаза и быстро подсчитал в уме, что в этом случае Иосиф Виссарионович умер бы совсем недавно — в 1999 году. Что было бы? Нет, представить это у меня не хватало фантазии.

— Вот я и подумал, — тихо продолжал Кончак. — Оставим «мёртвую воду» злодеям, раз уж так получилось, а «живую» спрячем. До лучших времён!

«Он ненормальный! — подумал я. — Возомнил себя неизвестно кем... или просто всю жизнь искал оправдание своему предательству».

— И что же, лучшие времена наступили?

— Нет, они так и не наступили, и это, должен признаться, меня очень беспокоит, — ответил Кончак. — Ведь мне, как вы верно замети-

ли, сто восемнадцать, а Павел Алексеевич не обещал нам двести или триста лет жизни.

— Что же вы намерены делать с «живой» водой?

— Пока не знаю. Может быть, у вас есть какие-то идеи?

У меня идей не было.

— У вас есть ещё ко мне вопросы? — спросил Кончак.

— Скажите, вы были знакомы с Вячеславом Любомирским?

— Нет.

— А про «дело Манюченко» знаете?

— Что-то слышал краем уха, но подробностей не вспомню...

— Он тоже умер от сердечного приступа при неясных обстоятельствах...

— Понимаю ваш намёк, но я уже сказал, что давно не участвую ни в каких акциях... Мне ничего об этом деле неизвестно.

Кончак взглянул на часы.

— Боюсь, что время наше на исходе, Алексей...

— Мы с вами ещё увидимся?

— Кто знает? — уклончиво ответил старик. — Быть может, я вам напишу.

— Напишите?

— Да, напишу.

МОСКВА, НАШИ ДНИ

— Пройдёмте с нами, — сказал мне какой-то незнакомый человек в штатском.

— Куда? Зачем?

И в эту секунду кто-то крепко взял меня сзади за шею и прижал к лицу тряпку с какой-то вонючей дрянью... И больше я ничего не помнил.

...Когда я очнулся, за окном было утро, но утро какого дня, я не знал. Сколько времени я оставался без сознания? И вообще, где я находился? Я открыл глаза и увидел незнакомую комнату. Она была совершенно пустой и от этого казалась просторной. Стены были обклеены какими-то сиротскими обоями в мелкий цветочек. «Господи, кому могло прийти в голову наклеить такие обои?» — подумал я и, видимо, снова забылся.

Второй раз я проснулся от того, что кто-то ходил по комнате. Я открыл глаза, но никого не увидел, шаги раздавались у меня за спиной.

— Проснулись? — слышался незнакомый голос.

Раздался щелчок. Человек у меня за спиной открыл окно или дверь балкона, и в комнату стал вливаться свежий прохладный воздух. До меня донеслись звуки города — шуршание автомобилей, чириканье птиц. Где-то внизу по асфальту процокали женские каблукки. Мужчина стоял и молча разглядывал меня. Я вдруг почувствовал, как к горлу подступила тошнота, и поморщился.

— Вам нехорошо, Алексей Петрович? — участливо спросил мужчина.

Голос у него был низкий, с хрипотцой. Приятный довольно голос.

— Так себе, — признался я.

— Сейчас мы это поправим, — сказал мужчина и вышел из комнаты.

Через минуту он вернулся. В левой руке он держал стул, а в правой шприц и кусочек ваты. Мужчина поставил стул напротив меня и снял со шприца пластмассовый колпачок. Я заволновался.

— Что это вы собираетесь мне колоть?

— Не волнуйтесь, — спокойно ответил мужчина. — Убивать вас никто не собирается.

— Откуда я знаю?

— Если бы мы хотели вас убить, то сделали бы это раньше.

— Кто это мы? Кто вы такой?

— Сейчас-сейчас. Давайте всё-таки сначала полечимся.

Мужчина подошёл вплотную ко мне, и я почувствовал лёгкий запах парфюма. Запах был знакомым, но только я никак не мог вспомнить, что это за марка.

— Не дёргайтесь!

Он потёр ваткой место у меня на шее, и вместо парфюма в воздухе запахло спиртом. Уколот он меня ловко и совсем не больно. Умело уколол. Отступив на шаг, он внимательно посмотрел мне в глаза, надел на шприц колпачок и спрятал его в карман плаща. Потом уселся на стул напротив меня. Изменения к лучшему не заставили себя ждать. Бам! Внутри меня как будто включилось резервное питание. Мысли прояснились, голова стала лёгкой, тошнота отступила. «Хм! Я был бы не против иметь дома пару доз этого зелья», — подумал я.

— Ну как? Вам лучше? — поинтересовался мужчина.

— Да, значительно. Что это было в шприце?

Мужчина слегка поморщился.

— Не могу сказать...

— Секрет?

— Нет. Просто у меня отвратительная память на названия лекарств и всяких химических соединений. Не запоминаю!

— Кто вы всё-таки такой?

— Моя фамилия Гиренко, — сказал мужчина. — Зовут Дмитрием Анатольевичем.

«Так вот ты какой, человек из записной книжки Любомирского», — подумал я, с интересом разглядывая его.

Гиренко расстегнул плащ, и под ним обнаружился очень недурной серый костюм. Единственное, что мне не понравилось, это то, что под пиджак мужчина надел чёрную водолазку. Белая рубашка выглядела бы лучше... Из внутреннего кармана пиджака Гиренко извлёк удостоверение.

— Федеральная служба безопасности.

— Очень интересно. Я что, арестован?

— Нет.

— Тогда зачем наручники?

— Вы всё время падали со стула, мы вас так зафиксировали, а класть вас на пол как-то не хотелось, — пояснил Гиренко. — Сколько им говорил, диван надо сюда какой-нибудь поставить...

Я не стал уточнять, кому «им».

— Ну теперь-то можно снять ваши браслеты? Я смогу сохранять равновесие.

— Снимем. Немного позже.

— Думаете, я на вас брошусь?

— Нет, не думаю.

— Тогда почему?

Гиренко задумчиво посмотрел куда-то мимо меня.

— Видите ли, Алексей, наша беседа будет носить... как бы это выразиться?.. отчасти воспитательный характер. И некоторая несвобода в движениях должна напоминать вам о существующих ограничениях...

— Что-то вы очень сложное сочинили. Прямо философ сыска!

Гиренко рассмеялся:

— Да-да, таким примерно я вас себе и представлял.

— А с чего-то это вы вообще стали обо мне что-то представлять?

Меня начинала раздражать его манера вести разговор.

— О, поверьте, у меня были для этого основания. Мы обязательно поговорим об этом, но немного позже. А сначала я задам вам несколько простых вопросов, а вы постараетесь на них честно ответить.

— Это допрос?

— Нет.

— Значит, я могу не отвечать?

— Можете.

— Мне что-нибудь за это будет?

— Ммм... Нет. Но я бы на вашем месте ответил. Зачем, скажите на милость, злить Федеральную службу безопасности?

— Резонно. Валяйте, давайте ваши вопросы.

— Как давно вы знаете человека по имени Стивен Лейн?

— Совсем недавно.

— Кем он вам приходится?

— Он мне приходится бойфрендом моей дочери.

— А где живёт ваша дочь?

— Там же, где и моя бывшая жена, — в Канаде.

— Ага.

Мне показалось, что на самом деле Гиренко прекрасно знал и про Ксению, и про Лену, и про Канаду. И вопросы его были то ли проверочными, то ли отвлекающими.

— Что нужно было Лейну от вас?

«Вот тут внимание! — подумал я. — Пожалуй, это главный вопрос». Я, конечно, мог бы запереться и сказать, что мы говорили исключительно о семейных делах, но... «Могу я повредить Стивену, пересказав в общих чертах содержание нашей беседы? — размышлял я. — Да вроде бы нет. Никому ведь не запрещено обсуждать научную работу моего прадеда. Хотя кто знает? От этих людей с книжечками всего можно ожидать... С другой стороны, по уточняющим вопросам я, быть может, смогу понять, чего они ищут...»

— Стив... Стивен Лейн спрашивал меня об исследованиях моего прадеда профессора Павла Алексеевича Заблудовского.

— Вот как? А что именно его интересовало?

Я отметил про себя, что Гиренко не спросил, в чём, собственно, состояла суть работ Заблудовского. Он был в курсе.

— Его интересовало, не ведутся ли сейчас в России исследования... в этом направлении.

— И что вы ответили?

— Ответил, что никогда не слышал о подобных исследованиях.

— Как Лейн объяснил свой интерес?

— Он представляет венчурный инвестиционный фонд, который вкладывает средства в различные медицинские технологии. По его мнению, идеи Заблудовского и сегодня представляют интерес. К ним можно было бы вернуться...

— Они что, хотят наладить производство лизатов?

«Он знает слово. Что это? Сигнал — нам всё известно?»

— Он этого не исключил.

— То есть речь шла об использовании... тканевых препаратов в лечебных целях?

— Да, я полагаю.

— А больше Лейн ни о чём не спрашивал?

Гиренко спросил об этом небрежно, как будто невзначай, но по его остановившемуся взгляду я понял, что его очень интересует ответ.

— Нет, больше он ни о чём не спрашивал.

— Вы были знакомы с Вячеславом Любомирским?

— Да, мы со Славой когда-то работали вместе.

— В последнее время вы с ним общались?

«Манюченко! Манюченко!» — стучало у меня в голове.

— Нет, можно сказать, мы совсем не общались.

— А когда вы видели его в последний раз?

— Сложный вопрос. Слава погиб больше года назад. Я видел его...

Мне пришлось напрячь память.

— ...Незадолго до его смерти... Мы случайно столкнулись в магазине.

— О чём разговаривали?

— Да не помню я уже! Так, наверное, перекинулись парой слов. Small talk, как говорят англичане.

— Любомирский не рассказывал, чем занимался в то время?

— В последние годы Вячеслав Любомирский редактировал интернет-издание «Проект-2014». И об этом было известно всем.

— Я имел в виду другое. Не говорил он о каких-то расследованиях? Или, может быть, вам об этом говорили другие люди? Общие знакомые?

— А могу я спросить, к чему все эти вопросы?

— Видите ли, Алексей, тут оказались затронуты некоторые... эээ... деликатные моменты, — спокойно произнёс Дмитрий Анатольевич. — Мы должны во всём разобраться.

Меня вдруг охватила злость. «Знаю я ваши «деликатные моменты»! — подумал я. — Сначала убили Манюченко, потом Любомирского, а теперь кого убьёте — меня?.. «Чистильщики», так вас, кажется, называют? Прячете концы в воду! Ну и чёрт с вами! Всё равно не стану я играть в эти игры!»

МОСКВА, НАШИ ДНИ

Георгий Автандилович Лордкипанидзе сидел у меня на кухне и с интересом наблюдал, как я укладываю в коробку прадедовы документы. Одет Жора был в короткий чёрный плащ, снять который почему-то отказался, тёмные брюки и остроносые туфли.

— Это и есть архив академика Заблудовского? — спросил он после того, как я убрал с пола последние журналы и заклеил коробку широким малярным скотчем.

— Да, это он и есть, — ответил я.

— И ты хочешь, чтобы я его увёз?

— Да, хочу.

— Куда?

— Для начала переправь его в Грузию. Или в Армению. Где там у тебя родственники? А оттуда... вот туда.

Я написал на листке бумаги адрес и протянул его Жоре.

— Ого! — присвистнул тот, прочитав написанное. — Неблизкий путь!

— Неблизкий. Сделаешь?

— Сделаю.

— Это важно.

— Понимаю.

— И не обижайся за то, что я на тебя нападал. Это из-за Катки.

— Я знаю.

— Она тебя всё ещё любит...

— Я тоже её люблю.

— Почему же вы не вместе?

— Мы разные, Лёша, очень разные. Ей нужно, чтобы я был все время рядом, на расстоянии вытянутой руки. Чтобы с девяти до шести на работе сидел и чтобы зарплату два раза в месяц приносил. И чтоб по выходным мы с ней ездили закупаться в «Ашан», а потом сидели бы на диване и смотрели бы телевизор... А я так не могу.

— А как ты можешь?

— Я — вольный стрелок. В юности я мечтал, что стану моряком, буду уходить на полгода в плавание, а на берегу меня будет ждать верная жена...

— Ждать и не выступать. Знаешь, мне кажется, с Катькой эта модель не очень работает... Хотя, может быть, я ошибаюсь и всё так и происходит? Ладно, вольный стрелок, ты хотя бы не пропадай так надолго. Появляйся время от времени, Витьке ты нужен...

— Я постараюсь.

— Ну вот и славно. Забирай груз.

— Гидэрасписаца?

ТОРОНТО, НАШИ ДНИ

Я сижу в пабе Duke of Richmond на Куинз-стрит в даунтауне. На часах 11.27 местного канадского времени. Заведение только недавно открылось, и народу в зале немного. Я сижу на высоком стуле возле стойки и тупо смотрю в экран телевизора, который показывает новости без звука. Я люблю сидеть возле стойки. Можно поболтать с барменом, если попадётся разговорчивый, или просто разглядывать бутылки на полках. Одно плохо — нельзя видеть, что происходит в зале и на улице за окном. Ну, да ничего, нельзя иметь всё сразу. Я уже выпил свой кофе и теперь просто сижу. Сзади раздаются шаги, и стул справа от меня занимает женщина. Я чувствую лёгкий запах её духов. Знакомый запах.

— Привет, — говорит она негромко.

— Привет, — отвечаю я и оборачиваюсь.

Лена с улыбкой рассматривает меня.

— Ты хорошо выглядишь, — говорит она.

— Спасибо. Ты тоже неплохо.

Я всегда знал, что с годами женщины становятся лучше. Если, конечно, следят за собой и не превращаются в картофелину. Ленка выглядела грандиозно — моложавая, загорелая, подтянутая.

- Тебе очень идёт короткая стрижка, — говорю я.
- Спасибо.
- И цвет хороший. И у тебя совсем нет морщин.
- Ну, немного ботокса никому не помешает, — улыбается она. —

Приходится следить за собой.

- Мне кажется, что ты это делаешь без усилий и с удовольствием.
- Пожалуй.
- Но что-то в тебе всё-таки изменилось.
- Что?
- Ты стала... спокойнее, что ли. Не такая резкая.
- Наверное, ты прав. Я и вправду стала мягче.

Мне приятно смотреть на Лену, слышать её голос. Между нами нет больше никаких препятствий. Война давно кончилась, и ветераны встретились на пляже Омаха. Лена заказывает кофе и сэндвич с ветчиной.

- У тебя кто-то есть? — спрашиваю я.
- Ммм... Ну, иногда я хожу на свидания.
- А постоянно?
- Постоянно нет.

Мне приятно это слышать.

Ленка отхлёбывает кофе и откусывает изрядный кусок сэндвича.

- Ну рассказывай, — говорит она.
- Я громко смеюсь, и бармен смотрит на меня с удивлением.
- Чего ты ржёшь? — спрашивает Лена.
 - Твоя привычка говорить с набитым ртом неистребима.
 - Не воспитывай меня!
 - Не буду. Так что рассказывать-то?
 - Как ты тут оказался? Когда Ксюха мне сказала, я чуть со стула не

упала.

- Это — длинная история.
- Понятно. Стив передаёт тебе привет и благодарит за помощь...
- Он здесь?
- Сейчас нет. Уехал по делам в Калифорнию. Но он очень воодушевлён.

— Воодушевлён чем?

— Ну, тем, что он узнал об изобретении твоего прадеда. Лизатах, да? Правильно?

— Правильно.

— Говорит, из этого может что-то получиться. Надеется заинтересовать инвесторов.

— Ну, дай бог.

— Ксения была очень удивлена, когда получила по почте огромную коробку из Турции... Ты прямо настоящий контрабандист!

— Я — не контрабандист. А вот Стив наш, часом, не цэрэушник, а?

— Понятия не имею.

— Как ты легкомысленно к этому относишься! Этот человек, возможно, женится на нашей дочери.

— Женится или не женится, там будет видно. Но не будешь же ты тут каждого встречного брать за пуговицу и спрашивать: «А ты, случайно, не цэрэушник?»

— Нет, я буду брать каждого встречного за пуговицу и спрашивать: «А ты, случайно, не эфэсбэшник?»»

Я посмотрел на Лену. Она, не торопясь, допивала кофе.

— Слушай, какая глупость! — сказал я.

— Что именно?

— Ну, то, что мы с тобой не разговаривали все эти годы.

— Видит бог, не я одна в этом виновата.

— Ну да. Но теперь мы можем иногда встречаться... Конечно, без секса...

— Почему? Я могу и с сексом, — спокойно сказала Лена.

— Вот как? Это что-то новое!

— Нет, Лёша, это хорошо забытое старое, — сказала она и сложила губы трубочкой, посылая мне воздушный поцелуй. — Мне пора.

— Я заплачу.

— Спасибо.

— Рад тебя видеть.

— И я рада тебя видеть.

Лена встала и направилась к выходу. Сквозь окно я видел, как она вышла из бара, на секунду остановилась, что-то отыскивая в сумке, а потом быстро зашагала по улице и скрылась из виду. «Фигура у неё по-прежнему что надо», — подумал я и снова повернулся к телевизору.

— Желаете что-нибудь ещё, сэр? — спросил меня бармен.

— Простите, у вас найдётся бумага?

— Бумага, сэр?

— Да, обычная писчая бумага.

Через пару минут парень принёс мне откуда-то несколько листов. Я достал из кармана пиджака ручку и начал писать.

«В истории науки найдётся немало личностей и теорий, которые произвели в своё время настоящую сенсацию, но затем в силу разных причин были забыты, — строчил я. — К числу таких потерянных имён можно, без сомнения, отнести и русского физиолога, профессора Павла Алексеевича Заблудовского, автора теории лизатов...»

Я писал и мурлыкал себе под нос: «От Казани до Торонто в тихом сумраке ночей...»

ОБ АВТОРЕ

Михаил (Майк) Логинов родился в 1963 году в Москве. Изучал экономику в Московском финансовом институте (ныне — Финансовый университет). Работал бухгалтером.

С 1989 года — журналист и редактор. Начинал в «Литературной газете», работал в газетах «Коммерсант», «Сегодня», журнале «Итоги». В 2009–2014 годах был главным редактором общественно-политического еженедельника «Профиль». В 2015–2020 годах редактировал «Строительную газету».

Писать прозу начал в середине 2010-х годов. В 2018-м опубликовал на платформе Ridero сборник рассказов «Десять писем к подругам».

Недавно в издательстве ЭКСМО (Москва) вышел дебютный роман писателя «Эликсир для избранных».

Майк Логинов — внук известной советской поэтессы Вероники Тушиновой.

Борис КАМЯНОВ
ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

КОЛОДА КАРТ

У нас в шкафах полно скелетов.
Весна — пора идти вразнос:
Ложатся дамы под валетов,
А королей бросают в снос.

Теряя совести остатки,
В игре рискованно борзы,
Хватают друг у друга взятки
Сребролюбивые тузы.

Все остальные — просто фоски,*
Они по мелочи шустряты.
Средь них шестерки-отморозки,
Те, как обычно, шестерят.

Всю жизнь тасуются картонки.
Средь этой общей суеты
Два джокера сидят в сторонке
И надрывают животы.

2020

* Фоска — название игровой карты от двойки до десятки.

РАСПЛАТА

Наш мир сегодня — сумасшедший дом.
Больное солнце лихорадкой пышет.
Все люди — в масках. Дышится с трудом.
А многие и вообще не дышат,

А от удушья отдали концы:
Земле вернули туши, Богу — души.
Но мы с женой — большие молодцы:
Мы выжили пока и бьём баклуши...

За то, что в мире разгулялся бес,
Бросая вызов высшему Закону,
Коронавирус послан нам с Небес:
Мы осквернили Господа корону.

Страна отцов напоминает ад.
Похоже, наступает час расплаты.
На улице в тени — под пятьдесят,
И все прогнозы наши страшноваты.

Нам некому послать сигналы SOS,
Не выпросить спасительной отмазки.

...На площади целуются взасос
Два мужика, отбросив к чёрту маски.

2020

Узник

Над тихой долиной мой высится дом,
И лес Иудеи — под самым окном.
Но не был давно я на лоне природы,
Меня не пускают болезни и годы.

А мне б из окна воспарить в синеву
И птицей усталой слететь на траву...
Забыть бы про старость — большую подляну,
Для живности разной накрыть бы поляну:

Шакалам я выдал бы шварму из кошек,
Семье муравьиной насыпал бы крошек,
К столу голосистых созвав соловьёв,
Тех самых скормил бы я им муравьёв.

Я с зайцем бы водку заел колбасой,
Хоть он и без выпивки вечно косой...
Вот так, о несбыточном глупо мечтая,
На мир недоступный смотрю из окна я.

Я — узник, закованный в хвори и старость,
Мне только смотреть из окна и осталось,
Грустить и над блажью своею смеяться,
И кошкам окрестным не надо бояться.

2020

ДВА КОНЯ

Два коня на горе, на последней вечерней заре.
Так уходит поэт, разделившись на две ипостаси:
Тело тащится к пропасти, сидя на смертном одре,
И взлетает душа в небеса на бессмертном Пегасе.

2020

НА СМЕРТЬ ДРУГА-ПОЭТА

Памяти Вадима Ковды

Мой старый друг, еврей крещённый,
Бунтарь, никем не укрощённый,
Прибившись к тем, кто в большинстве,
Опасно заболел в Москве.

Он там, в России, чуть не помер
И переехал жить в Ганновер,
Где эскулапы той земли
Ему реально помогли.

В стихах о совести вещая,
В Москве супругу навещая,
Так он и жил на две страны
С благословения жены.

Духовно вознесясь высоко,
Он чтит безмерно сына-бога,
А на Отца привык пенять
И в Холокосте обвинять.

Был друг мой далеко не молод,
Страдал, изрезан и исколот,
И душу господу вручил.
Какому — я не различил...

Отпели русского поэта.
(Еврея? Промолчим про это.)
Но вместо честных похорон
Своей вдовой он был сожжён.

Мой старый друг, еврей отпетый,
Последней ласкою согретый
Немецкого истопника,
Поднялся дымом в облака.

Скорблю о друге-бунтаре я:
В Германии сожгли еврея...

2020

* * *

Александр Зорину

Бессмысленно идти судьбе наперекор.
Хоть в рясу облачись — в тебя летят камни.
Ждёт часа своего наточенный топор,
Чтоб череп раскроить очередного Меня.

Что Меня, что меня — врагам ведь всё равно.
Отец — Иван? Плевать, ведь имя мамы — Мирьям.
Давно пора, мой друг, нам осознать одно:
Мы с ними никогда не разойдёмся миром.

А коли так, тогда осталось нам с тобой
Идти своим путём, указанным когда-то,
Противникам своим навязывая бой,
И драться с ними до последнего солдата.

Кресту не заслонить Давидову звезду.
Евреев не спасёт искусство гримировки.
На счастье это нам, а то и на беду, —
Мы — Вечные Жиды и Вечные Жидовки.

2020

ПРОСТИТЕ

Памяти Миши Шнейдера

Слетают один за другим с нашей общей орбиты друзья —
Продолжить кружение душ на загадочной новой орбите.
И я им вослед на последних витках своего бытия
Шепчу, безутешный:
— Прощайте, друзья, и простите.

Простите за то, что цепляюсь за жизнь и дышу,
Хотя и с трудом, кислородным запасшись баллоном.
Простите, родные, за то, что вот эти я строки пишу,
Компьютер включив и чаёк попивая с лимоном.

Простите за счастье внучат малолетних ласкать,
С которыми тоже я скоро, как все мы, расстанусь навеки.
За муку, с которой я должен за дряблую шкуру таскать
Обрюзгшее тело своё от врача до аптеки.

Смотрю вам вослед, о судьбе нашей общей грущу
И с теми из нас, кто остался, продолжу общенье.

Простите меня. Я оставшихся тоже однажды прощу,
Когда на прощанье попросят меня о прощенье.

2020

ЛЮБОПЫТСТВО

Страсть как хочется страсти, но в старости — только страстишки:
Пьянки с друзьями, картишки да старые книжки.

В зеркало гляну — морщины мои безобразны.
Похоть иссякла. Давно безопасны соблазны.

И всё же душа молода, и над нею не властвует время,
Дряхлая плоть для неё — надоевшее бремя.

Рвётся в небо она и по звёздам далёким гадает:
Интересно ей, дурочке, что там её ожидает.

2020

АРБАТ

*Памяти роддома им. Грауэрмана,
где мне не посчастливилось родиться.*

Моя судьба московская
Со мной была неласкова:
Хоть я с Кречетниковского—
Рождён на Станиславского.

«Грауэрман» был рядышком,
Но он не удостоился
Принять у мамы чадушко
И этим не расстроился.

В роддоме историческом
Всегда рождались местные:
Плебеи и величества,
Известные, безвестные...

И все же все мы братскую
Увенчаны короною,
Хоть среди нас, арбатские,
И белая ворона я.

Мои грауэрмальчики,
Мои грауэрдевочки!
Целую ваши пальчики,
Арбатские вы деточки!

И юные, и старые,
Вы самые-пресамые,
Великие и малые —
Соседи и друзья мои!

Всегда меж нами — химия
И чистота доверия,
Но иерусалимец я
И иудей по вере я.

Две жизни мною пройдены.
Храню — не надо лишнего —
Арбат — дар прежней родины,
Израиль — дар Всевышнего.

2021

КНИГА ЖИЗНИ

Вся жизнь моя лежит передо мной
Толстой книгой, только без концовки.
...Малютка с загипсованной ногой...
...Мальчишка, обожатель газировки...

...Подросток, начинающий поэт...
...Похмельный работяга в телогрейке...
...Репатриант. Супруг, отец и дед...
...Стишата, юморески и статейки...

...В воспоминаньях честный реалист.
Последний в книге эпизод — про внука...
Перевернёт тот внук последний лист
И широко зевнёт:
— Какая скука!

2021

Суд

Я жил легко и промотал наследство,
Не веря, что когда-нибудь уйду.
И лишь сейчас я осознал, что с детства
Готовился к последнему Суду.

Грешил я, зная, что придёт расплата,
Творя добро, собой гордился я.
И вот теперь, потупясь виновато,
Стою на самой кромке бытия.

Я знаю: будет приговор суровым.
Печально дети смотрят мне вслед...
Вся жизнь моя была последним словом,
Растянутым на восемьдесят лет.

2022

ОБ АВТОРЕ

Борис Камянов (Барух Авни) — израильский поэт, переводчик, публицист. В СССР практически не печатался, переводил с языков народов СССР, был слесарем, грузчиком, рабочим сцены и т.п.

С 1976 года живёт в Иерусалиме.

Автор восемнадцати книг, среди которых сборники стихотворений, юмористических произведений и др., воспоминания «Продолжение следует...», выпущенные в 2021 году бостонским издательством M-Graphics. Ему также принадлежит комментированный перевод «Песни песней» в соавторстве с р. Н.-З. Рапопортом (2000), а также первый перевод Пятикнижия на современный русский язык, который ещё ждёт своего издателя. Стихотворения и переводы опубликованы в российских антологиях «Строфы века» и «Строфы века-2».

Основатель Содружества русскоязычных писателей Израиля, издающего литературный альманах-ежегодник «Огни столицы». Лауреат четырёх израильских литературных премий.

Валерий СКОБЛО
СТИХИ

СТИХИ О ЧУЖОМ ВРЕМЕНИ

«А сила прежняя в соблазне...»

Б. Пастернак

Самое время — воспеть стабильность,
Вертикаль власти и всё такое,
Изобразить на лице умильность...
...Горячий лоб потрогать рукою.

Здесь что-то не то, мы не так шутим,
Пора себя ущипнуть до боли.
Дело в какой-то глубинной сути,
А пустяки не играют роли.

Какая разница, что за лица,
В иерархии этой — какие рожи?
Когда под любого готовы стелиться.
ЖЭК ли, НИИ — и повсюду то же.

Всё, что возможно, мы проиграли,
Впору сначала... но нет интереса.
Свечи погашены, пусто в зале...
Чужое время, не наша пьеса.

* * *

За столом не читаю стихов.
Западло. Разве это не ясно?
Плёнкой жира покроется плов,
И остынут и прочие яства.

Водка станет, напротив, тепла...
Или нравится тёплая водка?
Не поэзия вас привлекла —
Скажем прямо... спокойно и кротко.

За столом также я не пою,
Никогда на столе не танцую.
Вашу честь берегу и свою —
Не поддамся на просьбу такую.

Что стихи? Это тлен... мишура,
Вот салат — это дело другое.
Лучше выпьем ещё раз. Пора!
Ну, а вирши оставим в покое.

Пейте, кушайте... ломится стол,
Он хорош — места нет лицемерью.
Я один нынче в гости пришёл,
А все Музы остались за дверью.

Что за странная мысль — не пойму.
А когда-нибудь... Это конечно...
В час застолья служенье ему
Аполлон запретил мне навечно.

* * *

Жизнь не проходит мимо:
Чего уж не скажешь — так нет!
Так же невыносима,
Как бьющий прожекторный свет.

Прямо в глаза, по нервам,
Под лай оцепленья: Стоять!
Это навечно, наверно...
Будильник зашёлся опять

В истерике. Тем и дорог:
Не опоздал ни на миг...
А в выходные в 5.40
Сам просыпаюсь — привык.

Эта устойчивость бреда
И шаткость нашего мира
вязаны... Но победа
Как раз в разрушении мифа.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ (ИЗ ЦИКЛА «ОБЪЯВЛЕНИЯ»)

Меняю квартиру в кирпичной «хрущёвке»:
Жилой — 42 и два метра в кладовке,
Три комнаты, светлые... тамбур, балкон,
Санузел с ванной не совмещён,
Четвёртый без лифта в пятиэтажке.
Приватизация... все бумажки.
Кухня — 8, большой коридор,
Оставляю и мебель — о чём разговор?

Нужно укромное место на свете —
Не в этой стране, не на этой планете,
И лучше вне Солнечной даже системы.
С пропиской, я знаю, возможны проблемы.
И даже — пусть холодок по коже —
Согласен в другой Галактике тоже.
Я сильно придирчив, поверьте, не буду,
Но только... но только — подальше отсюда.

И повторяю устало я миру:
Меняю квартиру... меняю квартиру...

ИЗ ЦИКЛА «ШУТКИ ТАКИЕ»

* * *

Я, наверно, не выдержу пыток...
Нет, не выдержу наверняка.
Сдам всех сразу — себе же в убыток.
(В этом я не проверен... пока.)

Эти иглы под ногти — да что вы!? —
И живу-то я, дрожь затая.
К этим штукам, увы, не готовы
Люди склада такого, как я.

Так что, если, не дай Бог, подсяду,
На меня безнадежен настрой:
Расколюсь я за страх, не награду.
Что сказать? — ну, совсем не герой.

Покажи мне пустую бутылку,
Задрожу как осиновый лист.
Но признался заранее пылко —
В этом смысле, пожалуй, я чист.

От меня все секреты храните,
Всю подспудную суть бытия,
Все подпольные тайны и нити —
Я прошу... умоляю, друзья.

* * *

Приятель пропал:
сошёл не на той остановке,
Забрёл не в тот магазин,
купил он не те обновки,
Уткнулся не в ту заметку
вовсе не в той газете,
Нажал не на ту кнопочку,
оправившись в туалете,
На службе не ту бумагу
отправил не в нужное место,
Сказал: «вот моя девушка»,
а это чужая невеста,
(Да она, если честно,
и не девушка даже...)
Кто скажет, приятель он мне
или подозреваемый в краже?

* * *

Как-то сомнительно то, что добро посильнее, чем зло.
Если задуматься, истины в этом так мало.
Мне в этом смысле по жизни на редкость везло:
Просто большое и сильное зло мною пренебрегало.

Ну, а со слабеньким злишком и справиться — малая честь,
Трудно ему уловить тебя в утлые сети.
Если подумать — своё утешение есть:
Сильное зло не встречается очень уж часто на свете.

Лихо не стоит будить. Ты уверен, что справишься с ним?
Ведь и добра не избыток вокруг — это точно.
Слабой надежда бывает, растает как дым.
Впрочем, добро и обманет — то это совсем не нарочно.

Просто не понял пророчество... или же понял не так.
Зря понадеялся... было добро не готово.
Зло безотказно — понять это может простак...
Как же обманчиво слово... обычное, в сущности, слово.

ОБ АВТОРЕ

Валерий Скобло — поэт, прозаик, публицист. Стихи, проза, публицистика публиковались в российской и зарубежной литературной периодике, в том числе в журнале «Времена».

Лауреат премии им. Анны Ахматовой (М., 2012), финалист международных конкурсов стихотворного перевода «С севера на восток» (Хельсинки, 2013 и 2016), дипломант литературной премии им. А. А. Ахматовой (СПб, 2015), 4-е место читательского рейтинга Журнального Зала за 2019 г., лауреат международной премии им. Э. Хемингуэя (Торонто, 2020).

Живёт в Санкт-Петербурге.

Владимир БАТШЕВ

ПИСЬМО В БИНГЕН НА РЕЙНЕ

РАССКАЗ

Странное письмо получил Мышлаевский в среду.
«Уважаемый Виктор Николаевич,
(он улыбнулся — Николаевич — резануло глаз, давно к нему не обращались по имени-отчеству, сразу видно, автор — из России),
обращаюсь к Вам со странной на первый взгляд просьбой.

Может, Вы помните, как несколько месяцев назад мы разговорились, и я сообщила вам, что, по всей видимости, больна, и больна серьёзно. Внешне это ни в чём не выражается, но я чувствовала какой-то неполадок в собственном организме. Врач подтвердил самые печальные опасения. Мне осталось жить всего два года. Как человек здравомыслящий и верящий в Бога, я спокойно отнеслась к этой новости. Оглядев себя и свою жизнь, поняла, что за 38 лет не оставила на белом свете ничего, на чём можно остановить внимание и даже взгляд. Но что-то оставить я должна. Поэтому я прошу Вас сделать мне ребёнка.

Мышлаевский поморщился от пошлой советской фразы, но сообразил, что она имеет к нему непосредственное отношение, и почувствовал, что брови поползли вверх. Он сразу же хотел посмотреть на подпись, чтобы определить шутника-автора, но взял в себя в руки и стал читать дальше.

Я приеду к Вам на три дня в пятницу и уеду вечерним поездом в воскресенье. Прошу Вас быть трезвым и выполнить мою просьбу.

С уважением...

Мышлаевский машинально отложил письмо и вспомнил Дунаеву.

Много лет назад он оказал германскому правительству некую услугу. Правительство страны оценило её и назначило Мышлаевско-

му пенсию, которой хватало ровно на то, чтобы не чувствовать себя ущербным.

Он жил в небольшом городке Бингене на Рейне, куда перебрался из шумного и многолюдного (на его взгляд) Висбадена. Два раза в год ездил на трехнедельные курсы русского языка, где читал лекции о русской иконе.

Дунаева, невысокая, крепкая, сероглазая, приезжала из Баварии, где подрабатывала в русской воскресной школе, Она появилась на летних курсах в позапрошлом году — читала литературу Русского Зарубежья, ровная со всеми, перебрасывалась ничего не значащими фразами, Мышлаевский не обращал на неё внимания — мало ли коллег вокруг, пока на какой-то преподавательской пирушке по поводу окончания летнего семестра они не выпили лишнего, он танцевал с Дунаевой, а потом непонятно каким образом оба оказались в постели. Он ушёл под утро, а днём преподаватели простились друг с другом до следующего года, и в лице Дунаевой ничего не дрогнуло.

Не баба, а камень, подумал он, железная. Хотя, почему она должна что-то показывать? Может, и не помнит, кто с ней был ночью.

Этим летом Дунаева снова приехала на курсы русского языка, но Мышлаевского словно не замечала, и он решил, что случайная связь не зацепилась в её памяти ничем, а может, я плохой мужик, неожиданно кольнуло сердце, обидел женщину, со мной всегда так — выпью лишнего, плохо веду себя в постели.

В день окончания, однако, Дунаева подошла к нему.

Она просила помочь с книгами — национальная библиотека не прислала заказанные, а у Мышлаевского на столе она видела «Тёмные аллеи» (первое издание) с её штампом, значит, он получает оттуда книги, не мог как-то помочь, может, ходатайствовать?

— Я больна, — пояснила она, — не могу ездить за тридевять земель. Он не поверил.

— Вы прекрасно выглядите, — даже отступил, чтобы лучше рассмотреть её.

Она не улыбнулась.

— Нет, врачи говорят, что больна. Поможете?

Он пожал плечами — просьба ничего не стоила и ни к чему не обязывала.

— Попробую.

И вот теперь странное письмо. И странное, нет, дикое какое-то предложение, деловой тон, будто речь идёт о...о...о чём? И почему обращение ко мне? Только из-за того, что в позапрошлом году...чёрт побери всех женщин с их прихотями и чудачествами!

Мышлаевский жил один — сын, которого удалось перетащить в Германию, обитал на другой стороне Рейна, в Рюдесхайме, а бывшая жена прекрасно себя чувствовала в путинской Москве. Она и в андроповской Москве себя хорошо чувствовала.

Однако, сомнения сомнениями, но он приготовился к приезду ползнакомой Дунаевой — пропылесосил свои четыре комнаты и кухню. Постелил свежее бельё. Собрал и выбросил пустые бутылки и банки. Подстриг лужайку перед домом, хотя делал это неделю назад.

В день её приезда приготовил пирог со шпинатом, яйцами и зелёным луком. Он часто готовил. Не всё же время разогревать в микроволновой печи полуфабрикаты?

Он встретил Дунаеву на платформе, пожал руку и отнял, несмотря на сопротивление, небольшой чемодан на колёсиках со множеством молний на корпусе.

— Вот, — входя в калитку вслед за гостьей, сказал Мышлаевский, — мои владения — полдома, два этажа и трава.

Он поставил чемодан на крыльцо.

Дунаева оглядывалась, потом села в шезлонг и вытянула ноги.

— Хорошо, — сказала она. — Вы часто стрижёте лужайку?

Мышлаевский пожал плечами, потом сознался, глядя на её ноги:

— Иногда. Когда делать нечего.

Ноги у неё были хорошие. Именно такие ноги нравились Мышлаевскому.

Серое небо не внушало опасений, но не внушало и доверия, потому хозяин всё-таки предложил гостье зайти под крышу — вы же знаете немецкие дожди, могут начаться в любой момент.

— Долго ехали?

— Почти пять часов.

— Долго, — сокрушился он.

— Зато дёшево, — парировала она.

— Скучно, наверно?

— Нет, — отрицательно помотала головой, — у меня лэп-топ, — она кивнула на чемодан, — я кино смотрела и халтуру делала.

— Халтура? — удивился он.

— Да. Технический перевод, — было видно, что тема не нравится, и Мышлаевский замолчал.

Он включил искусственный камин, оттуда потянуло тёплым ветерком вентилятора, фальшивое пламя забило перед экраном, но всё равно уютно и тепло.

— Вам какой?

— Мне — капучино.

Они смотрели на реку, на проходящую баржу, уставленную во всю палубу жёлтыми контейнерами. Серая вода бурлила за кормой, сливалась с грязной водой Рейна, осень отражалась в реке холодом и концом года.

Мышлаевский сказал:

— Замечали, что в России вся жизнь проходит дома и на работе? Очень редко где-то в других местах. Может, на отдыхе. И в жизни, и в литературе. Это оттого, что нет культуры кафе. Немец обязательно раз в неделю — минимум! — идёт в свой гаштет или кнайпу, пьёт пиво с приятелями, комментирует футбол по телевизору, в субботу всем семейством отправляется в любимый итальянский или китайский ресторан. Француз вообще дня не может прожить без кафе. Здесь и кафе в соседнем доме, и то, в которое он забегает по пути на работу, и кафе на службе — выпить свой аперитив перед завтраком, и ресторан, куда он в двенадцать идёт обедать. И дело не в бедности или богатстве. А в традициях. У россиян нет традиции кафе. Да и кафе отсутствуют. Я имею в виду кафе для народа, а не для богатой публики. Как тут не вспомнить советские времена, хотя на любого вспоминателя найдётся десяток критиканов. И все будут правы.

— Нет, — женщина качнула головой и на лице ничего, только прошлое тенью, — я не могу себе позволить подобную роскошь — ходить в кафе. Я получаю пособие по безработице.

— Это сколько? — поинтересовался визави.

— Ровно столько, чтобы не умереть с голоду.

— Да? — он задумался.

Дунаева опередила невысказанное.

— Мне не надо денег, мне хватает, я подрабатываю в воскресной школе для русских детей.

Ноги, которые понравились, в постели оказались холодными, и она опередила вопрос:

— Я ледышка, а вы горячий.

— Как печка, — усмехнулся он.

— Как калорифер, — подтвердила она и потёрлась ступнями о его ноги. — Можно погреться?

— Нужно, — согласился он, обнимая её.

На его удивление у Дунаевой оказалась крепкая грудь, что было незаметно, когда в одежде.

— Никакого силикона, — улыбнулась она. — Хороша, а?

— Хороша! — согласился Мышлаевский.

Но в первую ночь ничего у них не получилось.

Дунаева с утра ходила с кругами под глазами и поджатыми губами. Нашла в ванной за стиральной машиной початую бутылку «Ветерана» и демонстративно поставила на обеденный стол в кухне.

— Я же просила, — только и сказала.

— Я водку пил, — невозмутимо парировал Мышлаевский, но застыдился. Испанский коньяк стоял в ванной давно, иногда, нежась в горячей воде, он прихлёбывал из горлышка.

Они позавтракали корнфлексом — она с молоком, он — с грейпфрутовым соком, выпили неизменный зелёный чай, он предложил погулять.

— Только вместе с вами, — скривила женщина губы.

Сумрачным утром пошли к реке.

Погода благоприятствовала.

Смотрели на Рейн со своего берега, на «мать-родину» на другом берегу, оба думали, что памятник единственной немецкой победе за 150 лет, наверно, в своё время выглядел чудовищным.

С чужого склона над Рейном поднимался туман. Виноградные ряды ровными рядами делили склон на клетки — куда ни посмотри.

Вершины деревьев как в измороси.

Осень.

Ноябрь.

Промозгло.

— Как в Питере, — сказал он и, видя непонимание, пояснил. — Такая погода там осенью.

— Вы питерский, Виктор Николаевич?

— Нет, московский.

— А я ленинградка. Коренная.

Он усмехнулся.

— С одним или двумя «н»?

Она усмехнулась краешками губ.

— И так, и этак.

Мышлаевский от ночного стыда чувствовал себя неудобно. Хотелось что-то делать. Может, бросать камешки в воду? Но отсюда никакой камешек до Рейна не добросишь.

— Коренник ведёт экипаж, заставляет бежать других лошадей. А что везёте вы?

Он не ждал ответа — так, риторическая фигура, не больше, остроумие провинциала. Она не ответила.

У него в горле встал ком, когда посмотрел на её тонкую шею, вылезающую из шарфа, сделал шаг в сторону и взглянул на неё сбоку. Он вспомнил, как смотрел на неё два года назад.

— Извините, — произнёс он и отвернулся, — я не буду пить.

Он кашлянул.

Она не ответила, только повела плечом, как не слышала. Или не расслышала.

— *Расслабься, расслабься, — просила она, — не думай ни о чём...*

— *Я хочу, чтобы тебе хорошо...*

— *Мне будет хорошо, только расслабься, я принимаю, а ты даёшь, милый, мне легче.*

Он почти не слышал её шёпота, потому что женщина была везде, в нём и вне его, и он прижал её к себе и вдруг вылился. Весь. Целиком. Жизнью.

Она застонала, и он ещё острее почувствовал её, пальцы оцупывали лопатки.

— *Спасибо, милый, — шепнула в ухо, и дыхание обдало щеку,*

Потом попросила:

— *Я повернусь на правый бок, а ты обними меня, поспим, пожалуйста, милый.*

Мышлаевский отдышался, повернулся к ней и стал целовать спину засыпающей.

Она что-то сказала, нашла его руку и положила себе на грудь.

— *Спи, — шепнула она.*

Он поцеловал её в шею, обнял, сжал в руке грудь, в пальцах оказался сосок, он стал ласкать его, грудь, но она прижала его руку и шеп-

нула, чтобы спал, что потом, утром, завтра, будем спать, милый, и он заснул.

А проснулся уже на левом боку, и женщина обнимала, мягко дыша в плечо. Как хорошо, подумал он, и она подтвердила:

— Хорошо.

И он спокойно заснул, а когда проснулся, она смотрела на него с удивлением и добром в глазах.

Утром он почувствовал, что она проснулась, и спросил её спину.

— Дунаева, как вас зовут?

Она тихо засмеялась.

Он не понял.

— Есть такой анекдот. Долго рассказывать. Одним словом, мужчина проводит с женщиной несколько ночей, а та молчит. Наконец он спрашивает: «Мадам, мы с вами уже целую неделю в постели, а я не знаю, как вас зовут». Та отвечает: «А кто вам сказал, что физическая близость повод для знакомства?».

Он повернул её к себе.

— А всё-таки.

— Елизавета.

— А по батюшке?

— Афанасьевна.

Он набрал воздуха.

— Вы приехали на три дня, значит, сегодня второй...

— Нет, — голос её изменился, — уже третий.

— Елизавета Афанасьевна, — голос изменился на этот раз у него, в горле стоял комок, но Мышлаевский справился, — знаете... опыты в науке... один опыт, другой, третий... наука повторяет опыты, чтобы не случилось ошибок... нам тоже надо.

Она серьёзно посмотрела в нависшее над ней лицо.

— Да. Я уверена, что всё хорошо. Но согласна. Надо повторить. Но прошу... Прошу вас, Виктор Николаевич, не сейчас. Понимаю — комплекс. Но днём не могу. Не умею. Подождите ночи... Подождём, — поправилась она. — Я хочу встать.

Он отодвинулся, лёг на спину.

Перебрались на пароме на другую сторону реки и долго шли пешком вверх, к памятнику. Немецкая мать-родина оказалась женствен-

нее русской и даже симпатичней. Было заметно, что Вучетич много взял с памятника на берегу Рейна. Памятник в своё время был поставлен по указу кайзера Вильгельма Первого в память немцев, погибших в единственной войне, которую Германия выиграла у Франции в 1871 году.

Дунаева внимательно рассматривала памятник.

— Не кажется ли вам, Виктор Николаевич, что эта женщина тоже эмигрант?

— Ну?

— Я думаю, она эмигрировала с берегов Волги на берега Рейна.

— Опа, опа! — услышал Мышлаевский и, повернулся, узнавая голос.

Так и есть — к нему шла невестка с внуком.

Они чинно поздоровались.

— Это — мой друг Лизавета, — представил спутницу Мышлаевский.

— Очень хорошо, — кивнула невестка. — Я всегда говорила, что вам, герр Мышлаевский, надо завести подругу, — и обратилась с немецкой бесцеремонностью феминистки к Дунаевой. — Ну, разве мужчина может столько времени жить без женщины?

Мышлаевский испугался бестактности невестки, но Дунаева улыбнулась и согласно кивнула.

Он достал из кармана любимые внуком леденцы в коробке — на случай встречи он носил их с собой. Внук благодарно кивнул и сунул коробку в карман.

Когда родственники скрылись из глаз, она лукаво подмигнула спутнику:

— Действительно, как жить без женщин!

Теперь рассмеялся и Мышлаевский.

Сквозь поредевшую листву чётко проступал чертёж канатной дороги, остров с Мышиной башней, замерший среди реки, ленивая баржа, нагруженная контейнерами, что ползла к Висбадену.

И Бинген — на другом берегу.

Заморосило — неожиданно, как всегда осенью.

Виктор Николаевич открыл зонт, и Лиза взяла его под руку. Он чувствовал её тепло, ему тоже становилось тепло, он перебирал ночные минуты, и его вдруг пронзило.

Они шли по берегу, Лиза крепко держала ВН под руку, прячась от дождя под зонт, прижималась к его бедру и чувствовала его тепло, и ей хотелось прижаться её теснее, как ночью, но она боялась.

И он чувствовал её холодные ноги, хотел прижать к себе, но стеснялся двусмысленности положения, ситуации, вообще всего, что происходит.

Бред, чепуха, — хотелось повторять и замотать головой, а когда проморгаешься, то сон ушёл, и никого нет.

Но сон не уходил. Лиза держала под руку

— Лиза, — тихо произнёс он, стараясь не смотреть на неё. — Оставайся.

Она отрицательно замотала головой.

На реке закричал теплоход. Они остановились, и Дунаева отвернулась.

— Ну, что тебе делать в твоём Аугсбурге? А у меня — полдома, лужайка, Рейн, не уходи, Лиза.

Он наконец посмотрел на её ссутулившуюся спину, на кожаную кепку.

— Поздно, — выдохнула женщина. — Я никогда не была никому обузой. Простите меня. Не могу.

Боязнь потерять независимость, самостоятельность — на приобретение которых ушли годы — постоянно владели ей.

Она растерялась.

Хорошо спала. Птицы не разбудили, а — тишина.

Она жила на шумной улице Аугсбурга и привыкла к постоянному рокоту трамваев и автобусов. Говор продавцов в соседнем доме — овощная турецкая лавка.

Прошло несколько дней, Мышлаевский ругал себя, рука тянулась к телефону, и он набирал цифры — щёлкал по ним, а она не брала трубку, и ему опять и опять вспоминались, нет-нет, не так — ясно вставляли картины его юности, и он ругал себя, кричал, что не бывает повторений, что он не пацан с Бузулукской, а палец снова и снова отстукивал вошедшие в мозг и ставшие привычными цифры. А женщина не отвечала.

Он снова набрал номер, и снова она не взяла трубку. Снова ему представились картинки его прошлого.

Он и тогда звонил, а она не отвечала, он думал, что она скоро придёт, куда она может уйти надолго, скоро придёт, и они поехали втроём — одному как-то стыдно было ехать, он стеснялся один, что она подумает о нём, потому и пригласил приятеля-гитариста с подружкой, они как раз сидели у него в гостях, на другой конец города добираться больше часа — на метро, потом на троллейбусе...

За соседним столиком девушка закурила, и ему захотелось курить. Забытое желание пошло по пищеводу, защекотало в горле, он даже оглянулся в поисках сигаретного автомата. Но сразу же обуздал неизвестно откуда появившуюся прихоть — мало ли девушек курит, чтобы казаться взрослыми и независимыми! — Лиза не курит, правда, она давно не девушка. Но всё-таки распускать себя по любому поводу не надо.

— Да что ты, милый, — сказала Лиза, и ему показалось, что в этот момент широко раскрывая глаза, и он не поверил ни единственному слову, — я поехала к подруге, у меня страшная холодряга, ты не представляешь, она сказала — приезжай, переночуй у меня, я поехала за сто вёрст киселя хлебать, на другом конце города, правда тепло, а когда вернулась, то нахожу твой месседж, ты, как обычно, приревновал, нельзя быть ревнивым, сам говорил, что ревность унижает человека...

И тут он мгновенно понял, что повторяется ситуация — когда они стояли в подъезде, и он сразу понял, что приедут они сейчас к ней в Нюрнберг, будет то же самое — ах, работа на завтрашний день.

Окна скрывались за шторами, в темноте да не в обиде, подумал Мышлаевский, кажется, настольная лампа светит. И он звонил в дверь, а в ответ — ничего.

Он выбежал на улицу, посмотрел, но огня не было — показалось, сказал приятель.

В окнах чернела темнота, и они грелись в подъезде у батареи, а потом ждать так просто надоело. А потом?

Я тогда позвонил...Нет, нет! Не я, он, он позвонил! Сбежал вниз и посмотрел на окна третьего этажа. Тебе показалось, сказал приятель-бард. Решили ждать. Ожидание тянулось. Пошли в магазин и купили бутылку. Когда вышли из магазина, вспомнили, что пить не из чего. Но рядом находилась аптека, и приобрели там банки. Такие банки ставят

на спину и грудь больному простудой или воспалением лёгких. Банки престыжны тем, что у них круглое дно, их нельзя поставить, а надо выпивать содержимое. Они выпили, стоя у тёплой батареи, травили известные анекдоты и неизвестные байки, потом вышли в мороз, в февраль, в холод, и бард сказал, что они ждут неизвестно чего, а троллейбусы ходят редко, и весёлая подружка приятеля заметила, что ей далеко до дома, и он проводил до остановки, и сели в троллейбус, и звали его, но он решил дождаться, и вернулся, и за шторой в окне мелькнул огонёк, он догадался, что пока ходил провожать, вернулась и палец упёрся в дверной звонок.

Раздался шорох и под дверь вылез сложенный листок бумаги. Он развернул его.

«Уходи. Нам здесь хорошо» было написано.

И вот теперь снова. Его обманывают.

Он пошёл на вокзал, удивляясь бессмысленности своих поступков (поступка). Взял билет до Аугсбурга и через два с половиной часа оказался в баварском городе. Здесь было холодно, как в Москве сорок лет назад. Город оказался незнакомым, он не знал маршрута, но из памяти выплыли слова об автобусе, и он обнаружил остановку и залез в первый же тёплый маршрут. Он снова угадал и внимательно глядел в пролетающие дома и улицы, улавливая буквы и дописывая названия.

Это — тогда. А сейчас он пошёл на вокзал, понимая бессмысленность своих поступков, купил прямой билет в Аугсбург, нет, не прямой, а с пересадкой, просто скорый поезд, ICE и через три с половиной часа оказался в Аугсбурге.

Он знал адрес, не знал как добираться, и по какому-то наитию, или вспомнил фразу из разговора, но увидел автобус с цифрой на лбу, и решил, что надо ехать на нём.

В пролетающих мимо улицах и домах виднелось чужое и непонятное, но он успокаивал себя, что такими они кажутся сейчас, а завтра, может, станут иными.

Он рассмотрел дверь в подъезд — она ничем не отличалась от других. Наверно, не спит, решил М. И нажал требовательный звонок.

Звонок расколол дом.

Это очень неприлично — поздно вечером раскалывать дом. Но он бы разрубил его топором — так хотелось её увидеть.

Но дом молчал.

Он ещё раз позвонил, слушая, как звонок отдаётся в глуши пустоты.

Он не отрывал пальца от звонка, но никто не откликнулся и не открыл дверь.

Он бросил свою сумку на ступени крыльца и решил, что никуда отсюда не уйдёт пока она не явится.

С собой была бутылка испанского коньяка, две пачки сигарет и жареная курица, которую он купил при пересадке. Думал, что он приедет с коньяком и курицей, и так хорошо посидят, потом лягут в постель...

Он вспомнил сон, как она стоит на коленях, облизывает губы, и сладостное ощущение этого сна. Когда он позднее встречал её на парти и журфиксах, то сразу смотрел на её губы, помня, что во сне эти губы принадлежали ему.

Однажды он случайно увидел её по телевизору — она что-то вещала в картинной галерее Нюрнберга. И он сразу рванулся к телефону, позвонил, поздравил с дебютом.

Она хохотнула в ответ:

— Ну, разве я звезда... как ты...

Это Ты разрушила все границы.

Через два дня сын и невестка уехали на курорт. Они любили Ибицу и каждый год ездили туда. Он уже пару лет как охладел к подобному времяпровождению. Дочь, в отличие от брата и матери, предпочитала отдыхать в Греции:

— Дёшево и бесшумно, — объясняла она. — Никаких курортников и туристов. Недавно она открыла для себя Хорватию.

Внуков они взяли с собой, и Мышлаевский обрадовался, что свободен.

И он приехал в тот самый дом, на пороге которого он сейчас сидел и купил первую пачку сигарет. Он представлял, что сейчас будет — она приедет поздно, не одна, с кавалером, который провожает её до дома.

Он вспомнил её квартиру. Как она рассказывала.

В комнате стояли стойки с вешалками, на которых висели платья, пальто, куртки, бельё. Ей нравилось ходить среди стоек, как в магазине, выбирая одежду на сегодняшний день. Она решила не покупать бельевой шкаф, сколько бы он ни стоил, а оставить стойки и ходить среди них. Так удобнее, уговаривала она себя. Правда, когда приезжали знакомые и она оставляла их ночевать, то отодвигала стойки к окну, а сама ложилась на кушетке. Кушетка была завалена вещами —

она бросала сюда те, что не понравились. Но в этот день убирала в корбку, что стояла рядом.

— Купи, наконец, шкаф, — уговаривали знакомые.

— Зачем? — искренне удивлялась теперь она, привыкшая к своим стойкам. — Мне так удобно.

И приводила пример с магазином одежды, где тоже нет никаких шкафов, а стоят стойки. Знакомые соглашались с доводами, пожимали плечами, дескать, у каждого свои причуды.

В бутылке оставалась ещё половина, от курицы были съедены только ножки, а сигарет в пачке оставалось много, когда на часах оказалась половина двенадцатого.

Ждать бессмысленно, понял он, она не придёт, она осталась там, где проводила вечер.

Что ж, почти всё повторяется, только бумажку мне под дверь не подсунули, как сорок лет назад.

Он вырвал страницу из записной книжки и написал, что дело не в том, что она его обманула, а в том, что он поверил в её обман. Не надо было верить, а надо было уйти сразу.

А он этого не сделал.

Теперь он шёл через ночь по трамвайной линии в сторону вокзала. Идти далеко, но другого пути он не знал. И ни одного такси.

Он шёл под тусклыми аугсбургскими небесами и благодарил Бога, что с неба не идёт ни дождь, ни снег. И вспоминал, как они стояли в подъезде. Очень давно. Он не мог вспомнить и даты, потому что забыл прошлую жизнь, потому не мог вспомнить название того бульвара, где тот дом. Хотя имя женщины вспомнил. Её звали Лиза.

Дома всё было не так.

Казалось, стены давят. Во дворе — холодно и мокро, а шезлонг, в котором сидела Дунаева (*Лиза* — поправил он себя) повалился ветром на бок.

Через год, в Рождество, снова в среду Мышлаевский получил письмо. Он сразу догадался от кого письмо и заморгал.

Дорогой Виктор Николаевич!

Когда я взяла ребёнка в руки, когда впервые дала ему грудь, то поняла — нет, я не умру, я никогда не умру, поскольку у меня есть такой за-

мечательный ребёнок. Я должна его вырастить и воспитать. Спасибо вам за помощь в его рождении.

С уважением...

Мышлаевский вздохнул, аккуратно положил листок на стол и заплакал.

Потом открыл форточку.

На реке закричал теплоход.

ОБ АВТОРЕ

Владимир Батиев — русский издатель, прозаик, поэт, сценарист, редактор. Бывший советский диссидент. Недавно отметил своё 75-летие.

В СССР был одним из организаторов и руководителей неформального литературного общества СМОГ. Арестован 21 апреля 1966 года и осуждён на пять лет «за тунеядство». Под давлением международного общественного мнения, в частности, издательства «Посев», освобождён в 1968 году по амнистии.

В феврале 1995 года вместе с женой эмигрировал в Германию. С апреля 1998 года — редактор ежемесячного журнала «Литературный европеец». С января 2004 года — редактор ежеквартального журнала «Мосты». Эти русские издания по праву считаются самыми известными в Европе.

Председатель Союза русских писателей в Германии.

Автор многих романов, поэтических сборников, публицистических книг. Удостоен нескольких престижных международных литературных премий. За эпопею «Власов» Батиеву присуждена международная литературная премия «Veritas» (Великобритания). В 2007 году стал первым обладателем новой премии им. М. Алдана, учреждённой Новым журналом (Нью-Йорк), за повесть «Хайнц Альвенхаузер». За книги «СМОГ: поколение с перебитыми ногами» и «Мой французский дядюшка» награждён Серебряной пулей издательства «Вольный стрелок».

Последним по времени выхода в свет является роман в двух частях Владимира Батиева «1948». Это — знаковое произведение. В нём время становится главным персонажем, а герои — символами опisanного времени. Книга получила высокую оценку прессы.

Александр МАТЛИН
ГАРНИТУР НЕСЧАСТНЫЙ

С Вовкой я дружил в те годы, когда мы были до неприличия молоды. Много десятков лет назад. И все эти десятки лет мы не виделись и ничего не знали друг о друге. Так что, Вовка был забытой тенью давно забытых лет. И я бы никогда о нём не вспомнил, если бы однажды ночью не зазвонил телефон.

На свете нет ничего более пугающего, чем телефонный звонок среди ночи. Я с ужасом вскочил с постели и бросился в гостиную, проклиная себя за то, что не оставил телефон на тумбочке рядом с кроватью. В темноте я ударился ногой о косяк, опрокинул два стула и, наконец, нащупал продолжавший звонить телефон.

— Hello, who is this? — задыхаясь, прохрипел я.

— Привет, — сказал голос по-русски. — Узнаёшь?

Голос был мне не знаком, но явно принадлежал человеку, который считал себя вправе говорить со мной фамильярно и на «ты».

— Извините, не узнаю. А вы знаете, который час?

— У нас одиннадцать утра — сказал мой абонент и почему-то рассмеялся.

В его голосе звучало снисходительное дружелюбие с избытком то ли глупости, то ли самодовольства. Я посмотрел на часы, которые равнодушно светились рядом с телефоном. Они показывали три часа ночи.

— Это я, Вовка, — продолжал наглый голос. — Что, всё ещё не узнал? Вовка Жмеринчук. Жмых. Помнишь такого? Мы в одной школе учились.

Из какого-то захолустного угла не совсем проснувшегося мозга проступило забытое имя — Вовка Жмеринчук по кличке Жмых.

— Ты — это который играл на трубе? — спросил я.

— Точно, играл, — обрадовался Вовка. — Но ты меня независимо от этого должен знать. Меня вся страна знает. Я ведь тот самый знаменитый режиссёр Жмеринчук. Знаешь фильм «Полдень будет в полночь»? Или «Шесть оргазмов Владимира Ильича»? Это всё я снимал.

Ни фамилия режиссёра, ни названия фильмов ничего мне не говорили. Последний советский фильм, который смутно помнился со студенческих времён, был «Карнавальная ночь». Я сказал:

— Я уже больше сорока лет живу в Америке. Как ты меня нашёл?

— Это проще простого, тебя все знают, — сказал знаменитый Жмых. — Но я звоню по делу. Тебе удобно сейчас говорить?

— Как тебе сказать... У меня три часа ночи.

— Отлично, — сказал Вовка. — Надолго не задержу. Дело вот какое. Я со своей съёмочной группой приезжаю в Нью-Йорк снимать фильм про Гарика.

— Кто такой Гарик?

— Гарнитур Несчастный, художник. Знаешь такого?

Это было всё равно, что спросить, знаю ли я, кто такой Пабло Пикассо. Гарнитур Несчастный был самым известным современным художником. Его картины и скульптуры продавались за сотни тысяч, а порой миллионы долларов. Статьи о нём и интервью с ним регулярно мелькали в прессе и на экранах телевизоров. Со всей страны приезжали люди, чтобы посмотреть на его знаменитую скульптуру под названием «Цивилизация». Эта немислимая по своим размерам мраморно-белая скульптура взгромоздилась над долиной Гудзона к северу от Нью-Йорка и была видна с расстояния в несколько миль. Она представляла какое-то безумное нагромождение мужчин в седых париках и космических скафандрах попеременно с музыкальными инструментами, экскаваторами, детородными органами, белыми медведями, вертолётами, висячими мостами и ещё Бог знает чем. Среди этого кошмара угадывались фигуры и головы исторических личностей вроде Авраама Линкольна, Чарли Чаплина, Зигмунда Фрейда, императора Веспасиана и Альберта Эйнштейна.

Я хорошо помнил историю Гарнитура Несчастливого, которого в прежние времена звали Гарик Блюмин. Много лет назад в Советском Союзе он был начинающим художником-абстракционистом, одним из многих полуголодных одержимых гениев, которые раздражали КГБ и мешали советским людям строить светлое будущее. Гарика должны были посадить, но ему повезло: он случайно познакомился



с американским журналистом, и в газете «Нью-Йорк Таймс» появилась статья о трагической судьбе непризнанного гения. Чтобы не раздувать скандал, российские власти Гарика не посадили, а тихо лишили советского гражданства и выслали из страны. Позже они не раз пожалели об этом, потому что в Америке Гарнитур Несчастный стал мировой знаменитостью. И вот теперь я узнал, что мой бывший друг Вовка Жмых будет снимать о нём документальный фильм.

— Понимаешь, — сказал Вовка, — у нас проблема. Нам дают денег на десять дней, но по каким-то там правилам выдать наличными не могут, а могут только перевести на счёт в нью-йоркском банке. Как ты догадываешься, никакого счёта в нью-йоркском банке у меня нет, а если бы он был, меня бы давно посадили. Ситуация безвыходная. Хорошо, что я вовремя вспомнил о тебе.

Я вздрогнул.

— А я тут при чём?

— Ты — единственный, кто нас может выручить. Если не возражаешь, нам переведут деньги на твой счёт в банке. А я их заберу, когда буду в Нью-Йорке. Ты не бойся, я лишнего не возьму. Ну, так что — согласен?

Должен признаться: у меня есть одна черта характера, которой я стыжусь и которая портит мне жизнь. Я не могу отказать, когда меня о чём-то просят. Не могу сказать «нет». Хорошо, что я не женщина.

— Ну, хорошо, — сказал я, вздохнув. — Запиши номер моего счёта...

...Вовка Жмых оказался дородным мужчиной с объёмистым брюхом и жидкой сединой, обрамлявшей лицо, черты которого действительно чем-то напоминали моего забытого друга детства. Мы обнялись, сдержанно похлопали друг друга по спинам, и Вовка сказал:

— Если ты не против, я возьму не все деньги сразу, а буду брать их по частям, каждый день. Нам так велели.

Я согласился. Банк был через дорогу от моего офиса, и мне не составляло труда встретиться там с Вовкой на несколько минут во время обеденного перерыва и взять для него нужную порцию наличных. В другое время мы не встречались. Вовка был занят с утра до ночи, истязая киносъёмкой великого Несчастливого, с которым он, как выяснилось, был близко знаком с молодости.

Наконец, у Вовки истекли дозволенные сроки отпущенные деньги. За время наших коротких встреч в банке мы с ним немного привыкли друг к другу и забрезжило чувство прежней дружбы. В последний день, накануне его возвращения в Москву, я пригласил Вовку пообедать в итальянском ресторане. Мы выпили и разговорились. Немного поколебавшись, я решил задать Вовке вопрос, который мучил меня со дня нашей первой встречи.

— Жмых, — сказал я, — как могло случиться, что тебя с целой группой так запросто выпустили за границу, и не только выпустили, но ещё дали денег в иностранной валюте? Как тебе разрешили общаться с эмигрантом, предателем родины и злостным клеветником Гардеробом Несчастливым? И не только общаться, но ещё и снимать его, используя свою священную киноаппаратуру? Может, я чего-то не понимаю в вашей сегодняшней России? Если не можешь ответить, не отвечай. Я не обижусь.

Вовка вздохнул и зачем-то оглянулся по сторонам.

— Только между нами, — сказал он. — Пообещай, что никому не расскажешь. Меня не просто выпустили, меня направили на задание. Дело в том, что наша власть не может спокойно смотреть, как этого Несчастливого весь мир прославляет словно мессию и увешивает лавровыми венками. Ладно, если бы он был какой-нибудь француз или аргентинец, но ведь он наш, родимый, русский! Мог бы



быть нашей славой и гордостью, а оно всё досталось врагу. И вот наше умное правительство поставило задачу: вернуть мерзавца на родину. Чтобы он, гад, продолжал сверкать величием и славой на весь мир, но с нашей стороны. Чтоб они там на Западе скрежетали зубами от зависти, что мы взрастили такого замечательного международного гения.

— Ну, хорошо, допустим. Хотя вы его не так уж сильно возвращали. Но зачем его для этого снимать?

— Не просто снимать, — пояснил Вовка. — Мне поручено сделать эпохальный фильм, который завоюет все мыслимые Оскары и ещё больше прославит великого Несчастливого. Этот фильм мы покажем Гарику, но пообещаем выпустить на экраны только при условии, что он согласится вернуться на родину. Понимаешь? Это особая операция, секретно разработанная где-то в самых верхах. Называется «Операция Пряник».

— А если он не согласится?

— Правильный вопрос. — Вовка захихикал. — Ты не думай, что у нас там в верхах одни дураки сидят. Они всё продумали. Фильм будет сделан в двух вариантах. То есть, видовой ряд может быть один и тот же, но дикторский текст под него будет подложен разный. Во втором варианте Гарнитур Несчастный будет показан как предатель вскормившей его родины, рвач, лжец и растлитель малолетних. Этот фильм мы ему тоже покажем. Чтобы знал, что его ждёт в случае отказа вернуться на родину.

Я восхитился прозорливостью российского правительства, и мы с Вовкой распрощались.

... Прошло несколько месяцев, и Вовка снова появился в Нью-Йорке, на этот раз один. Он привёз свой эпохальный фильм, чтобы показать великому Гарику. Вовка пробыл в Нью-Йорке всего три дня. Закончив свои дела, он позвонил, и мы встретились — теперь уже не в итальянском, а в мексиканском ресторане. Вовка выглядел усталым и подавленным. Говорил мало, на мои вопросы отвечал неохотно. Но после второй «Маргариты» немного ожил и разговорился.

— Плохо дело, — сказал он с горечью. — Мерзавец не хочет возвращаться на родину. Теперь из-за него мой замечательный фильм не выйдет на экраны. И я не получу Оскара или, хотя бы, нашу убогую Нику.

Далее Вовка поведал подробности. Он вдвоём с каким-то высокопоставленным чиновником из российского посольства, специально приехавшим в Нью-Йорк, нанесли визит Гардеробу Несчастному в его мастерской. Великий художник был не в духе, посетителей принял неохотно, но, тем не менее, согласился посмотреть фильм о себе, который и был ему показан с помощью высокотехнической французской аппаратуры, привезённой Вовкой из Москвы. Разрушая Вовкины сладостные ожидания, Гарнитур отреагировал на фильм без восторга, вернее, вообще никак не отреагировал. Это был первый удар под дых Вовкиному самолюбию.

Дальнейшее развитие событий ещё больше травмировало бедного Вовку. Важный российский чиновник стал вкрадчиво уговаривать Гарнитура вернуться в распростёртые объятия своей родины. Он красочно описывал обилие благ, которыми родина осыплет Несчастливого, включая мастерскую в центре Москвы, постоянно действующий музей его работ и торжественные чествования. Гарик слушал недолго, а потом перебил чиновника и сказал, что ни в какую родину он не поедет, а если уважаемому дипломату что-то непонятно, то он может поцеловать Гарика в задницу. Представляешь?

— Кошмар, — согласился я, дослушав Вовкин рассказ. — И он поцеловал?

— Дурак, — сказал Вовка. — Ты остришь, а у меня теперь карьера рушится.

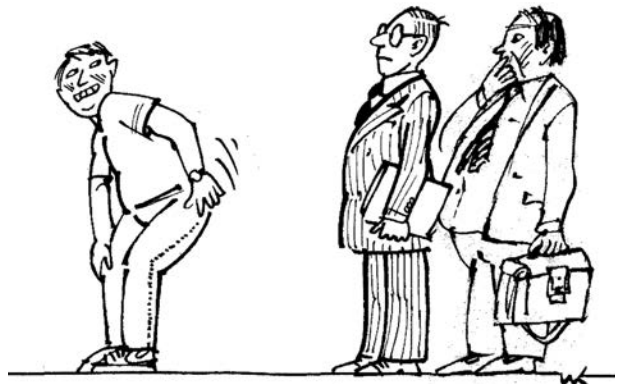
— В чём же ты виноват?

— Они считают, что я сделал недостаточно убедительный фильм.

— А как со вторым вариантом? Там, где Гарнитур Несчастный оказался предателем и растлителем?

— Его тоже не выпускают на экраны. Передумали. Они считают, что это не поможет, а только прибавит ему популярности. В общем, я влип. Теперь мне вообще не дадут снимать.

Тут он окончательно закручинился,



и мне пришлось заказать третью «Маргариту», чтобы его успокоить. Мне было искренне жаль бедного Вовку.

— Жмых, — сказал я, обняв его за плечи. — Не горюй, Жмых. Я постараюсь тебе помочь. У меня есть идея.

Вовка улетел в Москву, а я сел за компьютер и сочинил такое письмо:

«Я считаю, что пора обратить внимание на деятельность художника и скульптора Гарнитура Несчастливого, чьи произведения пронизаны расизмом, сексизмом и белым супремасизмом. Чего стоит одна «Цивилизация», которая своим цветом и содержанием прославляет превосходство белой расы и так называемой белой цивилизации...»

Это письмо я под вымышленным именем разместил в сети, во всяких твиттерах и фейсбуках, а также послал в несколько прогрессивных газет и телеканалов. Прогрессивные газеты и телеканалы немедленно схватили брошенную им кость. Все, кто ещё вчера возносил Гарнитура Несчастливого до уровня божества и называл его символом эпохи, теперь обрушились на него со зловещими обвинениями в расизме и прочих сопутствующих злодеяниях. Развернулась хорошо оркестрованная травля несчастного Гарнитура. Самым свирепым атакам, конечно, подвергалась скульптура «Цивилизация». Я приближался к намеченной цели.

Через некоторое время Вовка по секрету переслал мне письмо, которое ему по секрету прислал Гарик. Письмо было по-английски; Вовка его прочесть не мог, а Гарик ничего не объяснил. Вовке нужна была моя помощь.

Письмо было от одной из известных, восхваляемых прогрессивной прессой общественных организаций, именующих себя борцами с расизмом и фашизмом. Оно было адресовано Гарнитуру Несчастному и вещало:

«Ваша позорная скульптура с позорным названием «Цивилизация» выражает расизм и белый супремасизм. Она должна быть немедленно снесена. К сожалению, из-за её веса и расположения, операция по сносу чрезвычайно затруднительна, требует специального оборудования и больших затрат. Вы должны оплатить стоимость этой операции, которая оценивается в три и шесть десятых миллиона долларов. Если мы получим эту сумму полностью в течение недели,

то мы согласны скульптуру не сносить, а только перекрасить. Если же не получим, то имейте в виду, что ваш адрес нам известен».

Я перевёл Вовке письмо на русский язык, но это не произвело на него никакого впечатления.

Прошло месяца три. Газеты и телеканалы постепенно забыли про Гарнитура Несчастливого и переключились на кого-то другого, то ли расиста, то ли растлителя. Я тоже стал забывать историю Гарнитура и своего невезучего друга Вовки. Но однажды, от скуки перебирая телеканалы, я наткнулся на российскую программу новостей и услышал:

— Сегодня в Москве открылась выставка выдающегося русского художника Гарнитура Несчастливого. Как вы знаете, Несчастный после тридцати лет проживания в Соединённых Штатах вернулся на родину. Скоро в Замоскворечье начнётся строительство музея Несчастливого, где на трёх этажах будет размещена постоянная экспозиция его живописи и скульптур. Сейчас у нас в гостях...

На экране появился Гарик Несчастный, и я ахнул. Как все американские телезрители, я привык видеть его одетым в линялую рубашку и рваные джинсы. Теперь он был в смокинге, с белым галстуком-бабочкой и сигарой в зубах.

— Гарнитур Моисеевич, — заворковала ведущая, — вы тридцать лет прожили в Америке, а теперь живёте на своей родине. Скажите честно, где лучше?

— Что за вопрос, — отвечал Несчастный. — Конечно, в Америке. Только её больше нет...

Распираемый от гордости за успех своей операции, я позвонил Вовке.

— Поздравляю, Жмых! — закричал я. — Вы победили! Твой друг вернулся!

— Иди ты сам знаешь куда, — отвечал Вовка со злостью. — Победили не мы, а вы. Ты вместе с нашим дорогим правительством.

— Жмых, но ведь теперь на экраны выйдет твоя замечательная картина про великого Гарнитура. Что тебе ещё нужно?

— Картину мою зарубили. Они говорят, что она никому не нужна, поскольку Несчастный и так переехал в Россию. Это мне передали по секрету; напрямую со мной никто не разговаривает. Я у них теперь персона нон-грата из-за того, что за границей встречался с эмигрантом, врагом и предателем.

— С каким предателем? Он же теперь великий художник и гордость родины.

— Ни черта ты не понимаешь! — ещё больше разозлился Вовка. — Когда я с ним встречался, он был врагом и предателем. И ты тоже эмигрант и предатель родины. И вообще, кто тебя просил влезать в это дело? А ещё друг называется...

Вовка плюнул в сердцах и бросил трубку. С тех пор мы больше никогда не разговаривали, и я больше ничего о нём не слышал.

На этом можно закончить историю о моём друге детства, невезучем Вовке. Что до великого Гарнитура, то о нём я вспомнил недавно, проезжая вдоль Гудзона по шоссе номер девять-дабл-ю. Я ездил по этой дороге и раньше, и всегда примерно в 10 милях к северу от моста Таппан-Зи взгляд издали натёкался на гигантскую, сверкающую белизной скульптуру «Цивилизация». В этот раз я её не увидел. Подъехав ближе, я разглядел скульптуру. Она стояла на том же месте, но сливалась с тёмным фоном леса. Она была чёрного цвета. Только Альберт Эйнштейн почему-то был выкрашен ярко-красным. То ли у красителей не хватило чёрной краски, то ли они думали, что это Мартин Лютер Кинг.

ОБ АВТОРЕ

Александр Матлин — инженер-строитель, специалист по морским сооружениям и портам. В этом качестве проработал более 30 лет в Америке, а до того ещё 15 лет в Москве, откуда уехал в 1974-м году.

Помимо инженерства, в СССР он занимался тем, что писал рассказы и фельетоны и печатал их, в основном, в журнале «Крокодил».

В последние годы он печатается в сетевых журналах, в еженедельнике «Панорама» (Лос-Анджелес) и других русскоязычных газетах и журналах Америки и Израиля.

Сравнительно недавно чикагское издательство Bagriy & Company выпустило сборник рассказов «Войти в реку времени».

Постоянный автор журнала «Времена».

Александр ЛИВЕНЦОВ

НЕТ — НОЛЬ, ДА — ЕДИНИЦА

— Я дождусь с этими нервами...на скорой увезут... — шептала Оля, комкая в пальцах чек из «Пятёрочки»; тот распадался на части.

Бабка впереди обернулась на шёпот, покачала головой и со словами: «Такая молодая, а сама с собой болтает» — вышла из автобуса под козырёк остановки. Там она долго щурилась на пасмурное небо, и, пока автобус стоял, Оля смотрела её сухонькое лицо и тише, точно ей запретили эти разговоры, бурчала:

— Сама с собой, значит... я дождусь... я не вывезу...

Какой ни был дурачок её бывший, а жалко, успела прикипеть. И расстались неловко, наговорили друг-другу. Слёзы высохли, потёкшую тушь Оля стёрла, но сердце рыдало, и дождь, который с утра собирался и всё ждал и ждал чего-то, был кстати; а через месяц повалит снег, город затопит грязь...глаза бы его не видели.

Телефон бесплатной психологической помощи Оля помнила, специально для того он весь был из семёрок и единиц. Девочки обсуждали между парами: звонить, не звонить? У одной накопело, но стеснялась, заставить себя не могла и в прошлую среду прямо в институт ей вызвали скорую — только очнулась после обморока, как её обступили два угрюмых немолодых врача; тяжёлый их чемоданчик бухнулся на пол и раскрылся, как кукольный дом. Не позвонила, думала. перетерпит; теперь таблетки, кабинеты, зачёты пересдавать и глаза прятать.

Автобус качнуло, на подъезде к конечной он опустел. Прикусив губу, Оля вспомнила своего бывшего, его курточку, кеды, толстые белые шнурки; вспомнила, как он сжал в первый раз её руку своей тёплой, худой, когда шли по набережной, кидая уткам сухарики; только вступил июнь...а слёзы-то близко, чуть поддаётся — рекой хлынут.

Выйдя на остановке, Оля побрела к дому, решила — придёт, позвонит ради галочки: семёрки и единички одна за другой. По пути зашла купить полусладкого.

Поставив бутылку на подоконник, Оля минуту смотрела на панельную высотку через двор, а потом в небо над ней: у солнца, и без того тусклого, сгустились комья облаков, сияющий кругляк ослеп в дымке. Батареи потрескивали, но совсем холодные, только вчера включили. Чтоб не тянуть, Оля села за кухонный стол и набрала заветный номер, из трубки под музыку заговорил невозмутимый женский голос:

— Вы позвонили в службу психологической помощи. Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов, прежде чем мы соединим вас со специалистом.

«И тут эта канитель» — Оля уронила голову на ладонь и подумала, что будь речь отпечатана, все эти «Вы» и «Вас» стояли бы с большой буквы.

— Если ваш пол женский — нажмите ноль, если мужской — единицу.

Ткнула ноль.

— Ваша ситуация связана со смертью близких, личной проблемой, финансовыми трудностями, со здоровьем или чем-то иным? Выберите от одного до пяти.

Оля вдавила двойку.

— Ссора? Измена? Кризис? Разрыв отношений? Другое? Выберите от одного до пяти.

Четвёрка.

— Оцените тяжесть своего психического состояния по десятибалльной шкале и выберите соответствующую кнопку.

Оля оценила размах своего бедствия в шесть баллов.

— Вы бросили или вас? Если вы — нажмите ноль, если вас — единицу.

Опередил он меня. Где такой вариант? — нехотя вжала ноль.

— Как долго вы встречались? Нажмите соответствующее количество лет или ноль, если меньше года.

— И три месяца тоже ноль?! Что вы за люди такие?.. — она вскочила, едва не повалив табурет, и вдавила единицу.

За окном по жестяному козырьку цокали лапками воробьи.

— Он дарил вам цветы? Нет — ноль, да — единица... Водил в кино? — допрашивала трубка. — Говорил ли он, что с вами скучно? Что вы плохо готовите?

Вспомнилось, как дома они заказывали суши и до хрипа спорили какие, на разнообразие денег не хватало.

— Он шутил на неприятные для вас темы? Высмеивал любимые фильмы? Ваших родственников? Выберите от одного до трёх.

Оля вдавила три кнопки разом, и трубка вежливо продолжила:

— Жалел ли он для вас денег?..

Какие там деньги...

— Критиковал ли он вашу внешность? Возможно, вы располнели. Нет — ноль, да — единица.

Подведя дрожащий палец к единице, Оля передумала, выбрала ноль и гордо закинула ногу на ногу, но не выдержала — засмеялась нервно, так что вспорхнули воробьи за окном. Покружив в воздухе под моросью дождя, они вернулись в свой угол и с тревогой устались на Олю.

— Ему не нравилось ваше лицо, форма груди, длина ног, причёска? Постарайтесь быть честной и выберите нужное.

Пальцы вжали двойку, телефон хрустнул.

— Она казалась ему слишком маленькой, большой, обвислой? Выберите от одного до трёх.

«Даже интересно, что будет дальше», — подивилась Оля и кинула в окно рукавицу, прогнав воробьёв насовсем; взмокнув, дрожащей рукой смахнула со стола крошки, ткнула единичку и уставилась в небо: стекло усеял бисер капель.

— Говорил ли он, что от вас плохо пахнет? Нет — ноль, да — единица.

— Ну, ребята, вы подготовились, — собравшись с духом, Оля выбрала единицу и постаралась загасить короткое воспоминание: приходящая его квартиры, полумрак, только сняли обувь, а тапочки надеть не успели.

— Вы стерпели это? — уточнила трубка.

Оля сжала губы и придавила дрожащим пальцем единичку.

— Он флиртовал с другими женщинами? Нет — ноль, да — единица.

Перед глазами ожила переписка, подсмотренная в его телефоне: поганые смайлики, благодарность за приятную прогулку.

— Вы стерпели это? Нет — ноль, да — единица.

— Просил ли он прощения?

— А толку, — Оля стянула мокрую кофту, давно не было так душно.

В бутылке вина искривился квадрат неба, рассечённый фрамугой. Батареи притихли, стесняясь поскрипывать, вода журчала в них еле-еле.

— Сравнивал ли он вас с другими женщинами? Нет — ноль, да — единица... Вы стерпели это?

Дикторша определённо любила свою работу — в каждом слове акцент, окраска; и эта музыка на фоне, заикленная, словно сошла с ума — хотелось выключить её, стереть из всех папок. Нажав очередную единичку, Оля сходила за штопором, но уронила, руки ходуном ходили, а поднимая, приложилась плечом о край стола; зло метнула штопор через всю кухню, села и принялась тереть вымокшие ладони о джинсы.

— Говорил ли он, что вы плохи в постели? Нет — ноль, да...

Сквозь первые робкие слёзы Оля покосилась на ноль, но махнула рукой и решила не врать.

— Он называл вас пассивной, зажатой, неаппетитной? Выберите от одного до трёх.

— Сложной он меня называл, сложной!

Крупные капли уже клали штриховку поперёк окна.

— Вы чувствуете себя униженной? Нет — ноль, да — единица.

— Теперь точно да! — глотая слёзы, проревела Оля и вообразила эту напомаженную тётку перед микрофоном во время записи вопросов. А может, как все, она свою работу терпит и читает по бумажке, прикидывая в уме, где свёклу для винегрета купить и огурчики подешевле.

— Он любил вас? Нет — ноль, да — единица.

За окном стоял ливень, один за другим падали раскаты грома. Белёная, размытая до оплывшей глыбы высотка слабо угадывалась, но где-то там в одном окне зажгли свет, жёлтое пятно проступало в стене дождя. С телефоном в руке Оля минуту сидела не шелохнувшись, вдыхая прохладу из форточки, надеясь, что на том конце провода её не дождутся... но был же июнь, была бережливая, сухарики, утки эти дурацкие — ненадолго, тот золотистый июнь проступил сквозь обиду, и словно живую, Оля тронула единичку.

И стены плакали, и потолок, и окна. Бутылка вина плавилась, стекая с подоконника и звонкими зелёными слезами, и красными полу-

сладкими. Рыдала батарея, рыдала вытяжка, стеклопакеты, шторы, облака.

— Дочка, ты тут? — в трубке ожили оттенки сочувствия. Голос смягчился, приблизился доверительно, музыка стихла, донёлся скрип кресла. — И оно тебе надо?

— А что нажать? — хлопая заплаканными глазами, проронила Оля.

ОБ АВТОРЕ

Александр Ливенцов родился в 1982 году в Москве, где живёт по сей день. Окончил Московский технический университет связи и информатики. Учился на программиста, однако на поздних курсах заинтересовался 3D-графикой, что и стало профессией.

Писать пробовал с детства, но всерьёз подступился к сочинительству на третьем десятке, отдавая предпочтение социальной прозе с элементами фантастики и гротеска. В 2018 году окончил курс CWG (мастерская Ольги Славниковой), а в декабре того же года в журнале «Октябрь» был опубликован первый рассказ.

Печатался в журнале «Юность» и других изданиях.

Ольга КУЧКИНА
ТАЙНОЕ ОКНО

СОБРАНИЕ АВТОГРАФОВ

*Автограф — тайное окно,
Где свет горит, когда темно.*

Юнна Мориц

Автограф — собственноручная роспись. В наиболее распространённом смысле слова — роспись, оставленная на книге, альбоме или фотографии.

Собрание автографов — собрание людей, оставивших их.

Поэт, *раненный пулею в нижнюю часть живота*, как сказано в официальном донесении о последней дуэли, обратив взор к своим книжным полкам с книгами на них, произнёс: прощайте, друзья.

Я смотрю на свои книжные полки и, пока жива, говорю: здравствуйте, друзья.

Перебирая те, что с дарственными надписями, я перебираю случившиеся встречи и снова и снова благодарю за них судьбу.

Разумеется, дарственная надпись — жанр с использованием преувеличенных эпитетов. Надо ли оговаривать шуточный характер многих? Никакой звериной серьёзности по этому поводу, прошу вас. Улыбнитесь, да и только. Как улыбаюсь я, вспоминая дарителей, что есть едва ли не единственная лечеба от пронзительного, честно определённого тем же отчаянным дуэлянтом: *и с отвержением читая жизнь мою...*

В конце концов, это — обращение к автографам — всего лишь инструмент, приём, повод, чтобы воскресить в памяти тех, кто в разной мере оставил след в жизни, *способ прострочить материю*.

Но зато, когда, строчка за строчкой, проходишь путь, остаётся удивиться, как так устроено, что на одну маленькую жизнь приходится столько прекрасных больших жизней.

ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ

«Олечке Кучкиной на память о работе от старика Пушкина Виктор Шкловский. 6 июня 1974 года».

Собрание сочинений в трёх томах. Издательство «Художественная литература». Москва. 1973.

В тот год я была особенно несчастна. Слезные железы вырабатывали влагу с упорством, достойным лучшего применения. Утопала в слезах. Только состоянием утопленницы можно объяснить тот факт, что привезла свои листочки и отдала читать Виктору Борисовичу. Он сидел на застеленной ковром постели, как обычно, облокотившись о трость, крепкой лепки почти квадратная голая голова с обширным лбом сияла в солнечном луче.

На листочках были стихи. Никогда не писала стихов и не умела. Он сказал: привезите, я посмотрю. Через несколько дней Серафима Густавовна позвонила: Виктор Борисович просит зайти.

Дом был не то что олицетворение истории литературы — он был сама история и сама литература. Виктор Борисович — человек-легенда. И легенда — Серафима Густавовна. С детских лет звенело: имя нежное Суок. Загадочная кукла с загадочным именем из сказки Олеша *Три толстяка*. И вдруг выясняется, что это фамилия Серафимы Густавовны. Одна из трёх сестёр Суок до Шкловского была замужем за Олешей. Шкловский отбил её у Олеша. Но, вернее сказать, она отбила Шкловского у его жены-художницы. Они влюблялись, страдали от измен и изменяли сами, блистали новыми идеями в поэзии и прозе, зачиная неслыханное, и стрелялись, опустошённые. Маяковский, Лиля и Ося Брик, Нарбут, Кручёных, Хлебников, Багрицкий, Тынянов, Катаев, Шкловский, действующие лица того жестокого и весёлого трагического века.

Никого не осталось. Один Шкловский. И почему-то он мною занимается, и я хожу к нему в гости с опрокинутой душой, и Серафима Густавовна угощает чаем, который пьётся из драгоценных фарфоровых чашек, и пирожками собственного изготовления. У него талант читать, у меня талант печь, объявляет она низким хриплым голосом, зажигая сигарету от сигареты. Я обожаю такие тембры голосов. Голос её мужа — выше. И своим высоким голосом он говорит мне: простите, что держал в руках вашу душу.

Всё им сказанное требует записывания или запоминания. Так никто не говорит. Так никто не думает. Работа его мозга, происходящая на ваших глазах, уникальна, и результирующая ошеломляет. Иногда он удаляется от предмета разговора настолько далеко, что делается страшно: он никогда не вернётся, так и улетит в горние выси. Он всегда возвращается. Он не теряет нити спустя десятки или даже сотни роскошных петель, которые вяжет, и вам открывается красота человеческого мышления. Он бродит по садам отечественной и мировой словесности, как у себя по квартире, даром что по квартире бродит с тростью из-за больных ног, и вслед за Толстым протирает диван, тот знаменитый диван, о котором, по слову Толстого, если не помнить, что протирал, значит не протирал вовсе, поскольку существует лишь то, что осталось в памяти, и пропадает, если кануло в бездну беспмятства. Память Шкловского содержит неисчислимое количество битов информации, а ассоциации не знают пределов. Володя, говорит он, тоже писал: оркестр чуждо смотрел, как выплакивалась скрипка без слов, без такта, и только где-то тарелка вылязгивала — что это, как это?

Володя — это Маяковский. Тоже — это смеет только Шкловский. Я безмолвна.

Через месяц наступает Новый год. Они зовут меня приехать отмечать к ним на дачу в Переделкино. Я благодарю и отказываюсь. Серафима Густавовна спрашивает, есть ли у меня другие планы, я отвечаю, что других нет, если б были, я, конечно, поменяла бы их. Она говорит: подождите, — и передаёт трубку Виктору Борисовичу. Он повторяет приглашение, я повторяю своё бормотание. Он кладёт трубку, а я в очередной раз заливаюсь слезами. Моя дочь с её маленькой дочкой и мужем отмечают у матери мужа, я одна, и нет ни единой души на свете, с кем я хотела бы и могла разделить своё одиночество.

Телефон звонит снова, и это снова Серафима Густавовна. Виктор Борисович ещё раз спрашивает, не передумали ли вы. Я не передумала. Разговор окончен. В телефоне короткие гудки, и я понимаю, что на этот раз я пропала. Я никому не нужна, если я не нужна себе.

В сказочных историях полагается триада. Три богатыря. Три сестрицы под окном. Три желания. Три испытания для героя. Телефон звонит в третий раз. Боже, до чего они настойчивы, мои великие проницательные старики, не понаслышке знающие, почём фунт лиха и взявшие на себя добровольный долг по спасению меня. Поздно, го-

ворю я, поздно, так и так до двенадцати не успеваю. Успеете, говорит Серафима Густавовна, имеется знакомый таксист Саша, он часто нас выручает, давайте ваш адрес, мы позвоним ему, он за вами заедет, одевайтесь.

У меня есть новое платье, красивое, бледно-сиреневое, с таинственным сверканием, я облачаюсь в него, бросаю туфли на шпильке в сумку и тупо гляжу на часы. Двадцать минут двенадцатого. Звонок в дверь. На пороге белокурый, с вьющимися волосами и голубыми глазами, вполне сошёл бы за ангела, кабы не вислый нос с грубо вырезанными ноздрями, портящий всю картину. С лица, однако, не воду пить. Я с сомнением качаю головой: не успеем. Обязательно успеем, с уверенностью бросает посланец небес.

Мы выходим на улицу, он, с повадками лорда, не торопясь, распахивает передо мной дверцу *Волги* с шашечками, я сажусь, он садится со своей стороны, и мы рвём с места.

Движение на удивление интенсивно. Наша *Волга* ловко проскальзывает между другими *Волгами* и *Москвичами*, уверовав в мастерство водителя, я внутренне как-то успокаиваюсь, знаете, как это бывает, когда в редкие минуты воз жизни везёт за вас кто-то другой, а не вы сами.

Идёт снег, дворники не успевают чистить лобовое стекло, свет от подфарников впереди идущих машин, расплываясь в снежной пелене, расчерчивает пространство красными огнями, встречный поток светится белыми. Там рубины, здесь бриллианты. Новогодние драгоценности. Я и не думала, что в этот час такое множество людей всё ещё беспокойно носится по дорогам, образуя армию неудачников — удачники давно у ёлки, за столом или возле стола, с белозубыми улыбками и блестящими глазами, готовые к приёму счастья.

Ближе к выезду из города машины стали пропадать. Загудел ветер, в свете дорожных фонарей завертелись снежные вихри, исполняя сумасшедшие танцы. Поднялась метель, чисто пушкинская. Скоро дорогу занесло, окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снега, небо слилось с землёю, Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу, лошадь ступала наудачу и поминутно то въезжала в сугроб, то проваливалась в яму, сани поминутно опрокидывались. Не лошадь, а машина везла нас, не Владимир — Александр вцепился в руль, я находилась в здравом уме и доброй памяти, в бороздках мозга крутился

текст, памятный с детства, слова шли на ум сами собой, моя игра и забава. Сжавшись в комок, затаилась, не испуганная, нет, чего мне было пугаться, жизнью в те мгновения я не дорожила, но как-то странно оцепеневшая, как будто со стороны наблюдая происходившее с нами. Встречная машина на секунду ослепила и пропала из глаз, у нашей, казалось, колёса разъезжались, как ноги у телёнка на льду, таксист Саша с трудом выправлял её ход. Опоздаем, только и спросила я. Ничуть, домчимся вовремя, почти безмятежно откликнулся он.

Между тем как раз мчатся-то нам и было заказано, если мы желали удержаться на колёсах. Мой ангел понял это раньше меня и сбавил скорость.

Теперь мы были одни на дороге. Одни во всём подлунном мире. Часы показывали без десяти. Я отпустила себя, впав в пустоту, как в дремоту.

Сквозь марево пустоты пробилось — Саша тормозит. Подумалось: или поломка, или кончился бензин. Машина встала. Я вопросительно глянула на водителя. Он глянул на меня. Вы знаете, что сейчас произойдёт, спросил он. Нет, сказала я. Новый год, сказал он. Полез в карман куртки и вынул яблоко. С хрустом разломив пополам, одну половинку протянул мне: чокнемся? И мы чокнулись двумя половинками зелёного яблока, и я до сих пор помню его как живое. С Новым годом, сказал он. С Новым годом, засмеялась я. В первый раз в новом году.

Никогда, ни до, ни после, я не встречала Новый год таким удивительным образом.

Мы опоздали. Мобильников тогда не было, мы не могли предупредить, что опаздываем. Мы вошли в дом к Шкловским в полпервого ночи, заснеженные, прозябшие, нас ждали, нас целовали, а мы рассказывали про пушкинскую метель, и Виктор Борисович одобрительно посмеивался в усы: всё правильно, пушкинское и должно было непременно случиться с вами, пушкинское или пастернаковское. И процитировал: я тоже какой-то, я сбился с дороги, не тот это город, и полночь не та. Две последние строки были у меня на слуху — я не знала, что это из пастернаковской Метели.

Между прочим, он и надпись на трехтомнике сделал по аналогии с пушкинским: старик Державин нас заметил. И день 6 июня неслучаен — Пушкинский день.

Меня посадили рядом с Наташей Пастернак, а в полдень следующего дня она зашла за мной и повела на дачу Бориса Леонидовича,

и я ходила по половицам, по которым ходил он, и сидела на стуле, на котором сидел он, и смотрела из окна, из которого смотрел он, и больше не была одинока. Меня поставили в ряд — не гениев, нет, в ряд людей, где бедствий на душу населения — каждую душу! — более чем недостаточно.

Шкловские поделились со мной таксистом Сашей, какое-то время он помогал мне, пока не пропал.

С Наташей, женой сына Бориса Леонидовича, мы подружились и дружили, пока жизнь не развела нас.

Когда в Доме кино праздновали 90-летие Шкловского, он попросил меня выступить, и я выступала.

Ему принадлежит предисловие к первой моей книжке:

Каждый новый шаг в литературе и искусстве — шаг вперёд, и в то же время он кажется началом какого-то падения. Человек, перемещая ощущение своего веса, как бы падает вперёд. Другая быстрая нога исправляет падение. Новое в искусстве начинается трудно, потому что это не только человек изменяется в своих движениях и поступках. Это меняются поступки мира. Старый мир уходит с подмостков. Я просматривал сжатые строки газетных отзывов и привыкал к новой фамилии: Кучкина... Эти заметки написаны не вдогонку. Они написаны навстречу.

Мы были дружны с Виктором Борисовичем до самой его кончины.

* * *

ВЕНИАМИН КАВЕРИН

«Дорогой Олечке Кучкиной — в знак двадцатилетней неразделённой симпатии — с нежностью. В. Каверин. 27/VI 87».

«Самое необходимое». «Советский писатель». Москва. 1987.

«Дорогой Олечке Кучкиной, старому другу, с не постаревшей любовью. В. Каверин. 25/VII 87».

«Летающий почерк». «Художественная литература». Москва. 1986.

Вениамин Александрович Каверин занимал один угол дачи в писательском посёлке в Коктебеле, мы с Наташей занимали другой.

Маленькая Наташа — повод, приём и условие знакомства. Немедленно по приезде за ней стали табуном ходить писательские дети. Она подбегала ко мне и спрашивала: ну почему они меня так любят? Я отвечала: потому что они тебя ещё не знают. Писатели и их дети учили её плавать, брали с собой на гору к легендарной могиле Волошина, приглашали на прогулку в Сердоликовую бухту. Наташа — робкий пловец и неустанный ходок, трижды неустанный, если мать не сопровождает дочь, и есть шанс насладиться полной свободой. При сдаче дочки на руки матери знакомство взрослых иногда перерастало в дружбу.

Наташа ещё не читала главной вещи соседа — романа *Два капитана*. Я читала. И одна мысль о том, что обыкновенный дачный сосед, чей облик напоминал облик древнего ящера, — знаменитый автор знаменитого романа, повергала в великое смущение.

Наташа ничем подобным не заморачивалась и потому, когда сосед пригласил к себе на чай, вместе с мамой, разумеется, благосклонно приняла приглашение.

Дневная жара спадала, лёгкий бриз шевелил занавески на окнах, мягкое тепло обволакивало, розы, цветущие в палисаднике, нежно пахли, дорога недлинная, с десятков шагов, Наташа, успев поцапаться со мной, привычно выдернула руку из моей привычной к её руке руки и пошла впереди, — весь Коктебель проходил в борьбе за независимость, в конце концов, пригласили её, меня только в качестве сопровождающего лица.

Ящер, расположившийся в плетёном кресле, с книгой в руках, увидев её, поднялся и широко улыбнулся: рад вас видеть. Я могла бы подумать, что он обращается к нам обеим, но он добавил: ну, знакомьте меня с вашей мамой, — и я поняла, что вы относилось к моей пигалице.

Нехитрый стол ждал нас накрытый, столовские конфеты, печенье, фрукты, ягоды, я стеснялась, Наташа интеллигентно, отставив мизинец (кто научил её этому!), дула на чай, наливая его из чашки в блюдо (а этому кто!). Я пыхтела — не вслух, конечно, а про себя, всевидящий ящер, положив свою конечность на мою, кротким взглядом укрощал мой норов.

Закоренелым интеллигентом был как раз он. Ему было шестьдесят шесть, и он казался мне старым и некрасивым.

Благородство просвечивало в каждом его слове и каждом движении.

Позднее в автобиографическом рассказе прочту:

Почему не пишу о своих врагах?.. О душевных заблуждениях, которые подчас заводили меня очень далеко? О подлецах, притворяющихся порядочными людьми, и о порядочных людях, которые оказываются подлецами?

Врождённая интеллигентность, с присущей интеллигентам рефлексией, мешала сводить счёты с кем бы то ни было таким образом. Притом, что быть сомневающимся интеллигентом ничуть не означало жить в стороне, уходить в тину тогда, как иные, лишённые сомнений, там прятались.

Он оказался едва ли не единственным из литературных стариков, кто отказался принимать участие в травле Пастернака. Он подписал письмо в защиту гонимых Даниэля и Синявского. Он подготовил речь, с какой должен был выступить на Четвёртом съезде писателей, — ознакомленные с речью начальники не дали ему слова. Когда в редакции *Нового мира* рассыпали набор восьми глав *Ракового корпуса* Солженицына, поскольку секретарь Союза писателей Федин запретил публикацию, Каверин написал своему давнему другу открытое письмо, публично объявляя о разрыве с ним, если тот не найдёт в себе силу и мужество, чтобы отказаться от своего решения.

Личное мужество Каверина проявилось в ленинградскую блокаду: он не прятался в убежище во время немецкой бомбёжки. Играл ли с судьбой или считал это ниже своего достоинства? Не знаю.

Он не хвастался, рассказывал о себе мало и вообще не заикливался на себе. По большей части о нём рассказывали другие — в писательской среде всё обо всех знают.

Но было яркое литературное высказывание, в котором жизненное кредо Каверина явилось с полной определённостью. Приключенческий роман *Два капитана*. Юношество всей страны зачитывалось им. Юношество всей страны было влюблено в романтического Саню Григорьева, ненавидело подлеца Николая Антоновича, презирало лживого хитрована Ромашку и сочувствовало чистой и гордой Кате Татариновой. Юношество всей страны повторяло последнюю строку стихотворения *Улисс*, принадлежащего английскому поэту викторианской эпохи Альфреду Теннисону, ставшую клятвой Сани Григорьева и Пети Сквородникова: бороться и искать, найти и не сдаваться.

Увлекательные коллизии волновали, добро и зло, чётко разведённые по разным квартирам, соревновались по-честному, и, когда, наконец, несмотря на преобладающие силы зла, добро побеждало, это была заслуженная победа, и ей рукоплескали.

Дружеское расположение к Наташе и ко мне, начавшееся с чаепития в Коктебеле, продолжилось чаепитиями в Переделкино.

Не сразу. Почти через два десятка лет.

А тогда — любовная лихорадка налетела как бешеная электричка. Я ушла из дома. Потом ушла в четырехмесячное океанское плаванье. Потом... потом был суп с котом. И очень-очень наваристый. Очухалась нескоро.

Каверин позвонил и позвал в Переделкино пить чай, когда я как кошка гуляла сама по себе. Я бы сказала, как драная кошка, но та, которая изо всех сил держит фасон.

Чай — сказочный напиток. Располагает, открывает, соединяет, ускоряет, замедляет, утешает и одухотворяет. Домоправительница ставила на стол варенье, печенье и сушки, которые нельзя было разжевать, но можно размочить в чае, мы гоняли беспрестанные чаи, разговаривая обо всём на свете, больше всего, о том, что писалось. Но не гостеприимным хозяином, что было бы умнее со стороны гостьи, а гостьей, что глупо, эгоистично — и естественно. Я — особа, битком набитая приключениями, любовными и натуральными, он — писатель, жадно набирающий впечатлений для письма, тем более жадно, что своих жизнь больше не предлагает, и лучше чужие, чем никаких. Я десять лет как член Союза писателей, две моих пьесы идут в московских театрах и за рубежом, я даже слетала в Америку на премьеру и пробую писать прозу, он предлагает что-нибудь прочесть, я читаю рассказ *Колонковая охота* и понимаю, что всё плохо. Прямыми словами он не говорит, но по тому, как подбирает слова косвенные, как особенно ласково, с оттенком сострадания, глядит на меня, я легко все считываю. Он заинтересованно спрашивает: ну для чего вам эта охота, вы что, бывали на севере, переживали её перипетии лично, помните, как пахнет снег, на котором распласталось тельце убитого колонка, как высоко стоит морозное солнце или, напротив, низко... ну и так далее.

Для чего мне эта охота? Да Бог её знает. Может, для философии, которую я пыталась вложить в сюжет, думаю я про себя, отлично со знавая, как скуден мой багаж и каким головным, в сущности, является

моё произведение. Было кое-какое, впрочем, второстепенное объяснение моего казуса. Меня занимал жанр пьесы на двоих, и Колонковая охота сначала была такой пьесой, в которой действовали девушка и старуха, но хотелось обратиться и к прозе, и в порядке эксперимента я переделала пьесу в рассказ. Эксперимент получился с отрицательным знаком. Очевидное вообще стало очевидным конкретно: королева пьесы — психология, королева рассказа — художественная подробность. А где было её взять, если не из головы?

С губ слетело чуковское: это бяка-закаляка кусачая, я сама из головы её выдумала. И как уже не раз со мной бывало, выслушав мягкую отповедь Каверина, я, вместо того, чтобы расстроиться, обрадовалась. Нет, конечно, была и расстроена тоже, но обрадована гораздо больше. Человек болел за меня, человек искренне желал мне добра, человек любил меня по-человечески, и это было ценнее всего.

Ни разу не покривив душой, Каверин давал мне понять, что ему не нравится то, что не нравилось. И хотя ему не нравилось почти всё, что я читала, это нисколько не мешало нашим дружеским отношениям. Платон мне друг, но истина дороже — это классическое выражение всё меньше значило в наших пенатах. Оно всегда оставалось значимым для Каверина — и именно врождённая интеллигентность была тому причиной. Урок литературы плавно перетекал в урок жизни.

Когда проза начнётся всерьёз, не Каверин будет манком, что поманит в эту сторону. Но я же не деловой человек, чтобы назначать себе встречи с целью, по расчёту, по делу. Случай был и остаётся ткачом, ткающим своё полотно. Благодарю его за то, что свёл с Кавериним.

Давнее наблюдение Каверина:

Двадцатый век внёс в нашу литературу беспрецедентное честолюбие и острую жажду славы, причём это, к сожалению, касается не только литературы. Каждый старается, чтобы о нём узнали все, а все стараются, чтобы о них узнал каждый, не замечая грустного сходства с Бобчинским, который, как известно, просил Хлестакова сказать всем там вельможам... да если так... придётся, то скажите и государю, что в таком-то городе живёт Пётр Иванович Бобчинский.

Честность заставила его прибавить:

Я тоже честолюбив, но никогда не ставил знака равенства между работой и надеждой на славу. Впрочем, это неправда...

Как старомодна эта деликатность. Как необходимо следовать ей в новомодной, противоречивой и грубой жизни. И как жаль, что нельзя поехать в Переделкино попить чаю с Кавериним и почитать ему свою прозу, в непреходящей надежде, что, быть может, кое-что ему всё-таки понравится.

* * *

ВАСИЛИЙ АКСЁНОВ

«Оле и Валерию сидя у них на кухне и не прекращая поисков. Ваш Аксёнов. 3 янв. 94»

«В поисках грустного беби». Liberty Publishing House. New-York. 1987.

Он был один в Москве.

Он был один такой в Москве.

Он был один такой в стране.

Он научил себя и нас писать свободно, не как правила велют, а как Бог на душу положит, надо только слушать и слышать Бога. Отсюда родился *новый сладостный стиль*.

Разумеется, раньше был Набоков. Но раньше Аксёнова у нас давно никого не было. Катаев, ровесник Набокова, а никак не Аксёнова, не считал для себя зазорным объявить, что раздражил его начинающий Аксёнов. Протянув главному редактору и издателю журнала *Юность* свой *звёздный билет* и приведя того в полный восторг, молодой автор продолжал поставлять по тому же адресу то *апельсины из Марокко*, то *затоваренную бочкотару*, а уволенный за него Катаев посмотрел-посмотрел на наглеца, да и вырыл свой *святой колодец*, посеял свою *траву забвенья* и надел *алмазный свой венец*, представ перед читающей публикой в совершенно новом качестве, благо, таланта хватило.

Тогда телящик ещё не делал звёзд. Звезды, так не называвшиеся, зажигались на нашем небосводе мимо ящика, сами собой. Народу они были известны, и откуда-то было известно, как они выглядят. Поэтому, когда при каком-то волнующем заходе в вольнодумную *Юность*, я увидела в проёме дверей фигуру, я сразу угадала, кто это.

В умопомрачительных джинсах, слегка помятых и потёртых, что добавляло умопомрачения, в джинсовой же рубашке, с непередаваемым выражением лица, украшенного какими-то французскими усами и голубыми, в цвет джинсов, глазами, в которых таилось нечто неспешно-замкнуто-небрежно-насмешливо-доброжелательно-любопытствующее, сказала бы я, не исчерпав и сотой доли шарма, выражавшегося в этих глазах.

Граф Монте-Кристо. Д'Артаньян. Овод. Григорий Александрович Печорин. Аксёнов. Ряд не содержит в себе ничего общего, кроме оглушительного впечатления, произведённого в разное время жизни на читающую девочку. Притом, что все — литературные герои, один он — живой, а девочка давно не девочка, а жена и мать, которой пора бы уж избавиться от наивного романтизма.

Потеряла дар речи. И после того, как нас представили друг другу, никогда не воспользовалась этим представлением и не попыталась продолжить какие бы то ни было отношения.

Но что это я! Какие-такие французские — усы, я имею в виду, — когда исключительно американское владело воображением плеяды чуваков и чувих, именовавших себя штатниками. *В поисках грустного беби* Аксёнов, как обычно, исповедальный, трогательно-простодушно свидетельствует, как позорно было явиться в рубашке, пусть и французской, на которой пуговицы пришиты не по-американски: не на четыре дырочки, а на две.

Они сверкали. Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Василий Аксёнов. Все они красавцы, все они поэты. Но сердце билось при виде одного только Аксёнова. Сейчас я знаю, как оно называется, это свойство, даренное Богом его обладателю. Тогда и слова такого не употреблялось. Я и сейчас его не употребляю. Пусть останется маленьким секретом.

Тем более непонятно, как я могла забыть прежнее знакомство, когда мы увиделись лет через пятнадцать. А я забыла начисто. Возможно, потому, что оно было в другой жизни.

Мы увиделись в лифте. Лифт был в Доме творчества. Дом творчества был в Пицунде. В лифте стояли: Белла с Борей, Вася без Майи, Юлиу Эдлис и мы. Я не знала, здороваться или нет с солифтиками. С одной стороны, их знала вся страна, и притворяться, что ты не знаешь, было как-то нелепо. С другой стороны, они нас не знали, никто

нас не знакомил, и лезть к ним с любезностями было как-то стремно. Возможно, то был род самозащиты или гордыни, дескать, нам так хорошо вдвоём, что никто другой нам не нужен. По факту так и было. Но если бы они позвали в свою компанию... Они не звали. В общем, мы им как-то так кивали, а они кивали нам. Майя ждала Васю на литфондовском пляже. Мы шли на отдалённый пляж, где редкие купальщики плавали безо всего. Белла с Борей, кажется, шли пить вино. Эдлис, как всегда, делал надменный вид, что идёт работать.

Вот повело!

Написала начальную фразу *он был один в Москве*, подразумевая, что тогда прилетел в Москву один, Майя оставалась дома, а дом у них после американского был французский. В Биаррице. То есть у них был и в Москве. В высотке на Котельниках. Но сначала Аксёнов был лишён советского гражданства и прилетал всего лишь на побывку в 1989 году, не имея советского паспорта, а просто его пригласил американский посол в Москве г-н Мэтлок. Через год гражданство вернули, и Аксёнов зажил на два дома: на Атлантическом побережье в Биаррице и в высотке на Котельниках.

Он пришёл к нам в гости в высотку на Восстания через три дня после празднования Нового года и через три месяца после расстрела Белого дома (как эта формула закрепилась в обиходе). Должно быть, на каком-то сборище мы, зная, что он один, позвали его к нам отметить Новый год, он один и мы одни. А он сказал типа: спасибо, но я уже зван, а вот прямо сразу в первые дни Нового года с удовольствием.

На столе, разумеется, стояла вкусная еда, оставшаяся от Нового года. Фаршированный карп, холодец, собственноручно квашенная капуста, собственноручно посоленные опята с дачного участка, собственноручно изготовленная слабосоленая сёмга, что-то ещё, словом, наше фирменное меню. И конечно, запотевшая водочка.

Муж Валерий помнит, как мы, проведя часа два за столом, потом пили кофе и ещё часа три беседовали. О чём мы могли так долго беседовать? Без сомнения, об этом расстреле прежде всего. На нашем этаже жила наша подруга, жена известного пианиста, и мы бегали к ней на балкон, откуда открывалась широкая панорама, куда попадали Белый дом, мост на Кутузовском проспекте и даже кусок Садового кольца, и лицезрели собственными глазами картинку, которую в то же самое время показывало Си-Эн-Эн, снимавшее этажом выше.

Собственными очами я лицезрела и больше. За несколько дней до того, как Белый дом почернел своей верхотурой, вокруг него по большому периметру дежурило оцепление из солдатиков, среди которых отчего-то преобладали хилые, тем не менее выход из дома и возвращение домой они нам затрудняли. Я пыталась дружески заговаривать с ними, видя в них каких-никаких защитников. Напрасно. Они молча отворачивались, храня присягу или что там они хранили. Тем временем окрест скапливались кучки, а затем и толпы крепких парней в чёрном, очень напоминавшие штурмовиков, каких нам показывали в кино. А потом на сооружённую наспех трибуну взгромоздились Макашов-Руцкой-Хасбулатов и, матерясь, проорали призывы идти на мэрию, Кремль, в Останкино, брать телевидение и власть, и чёрные толпы размолотили мэрию и устремились в сторону пустого Садового кольца, и все наши защитники, что милиция, что солдатики, разбежались. Я это видела, я была свидетель. И тогда стало по-настоящему страшно. Богатое воображение, не всегда поддающееся обузданию, рисовало, как уже нынешним вечером, 3 октября, штурмовики, прорвавшись на телевидение и в Кремль и захватив власть в стране, пойдут по квартирам по спискам, и ждать спасения неоткуда. То, что я в списках, не сомневалась. Едва ли не ежедневно я писала колонку в *Комсомолке* и еженедельно выступала по радио *Свобода*. То было наше время, время свободы, лучше времени больше не будет, чего я ещё не знала, ветер истории дул в наши неодинокие белые паруса. Новоявленные термидорианцы собирались совершить переворот и опять засунуть кляп нам в горло. Я не могла быть на их стороне. Я была на стороне Ельцина.

Я и сейчас думаю то же, что думала тогда. И, разумеется, говорила это Аксёнову. Как он смотрел на происходившие? Так же или иначе? В 1991-м он точно был на стороне Ельцина. Он говорил и писал, что в те дни Богородица накрыла Россию своим покровом. А в 1993-м?

Откуда эти вопросы?

Отчего я пишу *должно быть, точно, наверняка* вместо того, чтобы написать, как оно было реально?

Сбылось то, о чём в молодости я не позволяла себе и мечтать: мы оказались в одной компании, — а я это не запомнила. Трудно поверить, но это правда. Не нахожу иного объяснения, как то, что остальные события заслонили это. Опять была другая жизнь. Общественное сделалось сильнее личного. Общественное сделалось личным.

Счастье, что сохранилась книжка о грустном беби с автографом, и по нему, как археолог по артефакту, я могу с достаточной степенью вероятности восстановить бывшее.

По другому автографу мне не надо ничего восстанавливать, я помню всё отчётливо и остро.

Это было в конце 2007-го. Прошло ещё четырнадцать лет.

В тот вечер он подарил мне только что вышедший в ЭКСМО роман *Редкие земли* с восхитительной надписью: *Оле Кучкиной в числе редких земель. В. Аксёнов.*

В тот вечер он рассказывал мне о гибели 26-летнего внука Майи Ванечки (*ей внук, мне как сын*), о чём все слыхали, а я не слыхала. Статный, рослый, интересный, умница, Ванечка, то ли принимая наркотики, то ли следуя какому-то экзотическому вероучению, то ли выпал, то ли выбросился с седьмого этажа, после чего впал в кому и из неё уже не вышел. Потрясённая, спросила Васю: как ты перенёс это? Ужасно, ответил, ужасно, начался кошмар. По истечении времени он напишет рассказ *Ванечка*, в котором Майя задаёт ему вопрос: как же мы теперь будем жить? Он отвечает ей так, как может ответить только глубоко любящий женщину и разделяющий её боль человек: будем жить грустно.

В трагическую рифму, спустя пару недель, не прекращавший поисков грустного беби Аксёнов потеряет сознание за рулём, разобьёт машину и сам впадёт в кому, из которой уже не выйдет. Это будет не последняя, но тяжелейшая потеря для несчастной Майи.

В тот вечер я сказала ему, что его характер всегда казался мне счастливым и лёгким, и жизнь его, несмотря ни на что, — счастливой и лёгкой. Нет, она была очень тяжёлой, медленно проговорил он, и я физически ощутила эту тяжесть. Минута была такая, что я могла спрашивать о чём угодно. Я и спрашивала.

Финал разговора был следующим. В ответ на какую-то мою реплику он усмехнулся:

- Мы пожилые люди, надо умирать уже.
- Ты собираешься?
- Конечно.
- А как ты это делаешь?
- Думаю об этом.
- Ты боишься смерти?

— Я не знаю, что будет. Мне кажется, что-то должно произойти. Не может это так просто заканчиваться. Мы все дети Адама, куда он, туда и мы, ему грозит возвращение в рай, вот и мы вслед за ним.

На этом свете с ним произошло то, что произошло.

Что произойдёт на том — каждый из нас узнает по отдельности.

* * *

АНДРЕЙ БИТОВ

«Ольге Кучкиной от имени и по поручению Павла Петровича — 24 XI 2010. А. Битов. 100 лет, как нас нет».

«Человек в пейзаже». Издательство «Футурум БМ». Москва. 2003.

«Призрак автора. АБ. 24 XI. 2010».

«Пушкинский дом». Призрак романа». Издательство Ивана Лимбаха. Санкт-Петербург. 1999.

Никто таких посвящений на книжках не писал, это — оригинальное. *От имени Павла Петровича* — перетекая из автора в персонаж (впрочем, об авторе и персонаже чуть ниже). *Призрак автора* — рифмуя с подзаголовком *Призрак романа*.

Он вообще оригинален, со своей отдельной прозой, после Шнитке и Губайдулиной, Каретникова и Десятникова, после Шагала и Уорхолла, Татлина и Гауди, после и вместе с ними. Текучие, парадоксальные, дисгармоничные, уходящие, как уходит рыба, вильнув хвостом, в глубину, слово и мысль его классичны и авангардны одновременно.

Мы встречаемся раз в год обязательно. И необязательно — ещё несколько раз.

Обязательно — на отчетно-выборном собрании ПЕН-центра. Необязательно — на клубных вечеринках или где-то ещё.

Одно собрание проходило в Доме журналиста. Выбирали лучшую советскую военную прозу — у небогатого ПЕНа образовалась финансовая возможность издать книгу под своим грифом к юбилею Победы. Предлагался список из трёх десятков фамилий. Мы с мужем голосовали за Виктора Астафьева. Его книга *Прокляты и убиты* и победила.

На мероприятии Андрей Битов, бессменный президент Русского ПЕНа, поделился с ПЕН-овцами историей о том, как, хорошо употребив спиртного, они с Астафьевым задрались насчёт того, кто как пишет. Астафьев кричал, что Битов, с его усложнёнными языковыми и смысловыми конструкциями, выделяется, Битов отвечал, что так писать интересно, а типа того, что видишь корову и пишешь, что видел корову, — неинтересно. Так они орали друг на друга, со скрытой усмешкой докладывал Битов, и этот беспредметный спор только и мог происходить между любящими друг друга людьми в подпитии.

Я передаю речь Андрея приблизительно, потому что после тоже было подпитие, и точное высказывание провалилось в колодезь памяти. Помню только свою небогатую догадку, что реализм, подвластный автору *Царь-Рыбы*, равен интеллектуализму, подвластному автору *Пушкинского дома*, — ткань, составляющая литературу одного и другого, требует розного.

Подпитие, а вернее, питание, составляло проблему и тему Битова. Кто-то сказал о нём, что количество им написанного можно сравнить только с количеством им выпитого.

В поисках алкоголя и в поисках истины, поглощая по ходу дела содержимое нескольких, одна за другой, бутылок, где-то в вечерних и ночных развалинах заброшенного храма, бывшего музея и заповедника, ведут свои беседы два человека в пейзаже — Павел Петрович и тот, кого Битов называет я, то бишь автор. Смею думать, что это один человек, и даже скорее, Павел Петрович, нежели я. И тогда автограф Битова (*от имени и по поручению П.П.*) — и вовсе не бином Ньютона.

Разговор с самим собой о Творце и Творении, как с большой, так и с малой буквы, о том, что есть человек и что есть художник, что есть место человека в пейзаже, то бишь в природе, как сочетаются якобы однокорневые индивид и вид и даже как системность мира сопрягается с бессистемностью пьянства, и прочая и прочая, — всё лучше разбить на партии, как бывают партии в оркестре, тогда достигается высший симфонизм звучания. Сам пейзаж при этом выписан отменно и исключительно по делу.

Замечательно борется природа с культурным слоем! Эти мусорные цветы и травы, как пехота, отвоёвывают ей землю, чтобы восстановить свою культуру. Дикая природа не будет такой запущенной. Запу-

щена она лишь там, где что-то раньше было, пусть даже прекрасный парк. Одичавший и измельчавший малинник сбежал в овраг, и я за ним...

И далее:

Всё то же качество одичалости проявлялось во всём, особенно в зелёном листе. Лист не был зелен, хотя он уже не был и пылен. Он был такой жестяной и обесцвеченный, как лист искусственного венка на заброшенном кладбище. Но стоило, наконец, подняться, минуя проваленные ступени, чтобы так и оказаться: наверху кладбище и было с тем мусорным венком...

Добавленная строка автографа на форзаце книги, явившейся усилиями издательства *Футурум — 100 лет, как нас нет*, — странно выводила нас обоих, и писателя, и читателя, в будущее без нас, отчего холодные мурашки бежали по коже.

Это был первый и последний раз, когда я не получала книги в подарок, а выпросила. Я читала *Пушкинский дом* в журнальных отрывках раньше, *Человека в пейзаже* позже — дома на полках Битова не стояло. А хотелось, чтобы стояло. Можно бы пойти купить — а вот не пошла и не купила. Преодолевая неловкость, окликнула. Он спросил, что конкретно я хочу иметь. Я назвала. И на том, астафьевском, мероприятии названное получила.

Пушкинский дом написан лет за десять до *Человека в пейзаже*. Уже тогда эпиграфом Битов взял у Пушкина: А вот то будет, что и нас не будет.

Ясный факт нашего исчезновения — фундаментальная составляющая любой философии. Проза Битова — философская проза, кто бы думал иначе. Жизнь сознания — её содержание и точка отсчёта. Но разве только сознания?

Последние страницы сложного *Человека в пейзаже* неожиданно оборачиваются последней простотой.

...Где он? (Павел Петрович — О.К.). Надеюсь, что жив. А впрочем, уверен. Я же вот сижу... и даже... Чем восхитительна жизнь?! Тем, что она и впрямь — жизнь. Её — не представишь. И если кому-нибудь эти мои воспоминания могут показаться в чём-то неправдоподобными, то пусть и впрямь что-то в моей памяти стусуилось, а что-то выпало... Куда неправдоподобнее описанного выше просто вот это утро живой и вечной жизни, которое я пишу прямо с природы, утро, на будущее

существования которого у меня бы не хватило никакого воображения всего неделю назад... Мог ли я ещё месяц назад, опасаясь смертного своего часа, представить себе, что и он минует и что я не сплю, не пью, не ем мяса, не знаю женщин, — пишу вот, и рука не подымеется у меня перекреститься, как подымалась в неизбежном грехе?.. Мог ли бы я вообразить себя именно на этой вот кухне, которой раньше никогда не видел, на кухне, куда я удалился на ночь, чтобы не грохотал под моей машинкой гостеприимных хозяев гостеприимный дом и не будил хозяев, после многотрудных крестьянских трудов и очередных родственных похорон наконец уснувших?..

Я не знаю подробностей личной жизни Битова, и о чём конкретно тут речь, мне доподлинно неизвестно. Доходили слухи, что была опухоль, вырезали, — хотя, кажется, это случилось потом. Сильно выраженное чувство благодарности жизни за неё самое — на фоне напряжённой жизни ума — пробивало. Экзистенция уступала место инстинкту жизни. Особенно трогал живой тёплый жёлтый цыплёнок, который садился автору на правую ногу, греясь таким образом в холодной кухне, и сообщался документальный факт, что автор — ...кончает эту повесть 23 августа 1983 года с цыплёнком на правой ноге.

За шесть лет до *Человека в пейзаже* снималось кино по сценарию Битова *В четверг и больше никогда*. Одно из моих любимых. Сколько бы раз ни попадалось в телевизоре, всё бросаю и, не в силах оторваться, досматриваю до конца. Кажется, Битов этот фильм не очень любит, а я люблю. Любимый Анатолий Эфрос — режиссёр, актёры — любимые Олег Даль, Любовь Добржанская, Иннокентий Смоктуновский. Разлитая по всей картине печаль о преходящести жизни завораживает и не отпускает.

С картиной были сложности. Не то, что её по завершении положили на полку, — её просто запихнули в самый тёмный угол. Битов уже числился в неблагонадёжных. А когда объявился в компании создателей альманаха *Метрополь*, его и вовсе вычеркнули из списка живых литераторов, и семь лет его имя было под запретом. Пожар, как говорится, способствовал. *Пушкинский дом*, роман-призрак, распространялся в списках, печатался урывками, что только увеличивало притягательность текста и автора. Как всегда, советская власть делала биографию тому, кого желала сделать изгоем.

В *Четверге* и в *Человеке* одно и то же место обитания — заповедник. Верно, не всё, связанное с заповеданным, оказалось исчерпано в кино. Оставалось нечто, чреватое другим Битовым. Потребовался ещё шаг, от художественного к художественному же, но иному, шаг назад, шаг в сторону, шаг вглубь, шаг к синтезу, скажем так, *Четверга* и *Пушкинского дома*, — и он был сделан.

Прошло немало лет, многое произошло. То ли я ушёл из дома, то ли от меня ушла жена, но и не вернулась невеста... Да, сказано было... Но кто и кому всё это говорил? В истинности чего кто убеждал и кто убеждался? *Когда и где?*.. Кем мы проснулись — вот ещё вопрос. И кто проснулся? Странная эта ощупь самого себя — кто это? Вот я до сих пор... с моею даже мне иногда кажущейся пригодностью... другие же, будто сговорились, так в ней убеждены... меня приглашали, постеснялись, звали к себе... звали как своего, как такого же, как не хуже, как даже лучше... звали в люди, звали в народ, звали в народы, в семью... я старался, я подходил, я нравился... Когда это кончалось? В какую черту я упирался, каждый раз её не перейдя? Кто очертил меня этим магическим кругом?.. Я упирался в невидимую черту, за которой кончалось знакомство и начиналась жизнь: обыденность, нагрузка и разочарование. Я никому не был обязан каждый раз: не просил, сами позвали, не очень-то и хотелось, на себя посмотрите... И входил, улыбаясь и скромничая, в следующее чужое существование, как в своё...

Этот честный анализ, эта замечательная *ощупь самого себя*, и это так осторожно найденное и уместно поставленное словечко о себе же: *пригодность*, — не больше, но и не меньше, всё это явленное без перегородок, энергетически заряженное, прямое, исповедническое...

Давно взяла за правило: если что-то произвело впечатление — не молчи, не таись, не держи в себе, сними трубку и скажи. Талантливому человеку тоже нужна похвала. А может быть, именно талантливому похвала и нужна. Бездарный обходится похвальбой.

Разумеется, требуется диссертационный масштаб и диссертационный объём, чтобы хоть как-то очертить пространство Битова. И такие диссертации написаны. И всё же, и всё же.

Позвонила. Если коротко: из Битова не извлечь избитого.

О *Пушкинском доме* сказала только, что спустя сорок лет с очевидностью проступило то, что весь постсоветский экзистенциальный роман вышел из *Пушкинского дома*.

Он сказал: спасибо.

Мало?

Мне хватило.

Есть ведь ещё и интонация.

Андрей вёл мой вечер в ПЕНе, когда я представляла свой двухтомничек для семейного чтения — *Любимые лица России* — от Пушкина до Бродского. Андрей начал с привычной скрытой усмешкой: мол, тут годами трепещешь, собираешься с силами, готовясь как-то подступить к великому, а пока трепещешь, приходит вот такая Оля и, никого не спросясь, делает то, что делает.

Хвалил ли за смелость? Или корил за безбашенность?

Хотелось думать первое. Рефлексия отсылала ко второму.

* * *

НАТАЛЬЯ ШМЕЛЬКОВА

«Дорогой Ольге Кучкиной от всего сердца и с надеждой, что её не покоробят отдельные страницы этой книги»,

«Последние дни Венедикта Ерофеева». Издательство «Вагриус». Москва. 2002.

Апрельская запись 89-го в дневнике Наташи Шмельковой:

Сообщила, что сегодня вышли сразу две газеты, касающиеся его: *Комсомольская правда* со статьёй Ольги Кучкиной *Любить пересмешника* и *Московский комсомолец* с отрывками из *Вальпургиевой ночи* под названием *Катарсис...*

Это был культурный прорыв.

Венедикт Ерофеев, великий маргинал отечественной литературы, встреченный с восторгом на Западе и широко известный в узких кругах Отечества, зазвучал с родной сцены, пусть не большой, а малой, но вполне себе прославленной. Первый акт *Вальпургиевой ночи* показывал Студенческий театр МГУ на вечере в честь Венедикта Ерофеева.

Билеты рвали из рук, наша добрейшая крашеная блондинка Тамара Васильевна, администратор клуба МГУ, проводила в зал всех, кого могла, а там негде было яблоку упасть, преобладание иностранных корреспондентов, прослышавших о сенсации, бросалось в глаза.

Он сидел позади и немного правее, так что, поворачивая как бы невзначай голову, можно было увидеть его фирменную спутанную седую чёлку, полускрывавшую прекрасные голубые глаза, и запахнутый ворот белой рубашки — аппаратик, с помощью которого он говорил своим космическим голосом и который время от времени прикрывал рукой. Наташа потом рассказывала, что он и раньше, до аппарата, мягким, деликатным жестом придерживал запах воротника рубашки. Как будто предвидел.

Самое поразительное его предвидение — в финальных словах поэмы *Москва-Петушки*:

Они вонзили мне свое шило в самое горло...
Я не знал, что есть на свете такая боль.

Он сочинил это ровно за двадцать лет до того, как привелось мимолётно глянуть на него в полутьме зала клуба МГУ разок, а там и второй, и третий. У него был рак горла. Врачи, как могли, продлевали отпущенный срок. Но он был обречён и знал это. Больше того, он знал, когда умрёт.

В 90-м году меня не будет.

Он сказал это в 79-м.

Разыгрываемая пьеса была дико смешна и страшна одновременно. Сам Ерофеев определил её жанр как трагедию. Тема всеобъемлющего насилия над личностью вытекала как из личного опыта пребывания в Кашенко, так и опыта проживания в СССР. Когда Ерофеева уже не будет на свете, издатель Алексей Костянян любовно соберёт всё, Ерофеевым написанное, и выпустит в *Вагриусе* толстый том под ерофеевским названием *Мой очень жизненный путь*. Публикацию трагедии предварит строчка из неё:

Довольно, пациент. В дурдоме не умничают.

Венедикт Ерофеев — умничал. Да ещё наособицу. Что позволило определить его в этом мире как уникам.

Вечер окончился. Зал встал. Пока я хлопала вместе со всеми, собираясь с духом, чтобы подойти к нему, он ушёл, я не успела. Это

было первый и последний раз, что я его видела. Внимание, которое я делила между произведением и автором произведения, соединившись странным образом, произвело цельное впечатление. Попыталась передать его в маленькой заметке *Любить пересмешника*. Заголовок — парафраз названия популярного в те годы романа американки Харпер Ли *Убить пересмешника*. Насилие я предлагала заместить любовью.

Первым позвонил Вадим Тихонов. Второй — Наталья Шмелькова. Ближайшие Ерофееву люди. Тихонов позвонил, увидев меня на телеэкране в очередной программе *Время «Ч»* на НТВ. Шмелькова позвонила, увидев Тихонова в этой программе.

Звонок Тихонова поверг в недоумение: кто такой? С достоинством ответил: первенец Ерофеева. Не поняла. Спросил: посвящение *Москва-Петушки* помните? Не помнила. Посмотрела журнальчик *Трезвость и культура* с алкоголической поэмой. Действительно.

Вадиму Тихонову, моему любимому первенцу, посвящает автор эти трагические листы.

Он пришёл, в очочках на верёвочке, деликатно — почему-то напомнив жест Ерофеева, — прикрывая рукой не горло, а рот с гнилыми зубами, аккуратный, чистенький, но всё же следы вчерашнего перепоя заметны. Сказал, что пришёл, прочтя когда-то заметку *Любить пересмешника*.

Хотелось прояснить некоторые анкетные данные. Прояснились. Последнее место работы — дурдом, где служил электриком, но изгнан за пьянство.

Вот образчик нашего диалога.

— Что ж вы думаете, Ерофейчик абы кому посвятил свою бессмертную поэму? Он ценил меня за этот... за острый фламандский смысл.

— За галльский?

— Ну да. Резвость ума, игра воображения, ему это очень импонировало, он не любил мрачного гения и мрачного образа мыслей. Моцарт лёгкий, игривый, ему это нравилось.

— Вы считаете, в вас было что-то моцартианское?

— Ну да. Мы дышали, собственно говоря, одним воздухом мысли.

На вопрос о пьянстве получила развёрнутый ответ.

— Понимаете, пить или не пить — один вопрос. Существуют такие бездны и бездночки, вот туда надо обязательно упасть.

- Заглянуть или упасть?
- Нет, упасть, обязательно, перевернуться и смотреть вверх, из бездны всё-таки удобнее наблюдать.
- За звёздным небом?
- Нет, за Господом Богом. Из бездны ничего не мешает смотреть вокруг, это очень даже любопытное состояние, и вот, пожалуй, для этого и требуется питание. Понимаете, в русской душе должно равновесие соблюдаться. Я сейчас объясню, что это такое. Вот, например, такая дуга идёт: когда человек пьёт, он как бы мужает, то есть наполняется каким-то чувством собственного достоинства, крепнет-крепнет, вот к ночи, значит, человек считается окрепшим, потом идёт спад, и утром он падает до той точки, с которой начал крепчать. И вот всё это время такое равновесие идёт. Утром он был очень неуверен в себе, закомплексован, чувство вины у него, чувство растерянности, а к ночи он властелин жизни, кладезь ума и премудрости. Утром опять низко падает — и начинается новая точка отсчёта. Вот, я думаю, на чём зиждется пьянство российское.

Как-то он таинственно просвечивал — я имею в виду Ерофеева — сквозь этого Тихонова. Потом, читая о том и о другом, нашла, что он в самом деле был занятный тип — я имею в виду Тихонова. Лидия Любчикова, бывшая жена Вадима Тихонова, между прочим, кандидат филологических наук, свидетельствовала:

Ссорились они редко, да и то, Бенедикт ему всё спускал: ох, Вадимчик!.. Взаимное подтрунивание, иногда до ожесточения, и тут же любовное распитие и умиленные взоры друг на друга.

Она звала Венедикта Бенедиктом, Беном, считая, что Венедикт — искажённое от Бенедикта. Бенедикт, а стало быть, и Венедикт — благословенный.

Три последних года жизни благословенного гения рядом с ним была подруга и муза двух других гениев, художников Владимира Яковлева и Анатолия Зверева, геохимик по образованию, кандидат наук, московская красавица-интеллектуалка Наталья Шмелькова.

Ерофеева всегда окружали *умные* бабы, по его собственному выражению. Поэтесса Ольга Седакова, та же Лидия Любчикова, филологиня, да и Галина Носова, тоже кандидат по экономике, вращалась в интеллектуальных кругах. О Ерофееве ей рассказал утончённый поэт и переводчик Юрий Айхенвальд. В результате она приютила бездом-

ного писателя, для чего оформила брак с ним. Через три года после смерти Ерофеева она шагнула с балкона восьмого этажа на Флотской, где была их квартира. У неё бывали приступы безумия. Она говорила, что умеет летать.

Потрясает, как они слышали друг друга, эти две женщины, Галина и Наталья, жена и подруга, и какое великодушие проявляли обе. Пылкая неприязнь сменяла пылкую дружбу, ссорились и мирились, обижались и плакали, но всегда над ними сияла звезда Ерофеева, и обе совершали подвиг терпения и любви.

Из записных книжек Ерофеева:

- А жена кем работает?
- Великомученицею.

Почему, надписывая свою книгу, Наташа решила, что какие-то страницы могут меня покоробить, — Бог весть. Трудно представить более целомудренное описание жизни втроём, нежели это сделала Наташа Шмелькова. Да, собственно, она ничего и не делала. Обладающая умом, вкусом и острой интуицией, она просто вела дневник, в котором записывала дни и часы одного из главных людей своей жизни.

До того, как дать мне читать дневник, она многое рассказывала. Приходила, садилась в кресло и с чашечкой кофе в руке вспоминала подробности той жизни. Или я приходила к ней за тем же. Вот уж где Ерофеев просвечивал, так просвечивал.

В самый первый день, как она переступила порог дома на Флотской, Ерофеев, заслушавшись её игрой на расстроенном пианино и выделив из всех, ласково бросил: сука. И уже очень скоро признался: у меня-то всё серьёзно, ты моя планида. Зато в следующий раз: ты мне уже так долго мешаешь жить, таких, как ты, давить надо.

Слова можно передать на бумаге. Тона — не передать. Нежности-манежности были не в его привычке, нежность пряталась глубоко внутри.

В редких письмах писал:

Милая и пустая девчонка, здравствуй! И как без тебя тошнѐхонько...

Ни о ком на свете, пустушка, я так не тревожусь и так неотвязно-постоянно не помню, как о тебе, бестолочь...

А пустушка бросила ради него университет, работу, привозила продукты, гуляла и сидела с ним, слушала вместе Сибелиуса, которого

он сумрачно любил, Бетховена, Шуберта, Грига, Шопена, Брукнера, Шостаковича. Он требовал привезти ему нужные книги по списку: *Илиаду* и *Одиссею* Гомера, *Божественную комедию* Данте, все трагедии Эсхила и Софокла, сочинения Плутарха, *Метаморфозы* Овидия, речи Цицерона, исторические труды Геродота и Фукидида, Юлия Цезаря, Тацита, Монтеня, Шекспира, Рабле, *Фауста* Гёте, *Сентиментальное путешествие* Стерна, том Фета, два тома *Мифов народов мира*, *Католичество* религиозного философа Карсавина, всё, изданное Аверинцевым. И она везла, книгу за книгой.

О современных писателях он говорил:

— Я хоть и сам люблю позубоскалить, но писать нужно с дрожью в губах, а у них этого нет.

Не у всех.

— Перед Гроссманом я бы встал на колени и поцеловал ему руку.

О Набокове:

— Никогда зависти не знал, а тут завидую.

Уже существовали *Записки психопата*, бессмертная поэма *Москва-Петушки*, роман *Дмитрий Шостакович* (утраченный), *Моя маленькая лениниана*, *Вальпургиева ночь, или Шаги Командора*. Он жил — когда читал и писал. И когда пил. Ужас прожигал его сознание, когда не читал, не писал и не пил.

...всё время говорит о смерти. Галя совершенно серьёзно его упрощивает: ну подожди, мальчик, не умирай, нам ещё надо съездить в Польшу и дописать *Фанни Каплан*.

К концу 89-го боли сделались круглосуточными. Галя, то принимавшая, то не принимавшая Наташу, теперь всё чаще просила её: останься.

Из Наташиного дневника:

Незаметно выводит на улицу. Шепчет: терпи, у меня уже больше нет сил, разрывается сердце. Веня всё время говорит о смерти.

Его положили в Онкоцентр. Он уже лежал там дважды. Дважды вырезали опухоль и метастазы. Операций боялся. Во время прогулки с Наташей по Коломенскому, близ Каширки, сказал:

— Как ужасно, всё цветёт, а я ложусь под нож.

И вот снова цвела весна, снова он лежал на Каширке, но нож ему больше не грозил. Его положение было безнадежно.

А я и спрашиваю: ангелы небесные, вы ещё не покинули меня?
И ангелы небесные отвечают: нет, но скоро.
10 мая врачи предупредили, что предстоящая ночь последняя.
11 мая 90-го года он скончался.

Наташа записала:

На рассвете, в полудрёме услышала резкое, отрывистое дыхание... Ерофеев лежал, повернувшись к стене... Заглянула ему в лицо, в его глаза... Через несколько минут, в 7.45, Венедикта Ерофеева не стало...

Жизнь втроём оборвалась.

Жизнь вдвоём длилась ещё три года.

Наташа и Галя превратились в закадычных подруг.

Наташа отсутствовала в Москве месяц, вернулась — звонок Гали: куда ты пропала, у меня на завтра два билета в цирк. Наташа не любила цирка, но согласилась пойти. Рано утром позвонила знакомая и сообщила, что Галя выбросилась с балкона.

Первое, что увидела Наташа, приехав на Флотскую, под зеркалом — два билета в цирк.

* * *

ВЛАДИМИР БОГОМОЛОВ

«Ольге Андреевне Кучкиной на добрую память от автора, с уважением, симпатией и самыми лучшими пожеланиями Богомолов».

«Момент истины», «Иван», «Первая любовь», «Сердца моего боль», «В кригере». Издательство «Русская книга». 1994.

История Владимира Богомолова — одна из самых загадочных писательских историй XX века. И одна из наиболее болезненных — моей жизни.

Осенью 2000 года мы гоняли с ним чай, я слушала его рассказы о нём же, а дома записывала по памяти. Записывать на диктофон не разрешил. Я объясняла это себе его желанием сохранить свою отдельность, особость в отечественной литературе. Его военная проза гремела. А он не был даже членом Союза советских писателей, не участ-

вовал ни в каких писательских собраниях, не давал интервью, запрещал себя фотографировать. О его остром языке говорили, что может так отбрить, что будет очень больно. Он объяснял, отчего не любит никуда ходить: видит, как все чего-то друг от друга хотят, все жесты продиктованы целью заполучить что-то для себя, а ему ничего ни от кого не нужно, его личные запросы минимальны. Тут он обводил взглядом комнату, мебель, хрусталь: это вкус жены, я аскет, если вы не поняли. Я поняла. Жена Раиса Александровна, врач, дочь военного, красивая, статная, вихревая, влетев как ветер, прошлась по квартире словно ветер и ушла к себе, бросив: не буду мешать, устала, тяжёлое дежурство.

Я записывала: родился в маленькой подмосковной деревне, теперь почти Москва; мать — украинка, чувственная, с низким лбом, брошенная четвёртым мужем, осталась с трехлетним Вовкой на руках, плюс ещё дети; воспитывал дед, в драке на кулачках кулаком убивший соперника и отбывший каторгу за убийство, а с началом Первой мировой подавший прошение в действующую армию, где стал полным Георгиевским кавалером.

Позже я прочту в автобиографических заметках Богомолова:

Дед в 25 лет вернулся с русско-японской войны кавалером двух Георгиевских крестов, ещё два Георгия ему повесили на грудь в 1916 году.

Вовка деда боялся. Если у мальчишки что-то не выходило, дед бил его смертным боем. Зато это подготовило к жизни, к армии, к войне.

Он пошёл на войну добровольцем в 41-м, имея за спиной семь классов образования, а к концу войны уже командовал ротой в чине капитана, четыре раза награждён, пять раз лежал в госпитале, два осколка попали в ткань мозга, там капсулировались. От этого что-то типа контролируемых припадков, чем пользовался в нужных случаях. Скажем, надо найти и скопировать нужные документы из военного архива — легко можно припугнуть воинское начальство якобы разгравшимся припадком.

По окончании войны служил в армейской разведке, попал в Берлин, был арестован и препровождён в тюрьму во Львове, где просидел в камере с бандеровцами больше года. Тут шли подробности. В Берлине на собрании катили бочку на проштрафившегося старшего

лейтенанта, молодой Богомолов взял слово и заявил, что лейтенант — стрелочник, операцию разрабатывали майор, полковник и выше, с них спрос. На следующий день — арест и предъявленное обвинение в агентурной работе на врага. Через тринадцать месяцев выпустили со снятой судимостью. Один чин дал тридцатку и велел перекантоваться в военной гостинице до решения вопроса. Жил в номере ещё с дюжиной офицеров, также ожидавших назначения. Тридцатку быстро проел, клал на ухо подушку, чтобы не слышать рассказов о чужих похождениях, и клацал зубами от голода и тоски. А однажды в субботу пошёл на почту и отбил телеграмму Сталину: так и так, тринадцать месяцев без служебного довольствия, ни за что отсидел в тюрьме, прошу навести порядок в моём деле. В понедельник за ним пришли. Приказали идти в бухгалтерию. Там получил огромную сумму за все тринадцать месяцев, порядка сорока тысяч.

Смотрите, сказал он мне, Сталин кровавый преступник, иначе как к преступнику к нему относиться нельзя, но сталинское государство вот так прореагировало, а в Известиях читаем, что четыреста с лишним брошенных военных пенсионеров в Эстонии, всё отдавших родине, обращались к Ельцину и Черномырдину со своими проблемами — никакой реакции. Спросила: испытывал ли чувство радости, благодарности Сталину? Ответил: чувство обиды и горечи. Тогда и принял решение: ни при каких обстоятельствах не входить в контакт с государственными и общественными структурами, не служить, не вступать в партию. Этому неотступно следовал. Сказал: я никогда не был халявщиком, платил в ресторане за себя и за всех, если были деньги, а они были, я не жалею, книжки всегда издавали, люди ко мне хорошо относились и относятся, несмотря на то, что я нигде не состоял.

Записала: кремень, самородок, установивший сам себе способ жить.

Он умер 30 декабря 2003 года. Меня не было в Москве, я вернулась 3 января 2004 года. Пошла к главному редактору. Сказала: у меня есть готовый очерк *Победитель*, основанный на разговорах с Богомоловым, он его прочёл, печатать не разрешил, что будем делать? Печатать, сказал главный, он не частное лицо, а часть нашей культуры и принадлежит уже не себе, а вечности.

В ответ на публикацию в *КП* пришло два письма. Первое: сколько можно писать, тиражируя бесконечные небылицы о человеке, вся

жизнь которого была фальшивой. Второе: училась в школе вместе с двумя девочками, брат одной и сестра другой — одноклассники Володи, точно знаю, что в его автобиографии много неправды.

Так я познакомилась со скромной и милой Наталией Холодовской, художницей, а через неё — с открытым, доброжелательным Леонидом Рабичевым, художником и писателем.

Холодовская поведала о странном эпизоде. Она работала в детском издательстве. Там шла военная повесть неизвестного ей Богомолова. Читая вёрстку, Холодовская с волнением обнаружила некоторые совпадения с тем, что относилось к её погибшему на фронте брату Косте. Она попросила познакомить её с писателем. Каково же было её удивление, когда вместо неизвестного ей Владимира Богомолова она увидела хорошо известного Володю Войтинского, дружившего с Костей, учившегося в том же классе, что и Костя. Он её не узнал — она была младше классом. Она назвала себя — он страшно побледнел и опрометью, забыв шапку, выскочил из издательства. Эпизод наблюдали другие сотрудники — объяснения ему не последовало.

Я не искала случая — случай нашёл меня. Не расследованием, но исследованием жизни Богомолова я была обречена заняться.

Помощь пришла неожиданно — со стороны кинодокументалиста Лили Вьюгиной, решившей снять кино о Богомолове. Скажу сразу: с кино ничего не вышло, телеканалы сперва схватились за идею, потом, один за другим, отказались от неё. Лиля, тем не менее, успела проделать большую работу, в том числе, запросить и получить из архивов ряд интересных документов. Я встречалась по цепочке с людьми, знавшими Богомолова с юности. С двух концов мы шли к раскрытию неизвестного. В результате нам открылась, пусть и не до конца, не выдуманная, а подлинная жизнь писателя Богомолова.

Если коротко, факты таковы:

- он родился не в 1926-м, а в 1924-м году и к началу войны окончил не семь, а девять классов;
- фамилию носил не Богомолов, а Войтинский;
- отец Иосиф Савельевич Войтинский, известный юрист-правовед, профессор, крупнейший специалист по зарубежному трудовому праву, автор учебника по советскому трудовому

праву, имел другую семью, но сына признал и дал ему свою фамилию;

- мать Надежда Павловна Богомолец, женщина из интеллигентной среды, знала французский язык, жила во Франции, дружила с семьёй Семашко, замужем за Войтинским не была, родила ребёнка вне брака, работала машинисткой в журнале *Знамя*;
- дядя Владимир Савельевич Войтинский был выдающимся экономистом и статистиком;
- тётка, Надежда Савельевна Войтинская, известная художница, училась в гимназии Таганцевой и на Высших женских (Бестужевских) курсах и была близка к *Миру искусств*;
- питерский дед, Савелий Иосифович Войтинский, статский советник, либерально мыслящий преподаватель математики реального училища, впоследствии профессор Лесного института, сведений о его военной карьере нет;
- виленский дед, Пинхус Беркович, он же Павел Борисович, успешный адвокат, должен был родиться в 1880 году, чтобы в 25 лет вернуться с русско-японской войны, как написано в автобиографических заметках Богомолова, но тогда вышло бы, что мать Володи, 1887 года рождения, появилась на свет у семилетнего отца;
- на фронт Володя никак не мог уйти в 1941-м, потому что, по крайней мере, до 1942-го с матерью и старшей сестрой Катей находился в эвакуации в селе Бирючевка Микулинского сельсовета Бугульминского района Татарской АССР, о чем свидетельствовала, в частности, *Учётная карточка эвакуированного Владимира Осиповича Войтинского*, заполненная им лично 15 мая 1942-го года.

И так далее.

Сегодня все данные спокойно отыщутся в Интернете. А тогда разразился громкий скандал. *Литературка* напечатала коллективное письмо 11-и, в духе *коллективов*, какие печатались при советской власти, с оскорблениями в мой адрес и, что хуже, в адрес *завистников* Холодовской и Рабичева, с требованиями: не смей, отойти от святыни, перестать клеветать, и т.д. Клеветой объявлялось всё, начиная с даты ухода Богомолова на войну. Цитировался воинский билет с да-

той — июнь 1941 года. Впрочем, газета ограничилась лишь ссылкой на документ, факсимиле его в газете отсутствовало. Имевшаяся у нас *Учётная карточка эвакуированного*, заполненная в мае 1942 года, ставила под сомнение подлинность документа.

Но *Комсомолка* не спешила с моей новой публикацией. Больше того, сохраняя традицию давать слово другой стороне, родная газета опубликовала отповедь своему автору. Знающие люди намекали на недовольство спецслужб, раздавались звонки, кто-то угрожал, кто-то предупреждал об угрозах — дружественные сыпали соль на раны ещё в большем изобилии, нежели недружественные. Я заскучала.

Не буду пересказывать все коллизии. Что-то было смешно, что-то — совсем не смешно. Всё полезно. Уроки извлекаются в любом возрасте.

Должно было пройти немало времени, прежде чем новые данные биографии Богомолова вошли в литературный обиход. А они вошли. И это главное.

О Богомолоче говорили: человек-легенда. Похоже, годился вариант: человек и его легенда.

Но почему легенда?

Своего рода ключ Богомолоч дал в романе *Жизнь моя, или ты при-
снилась мне?..*

Это будет отнюдь не мемуарное сочинение: не воспоминания, но автобиография вымышленного лица.

То есть как бы и автобиография, однако лицо при этом вымышленное.

Раиса Александровна, рассказывая кому-то о памятнике Богомолочу, сообщила и вовсе несусветное: это будет *памятник без лица*.

Зачем человек прятал лицо? Не фотографируясь, убегая, когда его узнавали? Почему отрёкся от блестящей родни, предпочтя ей сочинённую: дед-каторжник и низколобая мать-украинка?

После долгих размышлений я, кажется, нашла отгадку загадки. Она заключалась в следующем. Реалии того времени таили в себе смертельную опасность для Богомолова. Репрессированный отец умер в заключении в спецпсихбольнице — у сына случился нервный срыв, и он тоже попал в психлечебницу. Дядя, когда-то убеждённый сподвижник Ленина, порвал с большевиками, перейдя на сторону меньшевиков, в 1918 году арестован за участие в заговоре генерала Краснова, эмигрировал, с 1935 года жил в США, во время Второй миро-

вой войны стал советником президента Рузвельта. Тётка осуждена в 1938 году по статьям 58–10 и 58–11 (антисоветская агитация и пропаганда, деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления).

Существовал пункт статьи 58 о недоносительстве, а тут такой букет родни. Тяжёлый психологический груз, от которого впечатлительный юноша решил избавиться? Или ему помогли сменить биографию люди, во власти которых было предложить другую?

На самом деле многого мы по-прежнему не знаем. Но и того, что знаем, довольно, чтобы прийти к выводу: отсечение своего прошлого, отсечение своего рода — здесь истинная драма Богомолова. Личная и общая история переплелись корявыми корнями.

Унижали или возвышали эту фигуру вновь открывшиеся обстоятельства? На мой взгляд, они давали тот подлинно драматический объём, который содержит в себе судьба всякого выдающегося человека.

Оставался, однако, вопрос, который и по сейчас берedit душу: а как бы отнёсся непредсказуемый Богомолов к работе журналиста, раскрывшего тайну его настоящей, а не вымышленной жизни?

Ответа я не знаю.

ОБ АВТОРЕ

Ольга Кучкина — известный журналист, писатель. Многие годы была обозревателем газеты «Комсомольская правда».

Издала более 25 книг. Автор нескольких пьес, которые шли на сценах театров России, США, Англии, Франции, Финляндии, Швеции, Японии.

Проза, пьесы, стихи публиковались в журналах «Театр», «Современная драматургия», «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Нева», «Континент», «Арион» и др. Отмечена рядом премий.

Недавно увидел свет «Трансатлантический @ роман, или Любовь на удаленке», написанный Ольгой Кучкиной совместно с мужем, известным переводчиком с итальянского Валерием Николаевым.

Постоянный автор нашего журнала.

Юрий СОЛОДКИН
ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

СТИХИ

Вершит Земля свои круги,
Старею незаметно я.
Вот и враги не все враги,
Вот и друзья не все друзья.

* * *

Не будем знать, как ни печально,
Каким наш мир был изначально.
От взрыва он или из тьмы,
И как в нём оказались мы.

* * *

Планеты, Солнце, Млечный путь —
Всё глубже мы вникаем в суть.
Уже вселенных нам не счесть,
А мир всё глубже есть и есть.

* * *

Всё дальше Вселенной граница,
И вряд ли дойдём до конца.
С рожденья в нас место хранится
Во все времена для Творца.

* * *

Что есть предназначенье высшее?
Гляжу с ущербностью земною
На небо звёздное, повисшее
Бескрайней далью надо мною.

* * *

Я тайной космоса влеком,
И микромир мне непонятен.
Вот если был бы дураком —
Ни космоса, ни белых пятен.

* * *

Рожденье — первый Божий дар,
Любовь — вторая нам награда,
А третий дар, пока не стар,
Понять, что третьего не надо.

* * *

Я не присутствовал при родах,
И всё же роды означали,
В тот миг, что родилась природа,
Я тоже был в её начале.

* * *

Божественны цветы
Небесной красотой.
Не усомнись и ты
В божественности той.

* * *

Устав от жизненной муры,
Фантазий ощущая жжение,
В иные ухожу миры,
Куда ведёт воображение.

* * *

Прощальный день всё ближе, ближе.
Исчезнет луч последний света.
Уже и то я не увижу,
И вряд ли я увижу это.

* * *

Не знаем ничего наверняка.
Доверию всегда должна быть мера.
И безоглядна если наша вера,
Она страшна, опасна и дика.

* * *

У мудрого своё решение,
Он верит своему уму,
А глупый следует тому,
Что есть общественное мнение.

* * *

Язык послал мне эту весть,
Ему спасибо за участие.
Во множественном виде есть
«Несчастья», а не слово «счастье».

* * *

Всегда чего-нибудь не так,
Жизнь на «не так» большой мастак.

* * *

Считаешь удачи свои, неудачи,
Был ты прозорлив иль наивный простака,
И в каждый момент всё могло быть иначе,
И в каждый момент было именно так.

* * *

Сеть опутала планету,
От неё спасенья нету.
Кто слабее, кто сильнее —
Все барахтаемся в ней.

* * *

Всё и вся известно мигом
С разрешением и без.
Не закончился бы игом
Этот чёртовый прогресс.

СТРОЧКИ С ЭПИГРАФАМИ

*...С того и мучаюсь, что не пойму,
Куда влечёт нас рок событий.*

С. Есенин

От слов твоих немалый срок,
Но и сегодня мука гложет.
Понять, куда влечёт нас рок,
И в наши дни поэт не может.

* * *

Всё будет так. Исхода нет.

А. Блок

Всё будет так. Мы в тупике.
Нет ни опоры, ни оплота.
Наш самолёт вошёл в пике,
И за штурвалом нет пилота.

* * *

*Чем лучше поэт, тем страшнее
его одиночество.*

И. Бродский

Наверно, я такой поэт,
Что хуже не было и нет.
Не те, как видно, муки творчества,
И страха нет от одиночества.

БАНАЛЬНАЯ ПОЭМА

в пяти главах с прологом и эпилогом

Почти 70 лет учёные Гарварда наблюдали за группой из 800 человек, чтобы в итоге назвать пять составляющих счастливой и долгой жизни.

ПРОЛОГ

Философы, мыслители, пророки
Во все века давали нам уроки.
Учили, что ж является основой
Счастливой жизни, долгой и здоровой.

1

Не избежать болезней никому,
Но как бы пережить их по уму.
Один совет есть у меня для друга,
Чтоб не терял рассудок от недуга.

2

Любовь не на словах, а от души,
И только с нею жизнь свою верши.
Как много силы у счастливых пар!
Ценнее нет, чем этот Божий дар.

3

На зло старайся не ответить злом.
Два этих зла завяжутся узлом.
Зло в наказание людям от природы.
Лишь доброта продлить умеет годы.

4

Пытайся чаще сам себя понять,
И на судьбу не торопись пенять.
Будь с собственной душой всегда в ладу.
Она поможет одолеть беду.

5

Пока ты жив, учиться есть чему.
Всю жизнь покоя не давай уму.
И знания и опыт — нет важней
От самых первых до последних дней.

ЭПИЛОГ

Да, истины банальны эти.
Зачем о них написан стих?
Своею сутью сделай их!
Нет ничего важней на свете.

ОБ АВТОРЕ

Юрий Солодкин родился за год до войны в Новосибирске, где со временем прошёл все ступени научного сотрудника — от аспиранта до доктора технических наук, профессора. На 57-м году жизни эмигрировал в Америку, где проработал ещё 20 лет.

Немало времени Юрий Солодкин уделяет творчеству. За это время им опубликованы многие очерки, интервью и книги стихов «Библиейские поэмы», «Если вкратце...», «Стихи по случаю», «Кто пишет в Книгу наши судьбы...», а также семь книжек для детей.

Валерий БОЧКОВ

МАСЛЕНИЦА В ВИРДЖИНИИ

К 90-летию Владимира Войновича

1

Зима в Вирджинии скучна и нелепа. Снег выпадает лишь раз, обычно в январе, но лежит всего один день и на следующее утро тает без следа. В начале февраля запросто могут распуститься крокусы и фиалки. К середине месяца уже всюю пахнет весной: воздух по-южному вкусен, мокрый дух магнолий мешается с горечью каминного дымка, с реки тянет тёплой тиной и почти пляжной ленью, в просвете черепичных крыш висит чуткий месяц. Кто-то вырезал его из слюды и приклеил к оливковому небу прямо с утра.

Именно на один из таких дней и выпадает Масленица. Дом наш бурлит: в гостиной уже накрыт длиннющий стол — не так просто усадить полторы дюжины гостей — девственной белизны скатерть, крахмальные салфетки торчком, праздничный сервиз с золотым ободком, вилки-вилочки-ножи. По всему дому разбегаются вазочки с цыплячьего цвета нарциссами — их куплено целое ведро: по мнению моей американской жены, нарциссы символизируют весну и скупиться тут — грех.

Я не спорю и придерживаюсь того же мнения насчёт спиртного — «смирновская» разлита по графинам и изнывает в потёмках холодильника по соседству с банками икры и малосольной селёдки. Внизу, на кухне, накрывается закусочный стол, аромат тут стоит убийственный: маринованная черемша, солёные огурцы и помидоры, пахнет укропом и кинзой, бесстыже благоухает копчёная корейка. Расставив хрустальные стопки и всё-таки поборов искушение слямзить ломтик сёмги, выхожу в сад.

Тут тоже всё готово: в железной жаровне сложены дрова, вокруг расставлены деревянные кресла с грубыми солдатскими одеялами — вечерами бывает зябко. На суку старой вишни висит чучело Путина в натуральную величину — сколько в нём, метра полтора? Портретное сходство весьма убедительно, в конце концов, я ведь профессиональный художник. Нутро чучела набито соломой и пропитано бензином: Путин должен сгореть быстро — моментально, чтоб огнём не повредить ветки дерева и чтоб соседи не успели вызвать полицию. Рядом с вишней — огнетушитель. За пятнадцать лет жизни в цивилизованном мире русская удаль неизбежно сменяется здравым смыслом.

2

Есть люди, которые располагают к себе сразу. Войнович из их числа, он прекрасно знает, что знаменит, но при этом не кокетничает, имитируя рубаху-парня, но и не важничает, изображая классика или пророка. Он не пытается заполнить собой всё пространство, он не пытается громко острить или заразительно хохотать. Он не тамада и не свадебный генерал.

Помнится, классе в десятом, к нам привели поэта Евтушенко. На нём были джинсы цвета упоительного гавайского заката. Девчонки сомлели сразу. Не помню, читал ли он стихи, но под конец встречи поэт доверительно поведал нам, как режиссёр Дзеффирелли (его фильм «Ромео и Джульетта» как раз с триумфом шёл к кинотеатрах СССР) уговаривал его, Евтушенко, на роль Иисуса Христа. «Вы — вылитый Христос» — цитировал поэт в красных штанах знаменитого итальянца. При этом поэт приподнимал подбородок и страдальчески вращал глазами. Ощущение стыда и неловкости живо во мне до сих пор.

Войнович тих и спокоен. Он совсем не похож на Христа, Войновича запросто можно представить на капитанском мостике в бурную ночь на каком-нибудь скандинавском краболове — крепкая шея, упрямый лоб, по-мальчишески густая шевелюра — белая, как гребень северной волны. В зубах — короткая вишнёвая трубка-носогрейка. Впрочем, курить Войнович давно бросил.

Мы говорим о лени и её роли в искусстве. Войнович утверждает, что он чемпион по лени и в мировом состязании наверняка занял бы второе место — после Карла Маркса.

— Лень — это вовсе не «ничегонеделанье». Ленишься означает не делать того, что ты «должен» делать. Так называемая работа: копать яму, писать книгу, играть Гамлета в театре, красить забор. Кстати, у Марка Твена психология лени описана гениально. К слову, именно из-за лени я стал живописцем.

Тема требует тоста — мы выпиваем. Войнович продолжает:

— Дело было в Германии, я дописывал книгу, срок сдачи приближался. Финал никак не получался — крутил его и так и сяк — всё плохо. Тогда я полез в середину текста, начал исправлять там и испортил всё окончательно. Я сидел за письменным столом мрачный и злой. На стене передо мной висел натюрморт в раме — груша, миска, синяя тряпка. Он мне и раньше не нравился. Ни композиции, ни колорита — ну что за картина — попроси любого прохожего с улицы, он тебе лучше нарисует. «Уж прямо так и любой, — иронично шепнул бес в ухо. — А самому слабо?»

На соседней улице, минутах в пятнадцати, была лавка художественных материалов. Типа художественного салона, помнишь, как на Кутузовском.

— Как раз в доме Брежнева, — уточнил я.

— Именно. В таких магазинах есть всё необходимое: холсты, краски, кисти — короче, все материалы и инструменты для написания шедевра. Через пятнадцать минут я уже выбирал тюбики с краской и кисточки. Купил палитру, пару холстов, второй — на всякий пожарный. Дело-то незнакомое, кто знает, как оно там пойдёт.

Дело пошло на ура. Азартно и с удовольствием: я пел, смеялся, перемазался краской, испачкал стол, стены и ковёр. Через полтора часа я закончил свой натюрморт с яблоками. Снял со стены старую картину и повесил свою. Моя была очевидно лучше. Такого прилива вдохновения я не испытывал давно.

Какая удача, что я сразу купил два холста! Тут же взялся за следующий натюрморт — в композиции должны были принимать участие бананы и графин. По колориту я метил одновременно в Сезанна и Ван-Гога. Внезапно обнаружилось, что кончается краска — закончились белила и крап-лак, из жёлтого тюбика удалось выдавить жалкую каплю — какие же бананы без жёлтого стронция!

Мне повезло — магазин ещё не закрылся. Набив сумку тюбиками с краской, я бегом отправился домой. Через час натюрморт был за-

вершён. Бананы получились даже лучше яблок. Вторая картина придала мне уверенности — о своём живописном творчестве я теперь мог говорить во множественном числе. Чуть смущало жанровое однообразие, не может настоящий мастер писать одни лишь натюрморты. Нужен портрет — нет, не просто портрет, а автопортрет — у каждого уважаемого живописца есть автопортрет: тот же Ван-Гог с Сезанном, Гоген, Рембрандт. Карл Брюллов. К тому же у меня осталось много лишней краски.

3

Книгу «Москва 2042» первый раз я читал в Амстердаме. Тогда, то ли в 89-м, то ли в 90-м году, происходящее в романе казалось искромётной фантазией автора, назвать её антиутопией мне бы и в голову не пришло. Никто ведь не считает «Откровения от Иоанна» антиутопией, верно?

Напомню вкратце: правит Россией Гениалиссимус — гэбешный полковник, прячущийся в бункере (нет, в спутнике), есть и скрепы — государственность-безопасность-религиозность, за последнюю отвечает генерал-майор религиозной службы Отец Звездоний, на Красной площади портрет Христа рядом с портретом Ленина. Жрать в России снова нечего, снова страна в кольце врагов. Машины и механизмы не работают, всё износилось и обветшало. Взгляд в прошлое или будущее? Это Россия перед развалом советской империи или путинская РФ образца 2026 года? Я не политолог и не пророк, но на мой взгляд, будущее России в её прошлом. Гоголь тут явно польстил родине: Русь вовсе не тройка, Русь — белка в колесе.

Через четверть века, в четырнадцатом году, на нашей Масленице в Вирджинии, я спрашивал Войновича, как ему удалось так точно всё угадать — и про церковь, и про Путина, и про народ.

— Ну, про народ наш проще всего, — ответил он. — Страх и покорность уже в генах. Вектор был задан сто лет назад, проведена изумительная селекция — несколько войн, голод, террор. Путину уже даже не нужно устраивать репрессии — страх является органичной частью жизни каждого гражданина РФ.

— Страх — главная скрепа России. Причём — и этот момент крайне важен — у страха не должно быть логического объяснения. Опыт ста-

линского террора тут переоценить нельзя. Имея те постсоветские ингредиенты, у нас ничего другого получиться и не могло.

Ещё Войнович сказал, что в наш, не очень просвещённый век, антиутопию ошибочно считают предсказанием будущего, одним из видов научной фантастики. На самом деле антиутопия, скорее, относится к категории предостережений. Писатель, настоящий писатель подобен чуткому инструменту, вроде сейсмографа, способному задолго до землетрясения почувствовать приближающуюся катастрофу и предупредить праздное человечество. Как правило, без результата.

4

Моя жена Элизабет печёт самые вкусные блины в мире. Я пробовал блины и в русских ресторанах, и в разнообразных хлебосольных гостиных, где на кухнях колдовали и опытные бабушки, и хваткие молодки — нет, всё не то. Лизины блины самые лучшие. Такое же мнение — единодушно — выразили и гости, сплошь выходцы из наших краёв, не считая пары залётных американцев. Публика, к слову, культурная и образованная («рафинированная», как говорила моя покойная бабушка, генеральская вдова): был профессор, пара классических пианистов, биолог с мировой репутацией, бывший культурный атташе. Был даже мятежный генерал КГБ, которого приговорил к смерти сам Путин, впрочем, без видимого результата.

Генерал привычно балагурил, шутил, неожиданно переходя на немецкий, рассказывал шпионские истории, опрокидывал рюмашку и смачно хрустел корнишоном — и снова шутил. Генерал сидел напротив Войновича и явно портил ему настроение. Войнович стал мрачен, он жевал вяло и без аппетита, исподлобья поглядывая на румяного балагура. Тот заканчивал историю про создание ленинградского рок-клуба, которую я слышал от него раньше: генерал утверждал, что то была его идея, а сам клуб целиком стал проектом КГБ по контролю над молодёжью.

— Так что русский рок, — закончил генерал, — тайное дитя Комитета.

— Что явно отразилось на музыкальных способностях подкидыша, — хмуро буркнул Войнович.

Никто не засмеялся. Повисла неловкая пауза, которую заполнил цыганский перебор в ре-миноре — музыка бубнила застольным фо-

ном. К счастью, появилась новая порция блинов — пошла вторая сотня. Моя жена, уже опытная в русских застольях, крепко уяснила две национальные особенности: во-первых, русские едят блины по шесть разом — как слоёный пирог, во-вторых, русские не делятся едой — если на одном конце стола будет, к примеру, стоять блюдо с заливной рыбой, на другом конце этой рыбы никогда не увидят.

— Кстати, Комитет, — начал генерал авторитетным баритоном, — именно Комитет, спас от полного уничтожения русскую православную церковь в Советском Союзе...

— Ага, — ядовито ввернул Войнович. — Сделав церковь филиалом КГБ.

— Но ведь спас! — Генерал махнул рюмку водки. — Спас!

— Лучше бы она погибла! — Войнович промокнул салфеткой губы. — Для всех было бы лучше. И для самой церкви в первую очередь.

— Ну не скажите...

— Сам Христос бы побрезговал молиться в вашей чекистской церкви.

Застолье безнадежно катилось к скандалу. Нужно было что-то предпринять немедленно. Ситуацию спасли Путин и моя жена. Лиза, не очень понимая нюансы русской речи, безошибочным нюхом толковой хозяйки почуяла неладное.

— Чучело! — воскликнула она. — Чучело! Уже стемнело — самое время жечь чучело! В сад! Все спускаемся в сад!

* * *

Путин вспыхнул как порох. Сгорел моментально и почти без дыма. Гости едва успели щёлкнуть пару селфи на фоне пылающего тирана. На десерт мы снова подавали блины — теперь уже с клубникой и сливочным мороженым. До 24 февраля 2022 года оставалось ровно восемь лет.

Через месяц после той масленицы за роман «К югу от Вирджинии» я получу «Русскую премию». Тогда такую премию принимать было ещё не стыдно. Мы с Лизой полетим в Москву, которую мы покинули пятнадцать лет назад — в год, когда мой народ выбрал своим президентом вора, убийцу и будущего военного преступника мирового калибра. Издательство Эксмо заключит со мной контракт на издание авторской серии. В ней выйдет одиннадцать книг. Моим редактором



Слева направо:
Олег Калугин,
Александр Чапковский,
Владимир Войнович,
Валерий Бочков

станет Ольга Аминова, именно она готовила к изданию все последние книги Владимира Войновича. Через пару лет, в 2016 году, я напишу свою антиутопию «Коронация зверя». Всё, описанное там, случится в России через два года — в конце августа 2024.

ОБ АВТОРЕ

***Валерий Бочков** — известный русский и американский писатель и художник-график. автор более десяти романов и сборника рассказов, завоевавших большую читательскую аудиторию и принёсших автору заслуженную популярность. Лауреат «Русской премии» и «Премии имени Эрнеста Хемингуэя».*

Его писательский стиль характеризует гармоничное сочетание философской глубины и психологизма с дерзкой острсюжетностью, динамикой и ярко-фактурными образами. Но главное свойство творчества Валерия Бочкова — абсолютная и вдохновляющая свобода, поднимающая читателя над условностями и страхами.

Валерий Бочков — постоянный автор нашего журнала.

Эллайда ТРУБЕЦКАЯ

СТИХИ О ЛЮБВИ

БЕРГМАНОВСКИЕ ИЛЛЮЗИИ

Я знаю поздно: но в мятежном сне
Сегодня снова мне звезда явилась.
Она ко мне в ладонь сама скатилась
и жизнь зажгла угасшую во мне.
Я призывала разум остудить
огонь ненужный. Вовсе не пристало
душе, которая давно устала,
в чертог волшебный путь себе мостить.
Но кровь по жилам — пистолет в висок.
Глаза какие!.. Боже! Что со мною?
И что я стою без любви? Что стою?
Рукой неверной брошенный мазок.

* * *

Мне любопытно: храбр ты или глуп?
Бросаешься на амбразуру смело.
Чего ты ищешь: слов моих иль губ?
А может быть, совсем не в этом дело?

Я понимаю — дерзкий взгляд манит,
таинственность в озноб и жар бросает.
Ведь, несмотря на неприступный вид,
и крепости, бывает, флаг спускают.

Не испугавшись холода, смеясь,
ты бережно мои ласкаешь руки.
Что это означает? Вряд ли, страсть?
Так просто шутка глупая, от скуки.

Таят глаза вопрос, а не ответ,
а мысли растворяются в прибое.
Меня, замёрзшую на сотни лет,
пытается судьба свести с тобою.

Жаль, я не верю никому давно.
Поставив точку, больше не стираю.
И льётся на пол красное вино,
и руки у тебя я отбираю.

* * *

Будто что-то взорвалось внутри.
Вещество-существо растеклось.
И при счёте беззвучном на «три»
появился непрошенный гость.
Расступилась кромешная тьма.
Я принялась — серу не жгли.
И сойдя в одночасье с ума,
понеслись, словно нас запрягли.
Гонг звучал. Был кнут Конюха строг.
Потеряли осознанность дни.
Даже Он разлучить нас не мог,
точно зная: мы — в чём-то сродни.
В наказание судьба нас свела —
не рвалась я в закрытую дверь.
Я над пропастью руки сплела...
И не знаю, что делать теперь.

* * *

Элегантность взвихренных седин.
Древних тайн глубинное познание.
Утончённость графики морщин.
Аскетичность, самообладание.
Роль героя. Реплика: «Налей!»
Дерзкий тон и робость прикасаний.
Бес в глазах, осанка королей.
Ерничество... Трепетность признаний.
Редкий дар писать и этим жить,
Греховознесение в основе,
Мазохизм, желание разбить,
Атеизм и вера в каждом слове...
Нужно ли с таким мне рядом быть?

* * *

Всё в прошлом: брошенный мной дом,
поруганность мечты, рука с карающим мечом,
державность темноты, невежд налитый ядом крик,
страх боль не пережить, заплёванный святыни лик —
веками не отмыть.

Всё в будущем: тот тронный зал,
награды и почёт, цветами убранный вокзал
и подведённый счёт, признание в иных мирах,
благопристойный вид, чеканность профиля в горах,
забвение обид.
А в настоящем — ничего: ни радости, ни слёз.
Инертное твоё «всего», ненужных встреч мороз.
Курьёзный, не к добру роман — за жизнь не прочитать...
И горько-сладостный дурман, что не даёт мне спать.

* * *

Хочу читать тебя, писать, лепить.
Не быть с тобою — лишь с тобою быть.

Тонуть, спастись, вновь в тебе тонуть.
Ни словом и ни делом не вспугнуть.

Судить, оправдывать, казнить в ночи.
Ковать замки и отдавать ключи.

Молиться о ниспосланном мне дне,
И признавать, что «истина в вине».

Писать тебе, не ждать письма в ответ,
тела ломая тонких сигарет.

Заколдовать тебя, расколдовать...
Себя отдать... И всё ж не отдавать.

И трепетать, и плакать, и кричать.
И никого вокруг не замечать.

Спасти тебя от всех грядущих бурь.
И вымарать проклятых сроков дурь.

И на страницу имя уронить...
И целый мир собою заменить.

* * *

Велел: «Не жди», — и не пришёл.
Не позвонил, не написал.
Сто тысяч дел других нашёл,
«Не обижайся», — не сказал.
Так гнусно дождик моросил...
Все двери настезь распахнув,
ждала тебя что было сил...

Внезапно голубь в дом впорхнул.
Нет, не почтовый — просто гость.
Он подкормился на столе,
чуть поклевал собачью кость,
и походил по голове.
Потом стихи мои читал
и одобрительно кивал.
Всплакнул тихонько, перестал...
И взглядом душу разрывал.
А, улетая, прошептал:
«Не стоит он, ты не грусти».
И голосом твоим сказал:
«Я виноват. Прости. Прости».

* * *

Я не люблю тебя — смертельно хочу любить.
Пленённым мной вернуть свободу... И всех забыть.

Очиститься. Я знаю, смоем грехи вода.
И побегут обратно строим мои года.

Прислушиваться постоянно к тиши шагов.
Писать так, чтоб сводило зубы у всех врагов.

Бросаться в омут, возноситься, гореть в огне.
И не смущаться, не дичиться наедине.

Любить, любить тебя так нежно и так беречь,
чтобы с ума сводила снежность невинных встреч.

Чтоб до разрыва нервов было, чтоб до конца...
И чтобы на двоих хватило в стволе свинца.

* * *

Мне бесконечно трудно и легко
писать тебе и о тебе. Словами
я прикасаюсь. Страшно мне губами.
Мы так близки... Но как ты далеко.
Меж нами нет неясности. И я
на все вопросы отвечаю прямо,
хотя довольно скрытна и упряма —
сама себе защитник и судья.

Не бойся. Всё останется как есть,
а если и изменится немного,
то всё равно ясна будет дорога —
с тобой пребудут гордость, ум и честь.
Поссорятся за место на столе
бессчётные тома твоих романов.
А тонкий вкус скучающих гурманов
найдёт усладу рая на Земле.

Ты будешь счастлив день, мгновенье, год.
Так долго, долго... До конца Вселенной.
Но даже и тогда не станет тленным
твоих героев славный гордый род.
А женщина печальная одна —
за все грехи отмщенье и прощенье,
не даст погибнуть, станет утешеньем,
и выпьет всё, что суждено, до дна.

* * *

Мне абсолютно всё равно —
горчит или кислит вино.

С кем день я провожу теперь,
кому открою ночью дверь.

Кто скажет «да», подумав «нет»,
что счастье есть, но нет монет.

Кого простить, кого забыть,
с кем рядом быть и с кем не быть.

Придёшь ты или не придёшь,
кого ещё с ума сведёшь.

Дождь на дворе или жара,
и что не сплю я до утра,

взрываясь в страсти, как вулкан —
а ты живёшь как истукан.

Какой исполнится каприз,
кто завоюет первый приз.

Где заплачу за радость дней —
на небе иль в стране теней.

И лишь не безразлично мне,
и я пылаю, как в огне,

когда велением извне
стихи рождаются во мне.

* * *

Мы были когда-то знакомы.
Так близко стояли два дома.

Мы были знакомы когда-то...
Но жизнь перепутала даты.

И нет уж домов тех в помине...
И мы не знакомы отныне.

ОБ АВТОРЕ

Эллайда Трубецкая в 1993 году эмигрировала в США. Работала в сфере социальной службы, оказывающей помощь пожилым людям, живущим в Нью-Йорке. Писать стихи для неё — значит, жить. Раздумья о сущности бытия, любви, вечности эмоционально ярко выражены в её поэзии.

Стихи Эллайды Трубецкой публиковались во многих книгах в России и Америке, журналах, газетах, интернет-изданиях.

Она — член редакционного совета журнала «Времена».

Василь ДРОБОТ ПОЭТ БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ

К 80-летию Василя Дробота

Василь Леонидович Дробот — поэт не просто по призванию. Он поэт по естеству. Этот человек не мыслил себя без процесса стихосложения, без города Киева, который для него был этой самой поэзией, вечной, дышащей, проникновенной и осязаемой, поэзией наяву. Он также не представлял, как можно пройти мимо и не заметить даже самый слабый, едва пробивающийся, но искренний росток литературного таланта в других. Это особый, пусть и нередкий дар состоявшегося поэта, не замереть в собственном величии литературного признания, а замечать и быть открытым к своим соплеменникам по сорванной коже. Ведь именно такое неравнодушное восприятие реальности и есть отличительная черта истинной поэзии. Василь Дробот и в этом отношении — поэт истинный. Светлый и совершенно необычный человек. Многогранно и расточительно талантливый, добрейший, во многом бескорыстно и самоотверженно помогающий многим... Тем из нас, кто удостоился чести быть знакомыми, дружить с Василем Леонидовичем... В чьей литературной судьбе он принял ненавязчивое, но столь значимое и определяющее участие... Кому повезло вместе с ним читать стихи на творческих вечерах... Для нас его уход — невосполнимая потеря и пропасть безмерной печали. Но вместе с тем, литературное присутствие Василя, его книги и новые публикации — свидетельства того, что истинный поэт по призванию и естеству остаётся неотъемлемой частью литературного присутствия.

Василь Дробот, всю жизнь проживший в украинской столице, родился в эвакуации, в Оренбургской области 2 сентября 1942 года. Но уже в ноябре 1943 года семья его родителей вернулась в Киев. И мать, и отец будущего поэта были живописцами. Соответственно, творческая стезя Василя не случайна.

Литературный источник — «Энциклопедия Современной Украины» характеризует Василя Леонидовича как «поэта лирико-романтического направления с философскими и автобиографическими доминантами...» В его манере стихосложения отмечена...стройность стиха, мелодичность ритмики и внутренняя интонация в совокупности с высокой цельностью образов...» Кредо справочников и энциклопедий — представить личность лаконично сухо и официально, какой бы яркой и необычной эта личность не была. Василь Дробот был именно такой личностью, которая создавала трудности для лаконичных справочников и энциклопедий.

Безусловно, регалий, к которым он никогда не стремился и которые как бы даже и не замечал, у Василя было в избытке: поэт, переводчик, член Национального Союза Писателей Украины (НСПУ) с 1995 г., член Правления КОНСПУ. Лауреат литературной премии НСПУ им. Николая Ушакова за 2004 год, награждён медалью «Відзнака Пошани» НСПУ в 2012 году, лауреат премии им. Л. Вышеславского 2015 года, лауреат премии им. Катерины Квитницкой 2018 года.

Василь Леонидович Дробот скончался в Киеве 18 июня 2020 года после продолжительной болезни.

Гари Лайт

В МИГ РОЖДЕНИЯ

В миг рождения ребёнок плачет. Не потому, что на свете — плохо, не от боли, не от страха, всё это ему ещё неизвестно, но — от неожиданности. Плач — это всё, что у него есть, и он отдаёт это всё, не задумываясь. Точно так же и стихи пишутся. Душа реагирует на смену обстоятельств, окружения, настроения... И стих — это всё, что у неё есть, потому что поэт, если он — поэт, всю жизнь остаётся ребёнком, иначе писать не сможет. И то, что ребёнок ещё не умеет врать, не мешает сходству: поэт, если он поэт, тоже не врёт — ибо стихи соврать невозможно. Душа его вкладывает в стихотворение всё, что имеет и хочет отдать, вдруг возникая на свете в другом качестве: вестью, добром, теплом, нежностью и радостью — всем, что мы способны дать другому человеку, окружающим, любимым, просто миру... Хорошо, когда в мире есть, кому тебя услышать и понять твои слова. А если дар

твой ещё и принят,—это уже счастье. Потому что стихи—это всё, что у нас есть.

Здесь нет задуманных стихотворений, все они—случайные, пришедшие «по собственной воле». Можно сказать, каждое из них—это только что явившийся, ещё кричащий от неожиданности, малыш...

Спасибо, что вы читаете их, да принесут они вам радость!

Василь Дробот
Киев, 2017

* * *

Завершается год високосный.

Арсений Тарковский

С тех пор умчалось сорок лет,
И ничего не прояснилось:
Всё та же Муза ночью снилась,
Всё тот же брезжил синий свет.

Но это — вечер, не рассвет,
Он к нам пришёл как Божья милость,
И сердце радостней забилося,
Ведь на него управы нет.

Хранит надежда всё в себе
И ничего не принимает,
Живёт в гульбе, пальбе, борьбе,

Огни включает на столбе,
Сама, главенствуя в судьбе,
Судьбу собою подменяет...

19.01.2017

* * *

У смерти очертаний нет...

Борис Пастернак

«У смерти очертаний нет».
Она — в любом из нас, но — тайно,
И не проявится случайно,
И не нарушит Божьих смет.

Легка она, иль тяжела,
А всё ж, останется с тобою —
На празднике, на поле боя, —
Во всём, что жизнь тебе дала.

Она верна, верна тебе,
И ждёт, не вмешиваясь в души...
Она — проход наш в мир грядущий
И — отпущение в судьбе.

8.09.2016

* * *

Одна звезда на целом склоне
Седого неба надо мной:
Мигнёт, вздохнёт — и луч уронит
Над сирой пропастью земной.

Спокойно глянет из-за тучи
И — снова в тучу, как в манто...
Земли коснётся свет летучий
И улетит назад, в ничто.

Апрель, и тёплая погода.
Идёшь и смотришь в высоту...
Теплу дарованы полгода,
И каждый выдох — на счету.

18.04.2016

* * *

Сейчас необходима тишина.

Ирина Одоевцева

Всегда бегу, чтоб всё успеть,
Но знаю, стих меня догонит:
Строка сама желает петь,
Её в размер и в рифму клонит.

А дать могу их только я,
Она и гонится за мною,
Ведь я ей — жизни колея,
Её пристанище земное

И место в мире — навсегда,
Чтоб стать и музыкой, и словом
Той самой жизни, вечно новой, —
Чтоб не пропала без следа.

17.12.2016

* * *

*Можно сказать, что Мир продолжает
создаваться и сейчас.*

Из проповеди

Позволь мне влиться в строки эти,
Позволь найти себя меж них
И вдруг проснуться на рассвете
И осознать себя, как миг.
Читаю, доверяя слову,
Иду за ним без поводка
И прохожу за словом снова,
Куда б ни повела строка.

Влагаю душу и сознание
В полупроснувшуюся Суть,
И до конца приемлю Суд,
И продолжаюсь как Созданье...

20.01.2017

И ВСЁ ЖЕ...

Каждый день, рано утром, появляется новое стихотворение. Не пропускаю ни единого дня, потому что, пропустив раз, обязательно пропустишь ещё, а жизни не так много, чтобы можно было её прогуливать. И предстаёт жизнь непрерывным «сегодня», которое не имеет права оборваться, потому что тогда не наступит завтра... Последняя, на данный момент, рукопись возникла неожиданно, сама по себе, в момент тяжёлой болезни и, по возрасту, уже на том краю, где поэт начинает оценивать то, что он пытался вложить в современную поэзию, что у него получилось, и что нужно исправить, как можно быстрее, иначе можно и не успеть. Мне уже 77 лет, семья не увлекается поэзией и не считает это занятие достойным делом. Я даже писать встаю до рассвета, чтобы мне не помешали, и потому стихи — чаще всего — утренние.

Василь Дробот
Киев, 2019

* * *

А злоба дня размахивает палкой.
Борис Пастернак

Всей злобе дня добра не одолеть,
Поскольку отрицанья не приемлет,
И пусть несёт испуганную Землю
И втихомолку поднимает плеть, —

Удара ей она не нанесёт, —
Раздумывает, забудет, промахнётся,
К чему-то предыдущему вернётся
И сохранит...
Ни радостей, ни сот,

Ни мёда в них — не сокрушит навек
И потому оставит жить на свете,
Что всей Земле для жизни солнце светит,
И потому ей нужен человек.

* * *

Ты — вечности заложник...

Борис Пастернак

Заложник вечности, работай,
Твори, не смея отдыхать.
Ведь мир живёт твоей заботой,
И все грядущие века

К тебе приходят через строки
И воплощение в дела...
Уже светлеет на востоке,
Прозрачной делается мгла,

Краснеет ночь по мраку прямо.
Стыдится, что ли? Но кого?..
Воскресший луч — в оконных рамах
И в строчках сердца моего.

7.09.2018

* * *

А судьбы у нас бесплатны:
Приходит к тебе одна,
Фальшива она иль ладна, —
Звучащая, как струна,

В сложившемся вдруг аккорде —
Живущего мира — стон,
Не сватанье на Биг-Борде,
А Божьего мира — тон.

И входишь в звучанье это,
Влагая в него себя...
И всё это — песня света,
Спешащая с ним сюда.

27.08.2019

* * *

Отражается в окнах восход,
И сияют лучами они.
Пережил человеческий род
Лета жаркого долгие дни.

И сумеет беду перебыть
И войну пережить до конца,
И тяжёлый затасканный быт
Не признать выраженьем лица.

Всё случится, придёт и пройдёт,
И настанут другие лета...

не таким ему виделся год,
Не такой представлялась мечта.

5.08.2019

* * *

День начинается с рифмы,
Взятой случайно, во сне.
Строки проходят сквозь рифы,
Чтоб проявиться во мне,

Словно дорога по свету,
В звуки одетая вдруг...
Хочется ныне поэту
Просто — в овраги, на луг,

В заросли роц вековые,
В сборище звуков моих, —
В завтра — шаги столбовые,
В миг, продолжающий миг...

6.06.2019

МОЙ КИЕВ

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ О РОДНОМ ГОРОДЕ

...Толчком для возникновения решимости высказаться на, вроде бы, избитую, а на самом деле, очень интимную тему родного города — действительно оказалась подаренная мне тетрадь (Арт-записник) «Старий Київ», изданная на редкость красиво, с неожиданными иллюстрациями и подписью: «Майстер книг». Мне захотелось просто вписать туда стихи, в тех местах, которые это позволяли... Надеюсь, что у меня получилось... Негоже кричать о любви — надо просто жить, любя...

Василь Дробот
Киев, 2016

ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Подъёмы, спуски и обрывы,
Ложатся тени косо, криво,
В потёмках стены, тупики,
Дома, скользящие в провалы,
Фрагменты улиц небывалых...
Огромный город у реки
Притих в ночи. Неярким светом
Горит луна. К исходу лета
Прохладно, хоть и ветер стих.
У горизонта не впервые
Нависли тучи дождевые
И — отблеск зарева на них.
Он только притворился спящим
И ждёт, пока рассвет растащит
Громаду тьмы над головой,
И в радостных лучах восхода,
Разбужен юною природой,
Такой же юный и живой,
Ворвётся в утро, в птичье пенье,
Весь в зелени, как будто в пене,
Зарядкой приустанв слегка...

От поворотов, приседаний
У кувыркающихся зданий
Трещат кирпичные бока...
Ну, а пока по кручам тёмным
Движеньем медленным и томным
Туман клубится, как фата,
И застряёт на водостоках,
Зарёй подкрашенный с востока
В непостижимые цвета.

25.08.1985

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Толчком внезапным оборвало сны,
И комната утратила пределы.
Светился воздух, и земля звенела,
И ветром дуло от глухой стены.

И по квартире ветер, как живой,
Ходил, вздыхал, не мог остановиться,
Метались ошалело в небе птицы,
Их крики заглушал собачий вой.

И мы гадали, глядя на часы:
Откуда и зачем такая сила?..
А это рядом смерть людей косила
И нас качала на конце косы.

4.09.1986

КИЕВУ

По времени не ходят вспять.
Всё это будет ложь.
Я не могу тебя объять,
А ты меня берёшь

В свои объятья каждый день,
Как мать — своё дитя,
Вдоль новых стен и старых стен
Несёшь, собой светя.

А я... Я так к тебе привык,
Что даже в забытьи
Словами видит мой язык
Все улицы твои.

И сразу чувствует в любой
То смех, то фальшь, то боль —
живёт тобой, глядит тобой
И говорит тобой.

22.12.1995

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

Иностранцу — бывшему киевлянину

Капелька Родины. Не обязательно
Для возвращения, но для того,
Чтоб согревала вас засветло, затемно —
Светом прощения своего.

И обещания, и понимания —
Всем, что для счастья судьба припасла.
Свет да любовь! Загадайте желание
И не забудьте дождаться тепла.

14.02.2004

ИЗ ДЕТСТВА

Трамваи заезжали в дом
И выезжали из него.
А я смотрел с горы с отцом,
Не понимая ничего:
Вот он заехал. Что теперь?
Куда он дальше по нему?
Как открывает в доме дверь?
Куда глядит, звонит кому?
Запомнил шок до этих пор:
Трамвай, минующий порог...
Доселе жив фуникулёр,
А вот отец дожить не смог.
Доселе снится: через дом
Трамвай несётся в страшный миг,
И я бегу. Бегу с трудом,
Пока хватает сил моих...

10.06.2005

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ПАСТЕРНАКА

А вот и Киев, в гаме шумном
В строках увиденной Земли,
Где, в такт вершинам многодумным,
Уходят в бездну корабли,
Где, вдруг, не погода, а сразу,
Соединяя высь и дол,
Звучит доверчивая фраза:
«Недвижный Днепр, ночной Подол»...

Я снова дома. Эти звуки,
Что привели в строку меня,
Добавили любви и муки,
Надсадно в прошлое маня.

Опять по улицам знакомым
Уводит память из беды —
В пропавший двор и в птичий гомон,
К ручью, в котором нет воды...

06.07.2015

КИЕВ, 1943, КОНЕЦ НОЯБРЯ

Вцепился я в подол...

Арсений Тарковский

А я не помню, как учили
Меня ходить, пришёл в себя
Уже и в ловкости, и в силе:
Здесь — дом пылает, дым клубя.

У клумбы старого вокзала
Навалом — вещи, рядом — мы.
«Отец вернётся, — мать сказала —
Успеем к дому до зимы».

Но ждали долго и глядели,
Как дом горит невдалеке...
«И наш сгорел. Я — в самом деле!» —
Отец вернулся налегке,

И мать заплакала... А мимо
Спешили люди... Шла война,
Пугая нас огнём и дымом,
Как будто наша в ней вина.

07.09.2014

* * *

Пожалуйста, выживи, Киев,
Живи и останься собой!
Река здесь и дали такие,
Такой небосвод голубой,

Что, кажется, с целой планеты
Все краски собрал и черты.
Коль есть воплощение света,
То это, наверное, ты:

Зелёные склоны на кручах,
Зелёные рощи у гор,
Проспекты — бывают ли круче,
И краше на стенах узор?

Не сдайся соседям надменным,
Что братьями были досель,
Прости им и эту измену,
И жадность, и подлую цель!..

26.04.2014

СКЛОНЫ ДНЕПРА

Там — горы, кусты и деревья,
Дорожки, дворы и дома...
Там Киев, нетронутый, древний
Сводил меня в детстве с ума.
Там в дом заезжали трамваи,
И пряталось небо в листву,
Звеневшую, не уставая,
В поклонах небес божеству.
Там тени влюблённых скрывали
От взглядов всевидящих глаз,
Там жизнь получила скрижали
На всякое время и час.

Там честными мы вырастали,
Входили в заботы и в жизнь,
Не то, чтобы люди из стали,
Но души, не знавшие лжи.
А склоны цветут над великой,
Над древней славянской рекой,
И радуют солнечным ликом,
И в душу привносят покой.

11.01.2013

АНДРЕЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Над синим и сонным Подолом...

Рита́лий Засла́вский

Она летит над целым миром,
А над Подолом — только миг,
Но кажется святым и милым
Свидетель стольких бед и лих:

Брусчатка по путям трамвайным,
Трава — до ранта — меж камней,
Громада крана: Вира! Майна!
И флаг, трепещущий на ней...

На самом краешке обрыва,
У предпоследнего столба,
Где встали склоны косо, криво,
Она, прямая, как судьба,

Других путей не выбирая,
Над кручей в небо поплыла...
И кажутся приветом рая
Её живые купола.

2.08.2011

НОЧНОЙ ТРАМВАЙ

Трамвайных рельсов больше нет.
Вокруг — асфальт, брусчатку сняли,
И, после стольких шумных лет,
Об этом шуме память смяли.
Теперь он кажется другим —
Приятным, интересным даже,
Мелькавшим вдоль многоэтажек
Со звоном резким, но благим.
Тогда он вдруг врезлся в тишь,
Будя уснувших и мешая
Уснуть неспящим, их лишая
Углов и снов, и стен, и крыш...
Тряслись деревья во дворах,
Звеня, захлопывались рамы,
И было очень даже странным
Вдруг осознать, что он — не враг.
А мрак дышал ему вдогон,
И ветер дул, и ветки гнулись,
Но поворачивал вагон,
И звук терялся в сетке улиц.
И наступала снова ночь,
Вновь открывались в лето окна.
И дальний звон стихал, не охнув,
И вдалеке катился прочь.

23.11.2010

Гари ЛАЙТ
СОВРЕМЕННЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ ПОЭТЫ

ПЕРЕВОДЫ

ЛЕННАРТ ЛАНД / LENNART LUNDH
(ЧИКАГО)

НЕДЕЛЯ ЗДЕСЬ БЫЛА УЖАСНОЙ

в многогранном значении слова — ужас. Наша пехота при поддержке танков и артиллерии вела уличные бои за каждый дом, продвигаясь к центру города и оттесняя врага к реке с трёх сторон. Казалось бы — это успех, но как много потерь, как много жизней прерваны или разбиты, и не только воинов, но и мирных жителей, от стариков до их внуков. Мы пытались совладать с реалиями этой бойни, применяя все наши знания и опыт на купирование тех мест, где раньше были конечности, и прочих открытых ран, но в эмоциональном смысле, не думаю, что кто-либо из нас когда-нибудь уже придёт в себя, на это у нас практически нет никаких шансов. Вчера, во время короткого затишья между боями, мы с Мари пытались отвлечься, сидя на откиннутом борту нашей санитарной машины, с нашими иглками для вязания и клубками шерсти, как две обычные женщины, находящиеся далеко от дома и от родных, в зыбкое время замершего боя. Этим утром снайпер не промахнулся по Мари. Я потом напишу ещё, когда смогу говорить сквозь слёзы.

ЛЕННИ ДЕЛЛАРОККА / LENNY DELLAROSSA
(ДЕЛРЕЙ, ФЛОРИДА)

БИБЛИОТЕКА ВООБРАЖАЕМЫХ КНИГ

Длинные коридоры, освещённые газовыми лампами.
С каждым шагом глазам открываются книги,
выбравшиеся из-под пыли,
книги, сочинённые ещё не рождёнными мореходами,
жонглёрами ещё из тех времён,
что предшествовали зажжённым звёздам,
книги, созданные внучками мудрых женщин,
сожжённых на кострах.
Какое название выбрать?
Девушка с Крыльями Цвета Лаванды
или Играющий на Скрипке Слон?
Они написаны на языке,
который виден в темноте.
Персонажи этих книг — циркачи на параде алле,
спускающиеся в долины с холмов
тех, что не из этого мира.

Несколько минут, проведённые в этой библиотеке,
длятся годами.
Отречёшься ли ты от всего?
Останешься ли в компании слепого астронома
и чёрной китайской принцессы?

Задержись на скамейке у фонтана,
у которого в изобилии гнездятся птицы.
Никогда не взрослей. Оставайся здесь.

ВСТРЕЧА

Когда завершилась встреча
после всех сигарет и кофе,
пришло время для констатации.
Годами у большинства преобладало
всё то же мнение.
Их выбор был сделан.

Но перед тем как несогласные
смогли жечь дома,
отправить детей в отдалённое селение,
решение хранилось в тайне,
пока город не был отключён
от внешнего мира.

Имели место быть обсуждения —
говорить ли кому-либо, что-либо.
Но в конце концов было решено
не молвить и слова.

СТЕЛЛА ХЕЙЗ / STELLA HAYES
(НЬЮ-ЙОРК)

Гул Стадиона WRIGLEY

На самых искомым трибунах во время дневной игры —
солнце компактно помещено за несущую стену Стадиона Wrigley—
втроем они бурно празднуют бейсбольную удачу

чикагской команды.

Она снова с другим, где-то за радугой,

а затем возвращается к нему.

Она читает что-то существенно важное, литературное

на смартфоне.

Она вовлечена, растворена и потеряна в вечных темах.

Любовь уже в пути. Он неумолимо мечет стрелы.

Её единственно верный бог.

Литература ломает позвонки решительности.

Она читает Гамлета в переводе Пастернака.

Это амбициозно талантливый перевод, порой совершенно

отдаляющийся от оригинала.

На Ютубе — Высоцкий, в перерывах бейсбольного сражения,

эхом творит новое искусство.

Бейсбольный инфилд — красивейшая из всех сцен в Америке.

Вокруг неё стайки детей в командных бейсболках

подбрасывают в воздух бейсбольные мячики.

Тонкость бейсбольных терминов — филигранность науки броска.

Теория игры разыграна на сцене перед всеми.

Без отвода глаз, напрямую.

В бейсболе — лучшее из достижений — вылет за пределы стадиона.

ЖИЛИЩЕ НА РУССКОЙ ГОРКЕ

Наши окна от пола до потолка открывают город без кожуры тревога, Арка Тихого Океана. Днём беспечность тюльпана, ночью чудище. Зависший над Русской горкой, словно плафон лампочки принимающий гостей как кабина лифта.

Немалых размеров стол в столовой как карта чьей-то печальной жизни, замершей в дереве. Мы пили и ели на горке, в тревоге голода с жаждой. Очерченные любовью. Там ночью постель нас иероглифами клеймила.

Мы разобрали в деталях кольца несчастий на нашей коже, словно животные в дикой природе. Лимонное дерево с крупными плодами стояло на страже.

Каждое утро жилище просыпалось в палитре из главного цвета, и в солнечном свете, от сути тюльпана.

Лежишь на пороге с монстрами — в диалоге стал тёмным тюльпан. На горке особый трамвай отстукивал вниз по улице, отрепетировано уверенный в себе. Для меня — окончательно точка.

Изучив пассажиров, живущих сегодняшним днём, опутанных проводами, следящих за ходом времени. Я замолкаю пока что. Спрыгиваю с подножки, поднимаюсь на горку пешком.

О КРАСОТЕ, В ПРАВА СВОИ ВСТУПИВШЕЙ

Она существовала — красота. Существовала в горечи однажды.
В его чертах.

Я кладку камнем заменяю на асфальт.

Который подлежит восстановленью —

По очереди, каждый камень. Тропа зарастает суженьем,
Для пешехода. Вновь рассечена без атмосферы или зелья
без управы. Иду соизмеряя,

Соизмеряя лично для себя, бреду как будто вопреки прогрессу —
Литературе вопреки,
Читаю вновь и вновь, вопреки старым часам с маятником,
вопреки бетонной стене,

Без изначального пути, внезапно — жизнь. Я без корней
Идёт процесс развитий без движенья,

Мы наблюдали расчленение луны,
И то, как она гасла, исчезая

БЛИЖЕ К РИМУ

Ты меня научила — как курицу жизни лишить,
покупая продукты по скидке
в универсаме города Остии, римского порта —
Это не были вовсе делённые римские виллы

Проба съёмных квартир, категории I века,
где делилось с другими ушедшими даже дыханье
в ожидании въезда в иную реальность.
Ждали мы. И в коллекцию падали общие слёзы

на страницы багажных нечитанных книг.
Забывая того, кто остался в Советском Союзе,
ожидая вердикта в суде, что станет смертельным.
Больше краденой жизни.

В начальной школе ты была увлечена
литературой Романтизма, допоздна,
при свете лампы голубой — шнур из стены,
и шкаф, краснодеревщика отрада,

полкоридора занимавший возле спальни твоих родителей, той самой коммуналки, послевоенной, где в советском варианте вашей комнатой была одна из трёх.

Я ощущаю на себе, как ты читаешь и слышишь приближение шагов, тех материнских, что предутренние мысли в твоей постели из гусиного пера прервали

под лестницей, безжалостно ведущей в ещё одну неласковую зиму, уже меня попутно увлекая в тот снег, какого не было ещё.

РАЗМЫВАЯ ЛИНИИ

Утром, когда за окном температура была самой холодной, он прокрадывался вовнутрь, используя ключ запасной, который она для него сотворила. Для них это стало привычкой. Он был осторожным за них обоих. Когда внутренний будильник извлекал её из сновидений. Та из цивилизаций, которая возникала ночью и гибла утром. Всегда он бывал неожиданным. Её зрочки искали фокус, чтобы лицезреть тот его контур, в который она — вспоминает — влюбляясь, столь неподвижно, каждую ночь, покуда заря не входила в возникшее утро всецело. В постель проникая, он в ней ощущал то, что было непреодолимо. Сдвигая тот вес, что ютился в их общем отсутствии чувства отваги. Он молча глядел как её прерываются вздохи, что утром бывают в процессе ухода тех снов, какими делиться не стоит теперь, разве что она делится снами с детьми... Тогда же он вдруг просыпался вне солнечных ритмов, давая возможность ей красть его сон, и это казалось ей в общем полезную жертвой. Так утром нет больше отваги, и вечер приходит размытым.

ТИНКЕР ГРИН / TINKER GREENE

(САН-ФРАНЦИСКО-ЧИКАГО)

Из сборника «Человек по направлению к завершению»

Что я помню о Двадцать Ноль Два (2002)

1

Шато-Фронтенак, Квебек.
Арманьяк два бокала в сумерках
рядом со столом с теми, кто похож на торговцев оружием
а также их пригородных спутниц
Вышколенное поведение официанта
Следы от серебряных и чёрных кошачьих лап на реке
Мы следим за движением грузов
прибывающих в новый мир

2

Мы смотрим взятое напрокат видео о Гималаях.
Жители тамошних деревень зависли над обрывом
и чинят дорогу
ту самую, что считается крышей мира, когда вдруг
звонит телефон.
Мой брат умирает. Я слышу из трубки, как он кричит.
Мы едем сквозь темень в ошеломлённом молчании
чтобы приехать минуты спустя, после того
как всё завершилось, и тело его
завёрнуто в простынь с пятнами крови, он выгнут как ангел
с итальянской картины, изображающей потусторонний мир

СТОРОЖЕВЫЕ КОРАБЛИ

Преддверие Нового года 2002
 Звук ангельской трубы: времён кончина
 Последние покупки в Вест Портале
 отчаянная схватка под конец
 На улицах лучи из солнечного света
 Темнеющее небо словно раскрашено рукою
 Вдали как тени гаснут голоса
 Год обозначен так же само
 с какой бы из сторон не посмотреть
 раскатан в сторону другую

Из сборника «Кем я был»

ГИТАРИСТ БОБА ДИЛАНА

Мне приснилось, что на железнодорожном вокзале я узнал гитариста, несущего несколько струнных инструментов в футлярах, переброшенных через спину, и частично скрытых пальто с капюшоном тёмного цвета. Я приветствовал его криком «ты просто превосходный музыкант!» Мы расплакались оба, внезапно обнявшись.

Я узнал его тогда, и пожалуй не спутал бы снова, пусть его черты лица несколько и весьма обычны. Что его отличает, однако, так это замечательная спонтанность в творчестве.

Его импровизации повисали в воздухе, будто бы они были одолжены у вечности мира.

В каком-то из промежутков этого сна гитарист был приглашён на сцену, чтобы играть вместе с Бобом Диланом. Но это ни в коем случае не было впервые, когда и Боб и я видели этого человека. Его работа бессмертна, но сам он наяву. Тогда где же та вселенная, в которой на его гитаре рвётся струна? Где он входит или выходит из определённого поезда?

ЗАТМЕНИЕ

Шесть дней за рулём пересекая страну
этого никогда не случится
Я стоял в комнате, затоваренной шинными бочками
и кричал
Когда я выхожу на улицу, всё становится как-то яснее
под уколами света
Меня оставили
Я провёл ночь в темноте
с включённым обогревателем
и открытыми глазами
Читая то, чего не Видно.

Из сборника «Ваши Мысли Настоящие»

В НАШЕМ ДОМЕ

Два новоприбывших котёнка: Майя
и Грациэлла. Обе они ещё очень
маленькие, с глазами пустыми как у сиротки Анны.
Этим утром, когда я старался не проснуться
пока котята носились
туда-сюда по коридору, мне приснилось
что на котятах надеты шлемы
и кожаные куртки. У Майи

в груди живёт молния. Порой,
 походкой она напоминает матроса Папая,
 Грациэлла умеет красться как
 пантера, отчаянно драться,
 и затем растворяться
 в сон. Котята борются друг с другом,
 пока обе не начинают визжать как
 поросята. Мы зовём их
 «наши маленькие дорогуши»

ДЖЕРРИ ПЕНДЕРГАСТ / JERRY PENDERGAST (ЧИКАГО)

ПИСЬМО НЕЗНАКОМКЕ

Минувшим вечером
 я сидел на ковре в гостиной
 и смотрел всеобщный киномарафон
 который мерцал на стене
 в этом доме который построил я

Я выхватил пистолет, вскочил на ноги,
 и в это время услышал как скрипнул люк
 Ты выбралась из подполья
 и привлекла меня к себе
 своим кристальным медальоном

Я отложил пистолет
 Сделал ещё один шаг вперёд
 Но ты просочилась к себе в подzemелье
 и закрыла за собой люк

Я бросил взгляд на стену
На сцене пребывал квинтет
Я мерно вторил движениями в такт гитарному соло
Основная вокалистка подошла к микрофону
В её медальоне присутствовал кристалл

Я выключил проектор,
Но образы оставались
Её голос
или это был твой голос
по-прежнему звучит у меня внутри

Я пробовал набирать твой номер
Но провода соединяющие мой город с твоим
Все перерезаны
И единственный пункт проката автомобилей в радиусе 30 миль
разорился всего несколько дней назад
Поблизости от тебя нет
ни железнодорожных станций ни автовокзала

На самом деле это неважно
Даже если бы мои слова тебя достигли
Они бы непременно растворились
прежде чем пробраться вовнутрь

ДЭВИД СИЛВЕРМАН / DAVID SILVERMAN (ЧИКАГО)

О Полной Собственной Беспольности в Помощи Жене по Организации Книжных Полок

Моя жена Лорен затеяла реорганизацию наших книжных полок, будучи удручена тем, что со временем книги позволили себе миграцию со своих означенных мест, какие столь трепетно были выбраны

для них. Романы в легкомысленной компании нон-фикшн, детективы, блуждающие среди мемуаров, инструкции к росту, в гостях у книг по истории, и даже некоторые поэтические сборники, затесавшиеся среди юмористических коллекций, стоящие плотно рядом, будто бы демонстрируя, что так оно и должно быть испокон.

Символизм происходящего не впечатляет мою жену, она профессиональный организатор, она лелеет порядок. Будто бы в её представлении аккуратность может как-то смягчить острые углы, преобладающие в мироздании. Она обнаруживает томик Иехуды Амихая, словно в бутерброде между сборниками эссе Дэвида Седариса и Кэлавина Триллина, возвращая эпического поэта на его означенное законное место между Ахматовой и Эшбери, безусловно, великолепная компания для Амихая.

Не особо переживая, какие книжки должны находиться где, и ощущая желание сделать важное заявление, я объявляю, что «Некоторые стихи содержат в себе юмор. *Некоторые мои стихи*, например». Лорен бросает на меня взгляд, собираясь с мыслями — ей, как профессионалу, необходимо выполнить свою задачу и сберечь моё хрупкое эго, наконец (не сумев окончательно скрыть улыбку) она снисходительно сообщает мне:

«Да, ты действительно смешной, очень смешной парень».

Я задумываюсь, а что собственно она имела в виду, употребив слово «смешной» дважды. Но полагаю, иногда просто необходимо знать, как верно понять полученный комплимент.

Дмитрий ПЕТРОВ СОЛО НА СУДЬБЕ С ОРКЕСТРОМ

Готовится к печати книга Дмитрия Петрова «Соло на судьбе с оркестром. Хроника времён Анатолия Гладилина». Готовится вовремя. Информационные волны смывают события и имена. Стоит, к примеру, видному писателю-иммигранту год-два не бывать в России, не издавать книг, не выступать на вечерах, не мерцать в телевизоре и в Сети, и его забывают. Так вышло с Анатолием Гладилиным — родоначальником «молодой исповедальной прозы», одним из лидеров «шестидесятников».



Его «Хроника времён Виктора Подгурского», опубликованная в журнале «Юность» в конце 1956 года, имела большой резонанс. Писателю было всего 20 лет, и это одно уже смотрелось непривычно для того времени.

Уехав из страны, с середины 70-х он — звезда «западных радиоголосов». А с конца 80-х — частый гость московских редакций и телестудий. Его новые тексты охотно издавали, старые — выпускали вновь. Немало шума наделали книги «Улица генералов», «Тень всадника» и «Жулики, добро пожаловать в Париж».

В 2016-м он перестал бывать в России. В 2018 -м погиб. Однако не растворился в потоке новых событий, имён и названий. Сделать это не дал Дмитрий Петров — автор книги о писателе. Он возвращает Гладилина — человека феерической судьбы — в наш культурный контекст.

Мы публикуем главы из книги, повествующие о том, как писатель готовился к отъезду из СССР и как жил в эмиграции.

ЛЕЗВИЕ

1

Эти дни пролетают мгновенно. И...

«21 апреля в Шереметьево, — вспоминает Анатолий Тихонович через полвека, — провожали меня все, кто только мог. Близкие, друзья... Аксёнов, Жора Садовников, Володя Левин, Ира, Лёвка — художник, с которым у неё был роман...

Конечно, родные брат и сестра — Валька и Галя. Я был, не побоюсь сказать, в чудовищном нервном напряжении. Помню, в дверях аэропорта, которые закрывались за нами, улетающими навсегда из страны, как створки крематория, я, прощаясь с друзьями, всё повторял: «Ребята, у кого машина, возьмите с собой в город Иру и Лёвку. Не оставляйте их здесь». А они хором: «Не беспокойся. Всех доставим куда надо».

* * *

В аэропорту — толпа отъезжающих бывших советских. Какие-то ящики, коробки, чемоданы, мебель, похоже, даже холодильники... Упакованные вещи на таможне вскрывают и досматривают, чтоб потом отправить малой скоростью. Шум, гам, нервы!

С Гладилиным сотрудники вежливы. Объясняют: книги с дарственными надписями не пропустят. Запрещено особым решением Совета министров. Так что либо оставляйте друзьям — пусть везут в Москву, либо вырезайте страницы. Вот лезвие.

И Гладилин под надзором чиновников изымает страницы. И кладёт в портфель. Таможенники наблюдают рутинную процедуру. А писатель режет собственную жизнь. Одна часть — была. Другая — будет. Он зол: кто ждал, что ему устроят эту дичь? И либо поэтому, либо потому, что лезвие туповато — иные страницы (я видел эти книги) — вырезает неровно. А кое-где вообще оставляет. И на что только надеется?

Но вот — последняя ампутация и проверка. И — вот те на! — никто ничего не находит. О книгах с оставленными надписями: Юрий Казаков, Евтушенко, Вознесенский, другие... А на тома старых авторов — Катаева и Эренбурга — вообще не смотрят. Помогают их упаковать. И говорят: ждите — доставим.

Изъятые страницы Толя складывает в конверт, заклеивает и несёт провожающим — друзьям-диссидентам. Те его берут и уверяют: милые его сердцу посвящения через надёжный канал в американском посольстве, по которому они передают на Запад правозащитные документы, ему доставят: «Будь спок: всё получишь через Штаты».

Конверт он не получил никогда. Может, тихо достиг некоего бюрократа, лёг на полку, запылится и отправился в архив? Или был вскрыт и брошен в корзину: что, мол, за бумажки? А, может, вошёл в некую коллекцию? Неведомо.

А пока пассажиров приглашают на посадку.

Перед выходом Гладилин показывает декларации очередному служащему. Тот смотрит на их, потом на их хозяина и тихо спрашивает:

— Вы — однофамилец?

— Что значит — однофамилец?

— Ага, — доходит до чина, — вы тот самый. И в багаже у вас только книги?

— Вспомните Маяковского: «Мне и рубля не накопили строчки...»

Тот мрачно ставит печати: «Зачем уезжаете-то? Зачем? Разве не понимаете, что таких людей у нас скоро вообще не останется?» И возвращает бумаги.

Что это было? Внезапная эмоция? Разыгранное по заданию шоу? Кто знает...

2

А напряг не спадает. Мало ли что выкинут власти в последний момент? А вдруг развернут, посадят и скажут: вылезайте? Отпускает только когда дочка Алла, измотанная предотъездной нервогрёпкой, засыпает.

И вот — Вена. Семейство ступает на землю свободной Европы. После сумрака Москвы здесь сияет солнце, зеленеют деревья. У трапа — солдат с внушительным автоматом.

Гладилин удивлён: зачем такая стража?

Оказывается, террористы пытались напасть на репатриантов. Поэтому их охраняют.

Приятный усач зовёт: «Кто в Израиль, идите ко мне». К нему идут. И каждого он обнимает, целует и сажает в минивэн. А к прочим — без внимания: «Вами займутся».

Гладилину понятны его эмоции. Израиль с огромным трудом устроил выезд евреев из СССР. Он и его семья этим воспользовались. А на родину не едут. Усач их не судит, но в его глазах они — отступники.

Через несколько минут минивэн с завтрашними израильтянами, усач и солдат отбывают из их жизни. А прочие пассажиры рейса Москва–Вена идут к аэропорту. Там бойкий молодой человек по-русски объясняет, что делать: «ждите у стойки багаж. А пока давайте паспорта, я составлю список. Получив багаж, мы покинем аэропорт и отправимся на автобусе в пансион пани Беттины. Там вы будете жить. Есть вопросы?»

Вопросы есть: что дальше?

— А дальше, — любезно поясняет молодой человек, — вами займётся ХИАС — международная организация американских евреев, помогающая эмигрантам из СССР.

Каждому прибывшему из-за железного занавеса ХИАС платит 50 австрийских шиллингов в день. Сопровождающий составляет список новых жителей свободного мира и возвращает им паспорта, вложив в каждый 100 шиллингов — на два дня. «Сегодня и завтра, — поясняет он, — в Австрии праздник. Никто не работает».

— Эти два дня, — рекомендует он, — проведите, гуляя по Вене. О, это красивый город! А послезавтра вас вызовут в ХИАС и дадут деньги.

Формальности позади, и эмигранты ждут чемоданы и сумки из их прежней жизни.

Тут же надпись: Geldwechsel — обмен валюты. И цена долларов, дойчмарок, британских фунтов, швейцарских франков и прочих твёрдых валют в шиллингах.

На Гладилина курсы валют влияют особым образом: он считает: на что жить дальше? Он — глава семьи. С 300 долларов. На Аллу, Машу и себя. Плюс — ещё с 300 шиллингами. При этом на табло курс доллара к шиллингу — 1 к 12. А марки — 1 к 7. Выходит, сумма, выданная семье на два дня, очень скромна. А какие цены в Австрии? На что хватит этих денег? Неведомо. Тратить доллары не станем, — решает он, — это припас.

В зале выдачи багажа стеклянная стена. За ней высокий мужчина машет Анатолию. А в руке держит 7-й номер «Континента» с его — Гладилина — портретом и рассказом «Тигр переходит улицу». Главный редактор Максимов ставит на обложки портреты авторов, чьи тексты в них выходят. На душе становится легче.

Анатолий Гладилин. 60-е годы



Пора на выход с вещами. Машу, Аллу и Анатолия встречает человек с журналом.

— Здравствуйте! С приездом. Меня зовут Джордж Бейли. Господин Максимов послал меня в Вену для переговоров с вами. Вот журнал «Континент». А ещё он просил срочно передать вам деньги — это гонорар. Пересчитайте, здесь тысяча немецких марок.

Все прибывшие уже в автобусе. Сопровождающий торопит Гладилина. Но Джордж что-то говорит ему по-немецки, тот отвечает: «Яаа-яаа», и почтительно произносит: «Простите, забыл. Насчёт вас меня предупреждали. Мистер Бейли доставит вас в отель в центре города. Он оплачен. Auf Wiedersehen! Всего доброго!» И спешит в автобус.

Тот спешит на окраину Вены в пансион пани Беттины. А Бейли везёт Гладилиных в отель «Zum Türken» — «У турок». Не люкс. Но мило. Просторный номер на три кровати.

— Оставьте багаж, — предлагает Бейли, — едем в город.

3

Здесь последует небольшое отступление — чисто формалистское. Приём из тех, что любил Гладилин и применил в повести «Первый день нового года», где показал, как разные герои видят одну и ту же ситуацию. За это, кстати, его ругали критики.

Только что я описал встречу Гладилина и Бейли так, как о ней рассказывал Анатолий Тихонович. А вот что пишет Бейли в книге «Искусство в изгнании».

«С писателем Гладилиным мы познакомились в Вене, когда там приземлился самолёт из Москвы, на котором он только что покинул свою родину — Россию.

Я ждал его и сразу понял, что это он, когда увидел: у ленты выдачи багажа стоит мужчина, один-одинёшенек. Я подошёл.

— Вы Гладилин?

— Да, Гладилин.

— Господин Гладилин, я представляю одно немецкое издательство, — и после нескольких разъясняющих фраз я спросил:

— Сколько книг вы написали?

— Погодите... сколько же их... две три... четыре... да, всего двадцать четыре.*

— Что? Извините, но... вы написали двадцать четыре книги?

— О да — в России издали десять моих книг. Я написал слишком много. Я, дурак, был самонадеян и писал непрерывно. Вы знаете, Советы любят писарчуков, которые ничего не пишут; писателей, которые не писательствуют. Остальных они не любят. Мне надо было поступить, как иные-прочие, которые напишут одну книгу, а остаток жизни гуляют и пьют водку. Вы знаете самый свежий анекдот в Москве? «Если вы хотите за границу, — говорится в нем, — напишите хорошую книгу и — гоп! — вы там». Прямо как я.

Анатолий Гладилин любит шутить над собой. Но и над многими другими вещами. Он — писатель с чувством юмора и использует его и в разговоре, и в текстах. Многие его книги полны сатиры. Но прежде всего он писатель серьёзный. Такой, какого надо принимать совершенно всерьёз. А к тому же исключительно одарённый фельетонист. В 24 года он стал членом Союза советских писателей — самым молодым за всю историю этой организации. Его повсеместно славили как «духовного отца отрицательных героев советской литературы». Поэтому-то по его поводу и били с самого начала тревогу охранители социалистического реализма. Потому-то так тщательно контролировали и придерживали Гладилина. В 1975-м всё это закончилось.

— Теперь я понимаю принцип этой кошмарной системы, — говорит Гладилин. — Одних они ломают, иных — покупают. Они издали десять моих книг, но их все изувечила цензура. И я понял: дальше так нельзя. Я уже не мог молчать или гово-

* Очевидно, отвечая Бейли «двадцать четыре», Гладилин имеет в виду все написанные им тексты, включая и неопубликованные.

ритель полуправду. Я захотел, наконец, писать, ничего не тушуя и не маскируя. А потом, передо мной был моральный пример академика Сахарова, с которым я дружил...

После почти 20 лет писательского труда в советских условиях Гладилин понял: на кону стоит его развитие, его жизнь как автора. «Остаться в Советском Союзе значило бы для меня погибнуть как автору», — говорит крупный сатирик с горечью и на полном серьёзе. Он должен был покинуть Россию, чтобы остаться русским писателем».

4

Но кто он — этот Джордж?

Родом он из Оук-парка — того же пригорода Чикаго, что и Эрнест Хемингуэй и Ричард Бах. Изучал в Колумбийском университете русский язык. Был на войне, наблюдал обе церемонии капитуляции Германии — 7 мая 1945 года в Реймсе и 9 мая в Берлине.

Пробует силы в журналистике и в 1958-м получает премию зарубежного пресс-клуба как лучший обозреватель-международник. После войны много ездит по Европе, а живёт в Германии, общаясь с издателями и эмигрантами из Восточной Европы и СССР.

В 1970-х он едет в Нью-Йорк, чтобы стать редактором журнала «Репортер». Но возвращается в Германию, где с 1982 по 1985 год возглавляет редакцию «Радио Свобода».

Он оставляет наш мир в Мюнхене 12 сентября 2001 года. Некрологи публикуют «Нью-Йорк Таймс» и «Юнайтед Пресс Интернэшнл».

А в 1976-м под восхищённые охи и вздохи очарованных гостей Бейли показывает им Вену. Потом кормит ужином, в, как им показалось, шикарном ресторане. А доставив в отель, объявляет: завтра увидимся. Потолкуем о делах.

И приходит. И говорит о делах. Причём, к удивлению Анатолия — литературных. Выясняется: Джордж представляет издательство «Ульштайн», входящее в концерн Акселя Шпрингера. И уполномочен заключить с ним договор. Какую из неизданных в СССР книг герр автор предложит германским читателям?

А герр так смущённо: увы — сейчас никакую.

Это правда — новых текстов у него нет. Вывозить рукописи из СССР запрещено.

Но перед самым отъездом он передал в голландское посольство папку с неизданными текстами. И ждёт, что по израильским каналам получит их в Европе или Штатах. В зависимости от того, где будет жить.

— О, — улыбается Джордж, — этот путь известен. Не вы первый им пошли. И, надеюсь, не последний... Хорошо бы больше узнать о текстах.

— Думаю, материала книги на две.

— Отлично. — улыбается Бейли, — Заключим договор на одну. А там посмотрим.

Дальше всё как в кино про бизнес. Раз! Джордж достаёт бланк контракта. Два!! Быстро его заполняет. Три!!! Говорит: «Подпишите. 25 процентов от указанной суммы вы получите, когда у вас будет адрес. Остальное — когда рукописи придут в издательство».

И смотрит с ожиданием. Вот, мол, как у нас дела делаются.

«Я, — вспоминает Гладилин, — бегло просматриваю договор. И вижу: за всё про всё мне причитается 20 тысяч дойчмарок. В пересчёте на шиллинги деньги астрономические!»

Кстати, потом ни за одну мою изданную на Западе и в России книгу мне так не платили».

Герр автор доволен. Мистер Бейли тоже. Он уходит. А вскоре звонит телефон: «Толя, сейчас Володя будет с тобой говорить». Это Таня — жена Максимова — из Парижа.

Трубку берёт Максимов и серьёзным, даже, как кажется Гладилину, несколько официальным тоном спрашивает: «Ну? Что ты делаешь? Рассказывай».

Ну что тут расскажешь? Спасибо за «Континент». За гонорар. Были переговоры. И по ироническому хмыканью Максимова понимает: тот уже в курсе — Джордж ему звонил.

— Что ты хочешь делать дальше? — строго спрашивает он, — Куда ехать?

— Вася дал мне адреса университетов в Штатах. Напишу им. А завтра иду в ХИАС.

Максимов — снова строго, будто и не было давней дружбы: «Не надо тебе в Штаты. Там ты потеряешься. Не надо тебе в ХИАС. Иди в Толстовский фонд. Там тебе готовят визу в Париж. Учти, с работой на Западе плохо, но я специально для тебя держу место».

— Вовка, — восклицает благодарный Гладилин, — огромное спасибо! Но я просто должен заехать в ХИАС. Поблагодарить. Это ж они меня вытащили по еврейской линии.

— Ну, как знаешь, — прощается Максимов.

«Нет, не зря, — думает Гладилин, — ещё в самолёте, пролетая над советской границей, я сказал себе: «Забудь, что ты знаменитый писатель. Не надувайся. Не выделяйся. Веди себя как все простые эмигранты».

Но разговор-то показывает, что — нет, не просто. Нет — не как все.

5

И утром он идёт в ХИАС — в огромный зал, набитый беженцами. Взрослые и дети, младенцы в колясках и на горшках. Рёв, шум, скандал...

Что ж, надо терпеть. Сидит и ждёт, когда вызовут.

Но скоро понимает: может стать антисемитом на всю жизнь. Надо что-то делать.

Его никто не вызывает. А столы сотрудниц ХИАСа атакует бурлящая и галдящая толпа. И все рвутся без очереди.

Но в дальнем углу зала есть стол, а за ним дама, к которой никто не лезет. И он идёт туда. Встаёт рядом. Минут через двадцать даме становится интересно: кто это рядом с ней? Почему не скандалит? Не кричит. А просто стоит. И она говорит: «Что вы хотите?»

А Гладилин: «Ничего. Я русский писатель. Сюжеты ищу. Очевидно, мной займётся Толстовский фонд. Но я считаю долгом поблагодарить еврейскую организацию за то, что по этой линии я и моя семья покинули СССР. Вот я сказал «спасибо». И, пожалуй, пойду.

— Подождите-подождите, — вопрошает дама, — А ваша как фамилия?

— Гладилин.

— По-моему, по поводу вас звонили из газеты. Пожалуйста, подождите пару минут.

И убегает.

А, вернувшись, сообщает: «лично вас и прямо сейчас приглашает наш директор».

У директора уютный кабинет и учтивая речь: «Мы вас хорошо понимаем. Но вы же здесь не один, а с женой и дочерью. У них редкая возможность через нашу организацию попасть прямо в Америку. Я бы хотел поговорить с ними лично. Привезите их. Мы вам оплатим такси...».

Почему ж не привезти? И директор объясняет Маше и Алле: уникальный, мол, случай махнуть прямо в Штаты.

А Маша: «Я жена. Как муж решает, так и делаю».

А Гладилин: «У меня много друзей в Москве. Они хотят уехать по еврейской линии, но сидят в отказе. Мы очень ценим работу ХИАСа...»

То есть и формальные требования, и вежливость соблюдены.

6

С этой минуты ХИАС прекращает платить им пособие. А Маша, Алла и Анатолий под трамвайный перезвон следуют по венским улицам в Толстовский фонд.

Эта организация достойна особого рассказа. Её помощь эмигрантам неоценима. В 1938 году дочь Льва Толстого Александра и сестра милосердия Георгиевской общины и общественный деятель Татьяна Шауфусс на ферме Толстой в Коннектикуте создают фонд помощи беженцам из СССР. Александра продаёт имение и едет в Нью-Йорк, где весной 1939 года дома у бывшего посла республики Россия в Северо-Американских Соединённых Штатах Бориса Бахметьева группа друзей учреждает Толстовский фонд.

Его основатели: графиня Софья Панина — в прошлом товарищ министра просвещения Временного правительства; член Петербургской и член-корреспондент Британской академии наук историк Михаил Ростовцев; инженер и пилот компании Сикорского Борис Сергиевский; советник президента Эдгара Гувера доктор Итон Колтон. Тогда же Фонд получает первый взнос — 25 долларов.

«Маленький утлый чёлн — Толстовский Фонд — преодолевая неисчислимыя препятствия, пустился в бушующий океан, в надежде спасти хоть малое число утопающих, — пишет Александра Львовна в статье «Как был создан Толстовский фонд». — Когда у нас с Т. А. Шауфусс* спрашивали, как существует Толстовский Фонд, мы отвечали: «Чудом Божиим».

Одно из таких чудес происходит весной 1941 года. Толстая мечтает о ферме, где могли бы жить и кормиться своим трудом бесприютные русские. Её поддерживает Бахметьев: «Если вы будете заведовать

* Так у А. Л. Толстой: Шауфусс — с одной «с».

фермой, я вложу в это дело первые 5000 долларов». Но купить подходящее имение с постройками за эти деньги невозможно.

Толстая продолжает поиски. Но всё, что она видит, либо слишком дорого, либо слишком плохо. И вот агент предлагает посмотреть очень хорошую, как он говорит, ферму в 30 милях от Нью-Йорка. Цена — 15 000 долларов. Красивый ландшафт. Площадь — 70 акров. Два дома, постройки, колодец — всё в хорошем состоянии. Но 15 000 долларов!

Хозяйка имения богата. Это видная благотворительница Энн Мэри Харкнесс.* Вскоре выясняется: с ней дружен муж американки, посещавшей офис помощи христианским беженцам, где параллельно с Фондом работала Татьяна Шауфусс. Он организует переговоры с владелицей. Тут-то и происходит чудо.

Госпожа Харкнесс жертвует ферму. Фонду. В июле 1941 года её и созданный там детский лагерь торжественно освящают.

Этот великодушный дар — одно из важнейших событий в истории Фонда. Тогда — в 1941-м — никто и вообразить не может огромную роль Фонда в деле помощи беженцам в послевоенной Европе, а фермы — в переезде многих из них в США.

Сперва их сотни. Но в 1951 году европейские проекты Фонда охватывают уже 11500 перемещённых лиц.** А в 1952-м — 40000. Порой на одной только ферме Фонда одновременно живёт до 200 его подопечных. Иногда они видят: Александра, отказавшаяся от титула и требующая, чтоб её звали мисс Толстая, разъезжает на маленьком тракторе.

На ферме откроют старческий дом, чтоб, как говорит одна из участниц проекта, «русские не валялись бы где-то в Нью-Йорке, не говоря по-английски. Пускай у них будет свой дом, чтобы спокойно умирать».

* Энн Мэри Пичардсон Харкнесс (1837–1926) — основательница Фонда Содружества (Commonwealth Foundation) (1918) в Нью-Йорке, финансирующего Стипендии имени Харкнесс, сооружение построек в Университете Св. Эндрю, библиотеки Колумбийского университета и другие проекты.

** Перемещённые лица — люди, вынужденные обстоятельствами покинуть место жительства — перевод англоязычного «displaced person» (DP). Вводится в употребление после Второй мировой войны, когда администрации стран-победительниц обнаруживают в Европе 10 000 000 человек, вывезенных из разных стран. Большинство — на работы. По данным Нюрнбергского трибунала число гражданских лиц, вывезенных из СССР — 4 979 000 человек. Ряд историков считает, что 500 000 из них возвращаться отказались. Сходные данные доступны в материалах советского Управления по репатриации (с разницей в 50 000 человек).

В 1975 приедет Солженицын. Когда он выйдет после беседы с Толстой, к нему обратится сотрудница фермы: «Извините, я задержу вас недолго. Только загляну в глаза».

Солженицын согласится. Потом спросит:

- Что вы увидели?
- Невероятную грусть.

Он согласно кивнёт.

На ферме получают помощь 3500 человек. А через Фонд — только к концу 1953 года — по подсчётам Александры Толстой — около 13000.

Осенью 53-го на «Радио Свобода» она расскажет, что открыты уже 15 офисов Фонда. Два в Германии. Плюс — в Италии, Франции, на Ближнем Востоке, в Бразилии, и, конечно, в Австрии, где много перемещённых лиц, не желавших возвращаться в СССР.

В этот самый офис в Вене и приходят получать пособие Гладилины.

7

Приходят, и эмигрантов там не видят. Только сотрудников. А те, слыша их фамилию, крайне предупредительны. Сообщают: «вашиими французскими бумагами уже занимаются. Это потребует времени. Но, видимо, всё пройдёт успешно. Рады вашему приезду. Заходите чаще».

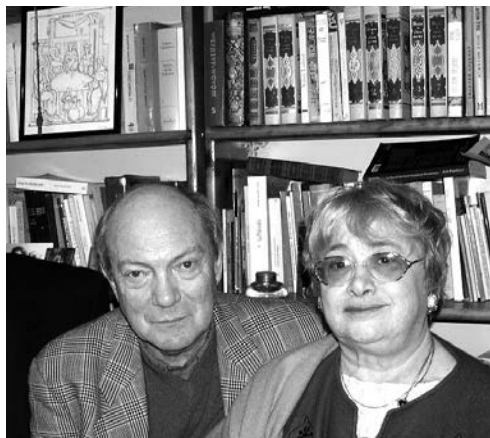
И Гладилины заходят. В первую очередь Маша. «Человек книжный» — так она называет себя и сейчас — находит в фонде то, что не вполне готова была обрести на Западе — великолепную библиотеку, полную книг, абсолютно не доступных большинству жителей страны Советов. Тут и «Всё течёт...» Гроссмана, и «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, и «Технология власти» Авторханова, и «Доктор Живаго» Пастернака, и ещё множество очень разных книг — исторических, публицистических, художественных — любых.

Их можно брать домой. Что Маша и делает.

Другой источник знаний — личная библиотека живущего в Вене активиста Народно-трудового союза, бывшего советского архитектора Михаила Окунева.

А Анатолий в это время решает стратегическую задачу: перемещение семьи из Вены в следующую подходящую точку земного шара.

Ему звонит Игорь Шенфильд — старый польский приятель, издавший в начале 60-х «Дым в глаза» и «Бригантина поднимает паруса».



Анатолий и Мария Гладилыны

Потом судьба восточноевропейского интеллектуала занесла его в Мюнхен — в польскую редакцию «Свободной Европы».

После восклицаний о том, сколько зим и лет прошло с последней встречи, выясняется: в Вену едет сотрудник «Свободы» Юрий Шлиппе. И не просто город посмотреть, а взять интервью у знаменитого прозаика-эмигранта Гладилына.

— Подготовься, — говорит Шенфильд, — дай интервью на уровне. Это важно. Для тебя готова должность в исследовательском центре «Свободы». Я такого не помню.

— Я, наверное, еду в Париж, — отвечает Гладилына. Перед отъездом я обсуждал это с Сахаровым.* И он советовал работать в «Континенте». А Максимов, про это не зная, уже приготовил мне место в журнале.

— Толя, — восклицает Шенфильд, — ты совсем не ориентируешься в здешней жизни! Да, в «Континенте» будет интересно. А на «Свободе» очень приличная зарплата. Её и не сравнить с той, что заплатит Максимов. Тебя обязательно пригласят в Мюнхен. Сам посмотришь и всё решишь. Но учти: пока молчок. Я ничего не говорил.

И впрямь: через пару дней приезжает Шлиппе — аккуратный молодой человек, германский славист и с утра пораньше является с магнитофоном в отель Гладилына. И тот, отпустив Аллу и Машу гулять, работает с ним до вечера. Шлиппе неплохо знает советскую литературу, а если ошибается, Гладилына его поправляет. Они наговаривают четыре здоровые катушки, и гость, довольный, спешит на поезд.

Но спохватывается: «Чуть не забыл! Ваш гонорар». И достаёт конверт с марками.

Они очень к месту. Хотя и на деньги, что выдаёт Толстовский фонд, можно жить.

* Друг Гладилына — советский оппозиционер академик Андрей Дмитриевич Сахаров.

Кстати, у жильцов пани Беттины расходов меньше. Как-то Анатолий и Маша заглядывают в её пансион — трехэтажную «коммуналку», где в каждой комнатке — по семье, а в центре — дымная кухня, где к каждой плите очередь. Обстановка советская: жареная рыба шипит на плите. Два еврея играют в шахматы. Вбегают девица:

— Дядя Лёлик, почему ваша рыба так долго жарится?

— Это такая рыба, Элечка. Её надо жарить долго. Тогда она вкусней.

Здесьняя публика пестра: от интеллектуалов до сомнительных типов. И все мечтают об Америке. Вена для них перевалочный пункт. Потом их везут в Италию, а там ХИАС решает: кого пустить в Штаты, а кого — нет. Денег им всегда не хватает. И ушлые ребята везут из Союза товар на продажу: часы, ножи, бинокли, всякие штучки-дрючки, на которые, как им кажется, есть спрос. И при случае дёшево продают либо на блошином рынке, либо хозяйке. А уж эта опытная дама знает, куда и что пристроить.

Она сделает на эмигрантах состояние. Жилец — знаменитый художник Олег Целков за какие-то услуги подарит ей свои рисунки и продаст за гроши пару картин. Через несколько лет работы Целкова будут задорого рвать с руками. Беттина не прогадает.

А сейчас она, понятно, сотрудничает со спецслужбами Штатов и Израиля. И может давать информацию всем разведкам мира, включая советскую, если ей за это заплатят.

Но это не тревожит её жильцов. У них впереди Америка.

Конечно, еда на рынке дешевле. Но в отеле негде готовить. Поэтому семейство Гладилиных питается в столовых. Социал-демократы канцлера Бруно Крайского устраивают целую сеть. Там можно очень прилично обедать и ужинать по доступным ценам. Маше и Алле очень нравятся овощные диетические супы-пюре.

Но порой, проходя по коридорам «Zum Türken», они чувствуют призывный дух горячего борща. Его не спутать ни с чем. Он витает в кулуарах как дым отечества. Здесь живёт ещё несколько семей эмигрантов из Союза и наверняка это их кулинарные изыски.

— У всех горячая еда, — печально думает Гладилин, — А мы опять ужинаем всухомятку. Вот бы чайку...

Да он бы и рад! Но не может взять в толк: как соседи варят борщ, если у него от сети работает только электробритва? Соотечественники

с готовностью раскрывают секрет — всё проще простого: надо снять пластиковую крышку с розетки и подключить штепсель кипятильника прямо к проводам. А кипятильник — один из первейших бытовых электроприборов советского человека 70-х годов — у Гладилина есть.

Эта штука компактна, проста и по-своему красива. Если кто не помнит, так состоит она из кольца нагревательного элемента — никелированной трубки, сделанной из сплава алюминия с латунью, медью или железом, пластиковой ручки-колодки, провода с вилкой штепселя и зацепа, нужного, чтоб закрепить прибор в сосуде.

Как-то вечером, вновь пройдя сквозь благоухание борща, Гладилин решает — снимает крышку розетки и нежно вводит штепсель в разъём. Акт, не лишённый отваги и сексуальности, завершается подобием оргазмического взрыва: во всём отеле гаснет свет. В полной тьме кипятильник извлекается и укрывается в чемодан. Персонал споро налаживает освещение. Старший портье — не в первый, видать, уже раз со строгим лицом обходит комнаты. Деликатно стучит. А когда открывают, с укоризной глядит на жильцов. Знает: они не говорят по-немецки, а он по-русски знает только «руки вверх, товарищ»...

На этом опыты с электротоком завершаются и жизнь входит в прежнюю колею.

Бережливый Гладилин, до сих пор не имеющий постоянного места жительства, куда может прийти гонорар от Шпрингера, по-прежнему старается не шиковать. А семнадцатилетняя Алла спрашивает: «Папа, почему ты покупаешь апельсины для меня и для мамы, а сам их не ешь? Ты хочешь и здесь жить как там?»

Он всё ещё в плену советских привычек: бывало в Москве тоже покупал апельсины для Аллы — считал: ребёнку нужны витамины, на ребёнке нельзя экономить...

9

Апельсины везут в Европу из страны, куда, как считается, спешат эмигранты.

Тех из них, что едут Израиль, прямо из аэропорта под хорошей охраной везут за город в старый монастырь, превращённый в комфортабельный центр репатриации. Там всё бесплатно, дружелюбная атмосфера, занятия по истории Израиля и ивриту, а также круглосуточная защита полиции. На вышках стрелки с автоматами.

Арабские террористы — не шутка. Поэтому посетителей в монастырь не пускают. А евреев не пускают за ворота и стараются побыстрее отправить в Землю обетованную.

Точно не известно, но, похоже, единственным не израильским журналистом, допущенным в этот центр, становится Гладилин. Но это уже через несколько лет — в пору его работы на «Свободе». Он узнает, что в Вену прибывает его друг — долго сидящий в отказе автор сценария первых семи серий легендарного советского мультфильма «Ну, погоди!», видный московский сатирик Феликс Кандель — псевдоним Камов — с семьёй. Узнает и то, что к самолёту его не пустят. И использует свои к тому времени уже довольно серьёзные связи для встречи с израильским чиновником, встречающим самолёт.

Свидание пройдёт в кафе. Чиновник объяснит: он уважает американскую прессу, но помочь не может. Он высоко ценит Канделя как сиониста и литератора, но правила есть правила. Это вопрос безопасности. Просит: «предъявите пресс-карту, я должен сообщить, с кем встречался». Гладилин достанет удостоверение сотрудника «Свободы». Собеседник улыбнётся: «А я смотрю — знакомое лицо. Я читал ваши книги... Не обещаю, но, возможно, устрою вам пропуск в лагерь. Дайте телефон».

И на следующий день после приезда Феликса Гладилина подвозят к монастырю. Солдат изучает его пресс-карту, открывает ворота, и машина въезжает на зелёный газон. Через несколько минут старые друзья и соседи сидят в светлом холле. Анатолий записывает рассказ усталого, но весёлого Феликса. Но сперва вручает ему «Континент» с изданным там его рассказом и гонорар. Деньги за интервью переведут в Израиль.

Они говорят полтора часа. За это время Гладилин успевает и сделать ударный эксклюзивный материал, и дать Канделю несколько советов.

— Тебя как видного сиониста, участника демонстраций отказников, хорошо встретят в Израиле. Но это, поверь, будет продолжаться один месяц. Потом ты станешь обычным эмигрантом. Так что ищи работу. Скажем, на «Голосе Израиля».

— Но я не умею работать на радио, — растерянно отвечает Феликс.

— А я разве умел? А вот видишь — таскаюсь с этой хреновиной — Гладилин показывает на диктофон — по всей Европе.

Потом Маша будет пилить его за то, что не расспросил Феликса про её подругу Тамару, про его сыновей Женьку и Лёшу. Увы, на это не было времени. Но довольно скоро Гладилин услышит голос Канделя

в эфире. И узнает, что один из его сыновей стал успешным хирургом, а другой — видным израильским экономистом.

10

Вернёмся в Вену 1976 года. Виза во Францию готова. Но Максимов предлагает сделать по пути пару остановок — в Мюнхене и Франкфурте.

19 мая ранний поезд по европейским горам и долам несёт их в Мюнхен. И уже в час дня их пожитки выносят из вагона два американских джентльмена. Один — Джон Лодейзен — знаком Гладилину по Москве. Бывший секретарь посольства США, он давал приёмы писательской и театральной элите. А сейчас — рулит Русской службой «Свободы».

Второй, улыбаясь, сторожит на перроне чемоданы.

— Джон, — Гладилин кивком указывает на него Лойдезену, — это твой помощник?

Тот бледнеет.

— Я вас не познакомил!? Френсис Роналдс — глава «Свободы» и «Свободной Европы»...

Аллу и Машу везут в отель (по классу он на два порядка выше того, где они жили в Вене). А Гладилина — на радио. И усаживают к микрофону. Интервью. Ещё интервью. Речь перед сотрудниками. И так — два дня: включая выступления в польской, венгерской и чехословацкой редакциях — с утра до вечера.

А вечером — приёмы. Сперва у Лодейзена, куда кроме Гладилиных и Роналдсов приходит Александр Галич с Ангелиной Николаевной. Весь вечер они рассказывают забавные московские истории. Ни слова о делах. Впрочем, Френсис спрашивает Джона, так, чтоб Анатолий слышал: «Значит, не будем снимать Гладилину квартиру в Мюнхене?» Анатолий молчит. Обращаются-то не к нему.

Другой вечер устраивает Игорь Шенфильд. Он упорно расписывает плюсы службы в Мюнхене. Впрочем — без особой надежды на успех. Видимо, американцы уже знают о договорённости с «Континентом». Но сообщают: «Ты произвёл сильное впечатление. Поэтому в Париже с тобой свяжется глава нашего бюро Виктор Ризер. Очень порядочный человек. Наладь с ним отношения, не пожалеешь».

И расшифровывает загадочную фразу про квартиру в Мюнхене: «Если б ты меня послушал, здесь тебе, кроме высокой зарплаты, по-

лагалась бы бесплатная квартира. А коммунальные счета оплачивало бы радио. А от Ризера дополнительных льгот не жди».

Опытный специалист Шенфильд как в воду глядел. Через два года, когда будет решаться вопрос об оформлении Гладилена в штат парижского бюро «Свободы», так оно всё и будет. Но это — потом, потом, потом...

А пока с немалым гонораром они едут во Франкфурт.

11

Здесь всё не так, как в Баварии. Гладилена принимают лидеры НТС. Он мало знает об этой организации. А, меж тем, с ней всё очень непросто. Не так много есть в истории и мире политических структур, которые председатель КГБ, затем Генсек Андропов назвал бы «самыми опасными врагами советской власти». До того боялись НТС советские вожди. И — само-собой — яростно с ним боролись и усердно клеймили.

Пишут об НТС в СССР много. Помню, в советских журналах злоешие очерки с фото обложек «Граней» и «Посева» и рассказами о диких нравах и коварных планах штабов контрреволюции. И заголовки им подстать: «Осиное гнездо», «Клубок змей», «Бешеные псы»... Стоит ли удивляться, что они будят особый интерес к НТС как у некоторых советских, так и у бывших советских и вовсе антисоветских граждан.

Так, через два года после высылки из СССР — в 1976 — в Союз вступает Александр Галич. С соблюдением всех ритуальных норм — зачитыванием и сожжением обязательства и т.д. Он хочет написать книгу о борьбе НТС и КГБ. Но не напишет.

Пройдут годы, и задачи Союза, созданного в 1930 году в Белграде для борьбы с советской властью и её свержения, осуществляются. Причём при его участии. Хоть и не главным. А пока члены НТС формируют в СССР подпольные группы, тайно перевозят запретные книги, журналы «Посев» и «Грани», газету «За Россию», листовки. Нередко это кончается тюрьмой или смертью. Тем не менее, несмотря на провалы, они продолжают издавать и доставлять в СССР периодику и книги.

Тут нам более всего любопытно издательство «Посев». Ведь это оно, как мы помним, выпускает в 1972 году книгу Гладилена «Прогноз на завтра», отвергнутую в СССР.

А пока главный редактор «Континента» Максимов говорит: хорошо, «Посев» издал твой «Прогноз на завтра». А почему не перевести его на французский и немецкий?

Что ж — можно. Гладилин вспоминает: «руководители НТС беседовали со мной индивидуально. И, рассказывая о своём видении положения в СССР, несли жуткую околесицу. Приятным исключением был Лев Рар, занимавшийся издательским делом. Когда он привёл нас на склад, мы увидели сотни томов запрещённой в СССР литературы. И час оттуда не выходили. Листали книги, рассматривали обложки... Маша взмолилась:

— Можно взять какую-нибудь книгу кроме Толиного «Прогноза»?

— Берите всё, что увезёте. — смеётся Рар. Маша, похоже, влюбляется в него. Но, увы, взять невозможно и сотой доли богатств, столь щедро предложенных Раром».

Московские кофры до отказа набиты, а Гладилиным уже пора отправляться. И 22 мая пожитки недавних советских жителей, выбравших свободу, друзья вносят в их спальное купе. Но что это? Они в изумлении:

— Люкс? Вы платите такие деньги?!

— Перед Парижем им надо выспаться, — указывает Гладилин на Аллу и Машу.

И он прав. Ровно в семь утра поезд не спеша швартуется у перрона Восточного вокзала. У вагона — Максимов, Владимир Марамзин — составитель самиздатского пятитомника Бродского, приговорённый за это в Ленинграде к 5 годам условно и отпущенный на Запад, и Евгений Терновский — переводчик и сотрудник «Континента».

На двух такси сквозь потоки утреннего солнца они мчатся к Максимовым по пустынным и прекрасным парижским улицам, впитывая их красоту, не зная, что эта сказочная погода — предвестник дикой жары, что затопит Францию в июне 1976 года.

Первый знакомый человек, которого Гладилины видят в Париже после Максимова, Марамзина и Терновского — Татьяна, жена Макси-

мова. Маша и Таня будут очень близки. О, как приятно секретничать, прогуливаясь по авеню Фош с коляской новорождённой младшей Таниной дочки Оли...

Поначалу Гладилиных селят рядом с домом Максимова — на рю Лористон — у Триумфальной арки, в двух шагах от Елисейских Полей в шестикомнатной квартире эмигрантов первой волны — Натальи и Александра Ниссенов. Прежде, пока не сняли своё жильё, здесь останавливались прибывшие из Союза Виктор и Галина Некрасовы, другие эмигранты.

С первых же дней приходится заняться обустройством на новом месте. Надо идти в Толстовский фонд, где вновь прибывшим полгода платят пособие. Затем отправляться с визитом вежливости в «Русскую мысль». И, конечно, к Ризеру — в парижское бюро «Свободы».

Милейшая и добрейшая Наталья Михайловна Ниссен помогает Маше во всех мелочах: читает в «Фигаро» объявления о сдаче квартир, ездит их смотреть. Вразумляет. Когда Гладилин совсем уже было решает снять апартамент, объясняет: «Толя, сегодня выходной. Поэтому здесь тихо. Но окна выходят на школьный двор. Вообразите, какой там шум и визг во время перемен».

Узнав, что у него есть приличная сумма в марках, Наталья Михайловна советует: «Не меняйте их на франки. Их вам дадут в Толстовском фонде. Ими же будет платить «Свобода». А марки ещё пригодятся. Вот увидите. Вы в Европе надолго».

В «Русской мысли» — её не минует ни один покинувший Союз творческий человек — Гладилин знакомится с главным редактором, княжной Зинаидой Шаховской — важной фигурой в эмиграции. А беседу с ним для этой авторитетнейшей газеты делает Кирилл Померанцев — «крепкий старик», патриарх, друг Георгия Иванова и Ирины Одоевцевой.

Он говорит: летом на велосипеде ездю в Ниццу. Но голова уже не та. Делая беседу, он путается, повторяет вопросы... И — вот незадача — вскоре у Ниссенов к аппарату просят Гладилина. Телефонировать Померанцев: «Не знаю, куда я дел интервью! Не могу найти».

Гладилин просит: «Бога ради не волнуйтесь. Я напишу то, что говорил. Сделаю статью и заброшу в «Русскую мысль».

И два дня пишет. Пёрышком. Перед тем месяц только говорил в микрофон. Думал, писать разучился. Но справляется: «ни один настоящий русский писатель не уедет... если у него есть возможность

хоть изредка издавать свои книги в своей стране. <...>Уезжают только те, кто больше ничего не может сделать в своей стране».

В парижское бюро «Свободы» на беседу с Виктором Ризером он идёт с этой статьёй. Тот читает. Говорит: пожалуйста на запись — к звукооператору Толе Шагиняну: «Этот текст — ваш первый скрипт. Запись сегодня же будет в Мюнхене».*

14

Витольд Ризер-Шиманский, которого многие на радио зовут Виктором Владимировичем, как и Бейли, достоин короткого, но особого рассказа.

Отец его поляк, мать — русская. В ходе Польской операции РККА в 1939 году он оказывается в СССР, а во время Великой Отечественной записывается в армию польского генерала Владислава Андерса, формируемую в Казахстане из граждан ныне занятой немцами Польши. В 1942-м её перебазировывают в Иран, а потом в Палестину и Европу.

Ризер высаживается в Италии, дерётся в кровавой битве за Монте-кассино, и как герой этого страшного сражения получает британское гражданство. Затем живёт в Италии, Франции и Албании, где женится на красавице-черкеске Азе.

Но судьба ведёт его в Мюнхен, где он выступает в эфире «Радио Освобождение». У него редкий дар лингвиста — в кратчайшие сроки осваивать язык любой страны. Не любит только немецкий, уверяя, что его не знает.

На радио о нём ходит анекдот: в Мюнхене международный приём, Ризер на нём нарасхват: тут переводит с русского на итальянский, там с албанского на французский. Подходит официант-немец с подносом напитков и спрашивает: «воллен зи битте нохайн глас?» Витольд-Виктор беспомощно озирается: «Что он говорит? Что говорит?»

Есть и другая история: в Мюнхен приезжает новый сотрудник Леонид Владимиров, Ризер приглашает его в итальянскую остерию, предупредив: «живу здесь десять лет, но немецкого не знаю».

— И как же обходитесь? — спрашивает Владимиров.

— Вот как-то так, — говорит Ризер и обсуждает с метрдотелем меню по-итальянски.

* Эта статья выйдет в «Русской мысли» 10.06.1976 года в № 3107.

- А дома на каком языке разговариваете?
- С Азой? Только по-албански!

Владеет он и болгарским.

После Мюнхена он работает в корпункте в Лондоне, а потом пересекает Ла-Манш, чтобы возглавить Парижское бюро «Свободы». Где и встречает нового эмигранта из СССР Анатолия Гладилена, и в свой черёд знакомит его с бывшим ленинградским актёром и чтецом, а на «Свободе» звукорежиссёром Анатолием Шагиняном. Они проработают вместе 12 лет, и Шагинян спустя примерно три десятилетия появится в романе Гладилена «Меня убил скотина Пелл» под именем Анатолия Шафранова.

После записи Ризер приглашает Гладилена выпить кофе. Они весело беседуют. Шеф парижского бюро нравится Анатолию все больше. Корректный, внимательный, вежливый, непринуждённо избегающий начальственного тона. Доверительно сообщает, что теперь понимает, почему Мюнхен так настойчиво рекомендует ему Гладилена. Предлагает: приходите каждую неделю с новой статьёй. Анатолий соглашается.

Прежде, чем проститься, Ризер ведёт новичка к некой серьёзной даме. Та открывает книгу: распишитесь. И выдаёт чек: 600 франков — гонорар за выступление.

Вот это да! Только что Толстовский фонд выдал 1800 франков на июнь. А тут — 600 за одно выступление...

Гладилин выходит на авеню Рапп.

Начинается новая — совершенно не похожая на прежнюю — жизнь. На французской волне.



«...Я ИХ ПРИБЬЮ ДИВАНОМ!»

1

Жизнь Гладилина в эмиграции складывается удачно, но не сказать, что легко. Вечные командировки, бесконечные интервью с эмигрантами, местными звёздами политики и искусства; чтение советской прессы; обзоры культурной жизни в СССР; редакционная рутинa, а также, конечно, быт — от дружеских посиделок до интриг.

Понятно, журналистика и связанные с ней заботы едят массу времени и сил — мешают писательству. Но не безнадежно. Ведь и в Союзе он работал в газетах и «Фитиле», и это мешало писать прозу. Но он справлялся. Так и здесь, трудясь на «Свободе», сочиняя статьи, он не перестаёт ощущать себя человеком литературы.

При этом яркость и разнообразие впечатлений так обильны и милы, что он возвращается к своему любимому жанру — очерку. Причём в исходном значении этого слова — художественный набросок. Французы зовут его *laetude*, англичане — *sketch*. Гладилин мало-помалу осваивает эти языки, и вот уже может объясниться с соседом, клерком, портье; хозяином снятого домика; офицером EDSR — здешней ГАИ...

Их он и делает героями этюдов и скетчей. Как и исторические эпизоды, шоссе, ландшафты, перлы культуры, курьёзы, обычаи и образы жизни европейцев.

Автор — не местный. Он путешественник, искатель и бытописатель.

В жизни и общении сдержан. Что называется, дозирует эмоции. Но человек прямой — не прячет ни злость, ни презрение. Скандалам на словах предпочитает действие. Бокс и уличная школа не прошли даром — он может отстоять себя. И не только в кулачном бою.

Не прячет он и радость, и восторг. Но добавляет в них — и в жизни, и в текстах — дозу иронии. Даёт понять: да-да, я знаю, знаю — мир дик и прекрасен разом. В нём смешан кошмар с блаженством. И неведомо, где ты окажешься через миг. Я готов к его подвохам, но считаю забавным. И даже когда он меня радует, говорю об этом чуть посмеиваясь.

5 апреля 1983 года Франция высылает 45 советских дипломатов и двух журналистов. Всего в том году Европу не по своей воле покидают 80 сотрудников посольств, торгпредств и иных советских структур. Причина — провал разведсети, «засвеченной» сотрудником КГБ Владимиром Ветровым* — 250 агентов, работавших под дипломатическим прикрытием.

Запад изумлён масштабами советского шпионажа.

В августе «Новое русское слово» начинает печатать повесть Гладилина «ФССР. Французская Советская Социалистическая Республика». Речь там идёт о советских спецслужбах, оккупации Франции и её присоединении к Союзу.

В июле 1985-го убежища в Великобритании просит разведчик Олег Гордиевский. Он сообщает о 31 агенте, действующем под дипломатическим и журналистским прикрытием. Их высылают, а «ФССР» выходит в Штатах отдельной книгой.

В промежутке — в июне 1984-го — президент Франции Франсуа Миттеран навещает престарелого Константина Черненко, сменившего покойного Леонида Брежнева.

— Мы за продолжение сотрудничества... за его развитие, — говорит седой вождь.

— Надо встречаться всегда, когда есть что сказать друг другу. А у Франции и СССР есть что сказать друг другу. Будущее покажет, насколько результативны наши переговоры. Основы их достаточно солидны, чтобы рассчитывать, что последствия будут полезны, — отвечает президент.

И в подтверждение своих слов на обеде в Кремле поднимает тост за здоровье друга Гладилина академика Сахарова, сосланного в Горький,** напоминая, что в отношениях Востока и Запада многое зависит от положения академика и соблюдения прав человека.

* Ветров В. И. (1932–1984) — сотрудник управления «Г» (научно-техническая разведка) КГБ СССР. Работал в посольствах в Канаде и во Франции. В 1981 по своей инициативе, которую объяснял идейными мотивами, сотрудничал со спецслужбами Франции, передал им тысячи секретных документов, обрушив систему промышленной разведки СССР. В 1983 был раскрыт и расстрелян.

** Ныне — Нижний Новгород.

Также он передаёт хозяину Кремля «Список Миттерана» — имена шести человек, которых он просит выпустить на Запад. Среди них Елизавета Анатольевна Гладилина и Ирина Алексеевна Суренкова — дочь писателя и её мама.

Вот краткое суждение Марии Гладилиной о четверти века общения с Ириной во Франции. Она не вдаётся в семейные проблемы. Но там есть слова, которые стоит повторить: «Она жила по своим законам... Ира была свобододлюбива. Больше того, она была свободна. Свободный человек. И после двадцати пяти лет за границей — она не изменилась. А уж как интересно с ней было!.. Мне её очень не хватает»...

Говорят: время лечит. Так-то оно так. Но общение жены Гладилина и героини его долгого любовного романа вовсе не было простым. Напротив — полным эмоций и страстей.

Припомним: 21 апреля 1976 года в аэропорту «Шереметьево» покидающий Союз Гладилин прощается с Ирой и её поклонником, художником Львом Эгинбургом. Кто-то везёт их в Москву, а Анатолий, Маша и Алла летят в Вену. При этом, несмотря на волнение — куда летим? что с нами будет? как пойдёт в западной неизвестности? — на душе у Маши покой: теперь Толя вдали от всех беззаконниц. И от Иры в том числе.

Но почта исправно доставляет письма из Парижа в Москву и обратно; телефон работает, да и франко-советские гости нет-нет, да просунут сквозь железный занавес записку-другую. А то и документ. Например — приглашение посетить Францию.

Его Ирина получает в 1977-м. Конечно, не от Гладилина — это безнадежно — а от его друзей-французов. Надежды на то, что её выпустят, почти нет. Но попробовать стоит. И, как Анатолий расскажет позже, органы, зная, кто она, разыгрывают любопытную партию — в ОВИРе ей говорят: езжайте. И она на три месяца едет. В Париж.

В октябре 1978-го Анатолий встречает её на Восточном вокзале. Как и для большинства советских, никогда не покидавших край родной навек любимый, Франция для Иры разом и открытие, и сказка. Дама начитанная, гуляя, она узнаёт бульвары, улицы, сады, аббатства и дворцы, знакомые по книгам, от души наслаждаясь узнаванием, музеями, лавками, вещами, что ей по вкусу...

«А я, — вспоминает Гладилин, — тогда, увы, впервые вижу, что у неё проблемы со здоровьем. Поэтому беру недельный отпуск, и мы едем в Бретань, в прибрежный городок Трибёрден, зимой абсолютно пу-

стой». Там, на севере, в департаменте Côtes-d'Armor, чьё название значит Берег доспехов, но созвучно Côte de l'Amour — Берег любви, они в полном покое и только вдвоём. В очаровании подметённых ветром пляжей и стылых скал.

Но скоро новый год, и они спешат в Париж, где празднуют его с Машей и большой шумной компанией в «Музее современного русского искусства в изгнании» в Монжероне.

3

Его создал переводчик и хозяин издательства «Третья волна», коллекционер современного искусства и организатор Бульдозерной выставки Александр Глезер, «выдавленный» из СССР в 1976-м. Свой музей он открывает в «русском замке» Мулен де Санлис в 17 километрах к юго-востоку от Елисейских полей. Это здание, известное как место свиданий короля Генриха IV, ещё в 20-х годах стало приютом русских беглецов.

После Второй мировой войны Толстовский фонд устраивает там детский дом. Потом какое-то время здание пустует. А в 70-х Глезер открывает там музей. Ему удаётся вывезти из Москвы 80 из 500 картин своей коллекции и сделать их основой музейного фонда.

24 января 1976 года, пока Гладилины ещё в Москве, он проводит там выставку известных и гонимых в СССР Анатолия Брусиловского, Николая Вечтомова, Анатолия Зверева, Валентины Кропивницкой, Оскара Рабина и других звёзд андеграунда. Там-то и встречает новый 1979 год весёлая компания эмигрантов.

Меж тем три радостных месяца, отпущенных Ире на Париж советской властью, истекают. Ну да. И им пора прощаться. На Gare de L'Est злодеи-поезда готовы лязгнуть и умчаться. Это сейчас они трогаются бесшумно. А тогда скрежетали, как душа Гладилина, распахивающего по полкам чемоданы, на ходу спрыгивающего на перрон, успев увидеть в окне Иру. В последний раз? Он не знает. Но боится: разлука их обоих съест, тоска с костями сглохнет. Привет московскому доктору Юрию Живаго.

Потом приходят едкие мысли: зачем её ко мне пустили? Чтобы показать, что я оставил в Москве? Смешно, ей-богу.

А ещё через три месяца он узнаёт: Ира беременна. Да. Точно. Она уверена. Как? А вот так. Когда? А вот тогда. В тиши. На Côté d'Armor.

Итак, он — будущий отец. Причём в ситуации крайне неудобной — снова между ними города... Допустим, это неизбежно. Но как же Маша? Маше он ничего не говорит.

А Ире с okazиями шлёт деньги — помогает купить квартиру в кооперативе, что в Ясенево строит МГУ.

И вот 21 сентября 1979 года в мир приходит вторая дочка Гладилина — Лиза. Он узнаёт об этом по телефону. И говорит Маше. Что творится на бульваре Понятовского? Об этом промолчу. Но она говорит мне: «тогда это — самый тяжкий день в моей жизни».

Почта несёт в Париж метрики. Гладилин официально признает отцовство. Девочка становится гражданкой Франции. А в Москве Ира идёт регистрировать младенца.

В ЗАГСе — обычные вопросы: фамилия, имя, отчество? Такие-то. А отца? Такие-то. Чиновница бледнеет, убегает, а вернувшись, говорит:

— Отца вписать не могу. Ставим прочерк.

— Нет! — отвечает Ира. Встаёт и уходит.

Её приглашают вновь. И опять:

— Ну, не можем мы вписать фамилию отца. Ну, поймите. Вы же знаете почему.

— А вы — не знаете, кем он был в Союзе? Что глаза опустили? Не читали «Юность»?

Её снова и снова зовут в ЗАГС. И дама с бронебойным лицом твердит:

— Запишем Лизе вашу фамилию.

— Нет. И прочерк в графе «отец» не будет.

Коса находит на камень. И так — восемь месяцев. Пока Ире не выдают Лизино свидетельство о рождении, где в графе «отец» значится: Гладилин Анатолий Тихонович. И она не по-детски радуется победе.

О чём и сообщает отцу. С ним они говорят по телефону и переписываются:

«...Обещала написать про Лизку. Она уже большая. Очень кроткая. Т.е. может повопить и побезобразничать, очень любит плевать и пихаться ногами, но вообще очень покладистая и каждое моё появление у своей кровати считает праздником, так что её делается очень жалко. <...>Больше всего любит ле-

тать как пчёлка. Это так у нас называется, когда я её беру под мышки и поднимаю высоко над головой, а она держится горизонтально и ещё руки разводит в стороны».

«Если я её уложила, погладила по головке и потушила свет, то, даже если ей не спится, она не кричит, не плачет, а молча лежит с открытыми глазами. ...От этой картины сердце разрывается. Но не думай, что она какая-то пришибленная, она... развивается даже быстрее, чем положено. Пишу тебе, и какое-то нехорошее чувство — нельзя так писать про ребёнка, ведь так всё хрупко, и её сон, и её здоровье. Не дай Бог что-нибудь!..»

«...Мы стали такие толстые и здоровые, что нам уже маловаты резиновые штанишки* и хотелось бы ещё побольше размером, штуки две-три. Ещё хорошо бы крем «Сетавлон»... Изодня в день я им не пользуюсь, потому что экономлю, но, когда у неё раздражение, он — единственное, что помогает. И ещё — регулярно посылай мне ваш аспирин, он на меня действует потрясающе, я уже который раз начинаю температуруить, принимаю его — и снова почти здорова...».

«...Про твою любимую Лизку. Очень любит купаться... Сначала нам страшно, потом мы привыкаем, и минут через пять на физиономии такая отвага, будто она собралась грудью прикрыть вражеский дот. Потом начинается ужасное безобразие с волнами, плевками, брызгами, я мокрая с головы до ног... Всё это совершенно необходимо сопровождать словами: «Лиза очень храбрая девочка, она ничего не боится, Лиза смелая как тигр!»».

«...Она уже не та крошечка ангелочек, какой ты себе её представляешь. ...Жутко меня изводит хулиганством. Причём с бешеным весельем. Любимое занятие — лёжа в постели, швырять свои вещи в разные углы комнаты и умирать от смеха. На разговоры она плевать хотела. Вчера я пригрозила, что уеду, если она не перестанет меня изводить. <...> Она решила, что тогда ей никто не будет мешать, и продолжала безобразничать, а потом забеспокоилась: кто ж ей будет книжки читать, кто её будет кормить? Я говорю: «Не знаю, живи как хочешь». Что же придумала эта чертовка? Что позвонит тебе и ты, конечно, всё

* Имеется в виду прообраз памперсов — *куши*.

будешь ей делать и никогда не ругать. И утром сегодня, заливаясь диким хохотом, вопила: «Папа! Папа мой! Приезжай!» По-моему, она тебя идеализирует».

А теперь попытайтесь поставить себя на место тех, кто пишет и читает такие письма. Впрочем, может, и вы испытали нечто подобное, включая «Папа! Папа мой! Приезжай!» Читать это для Гладилина невыносимо. Надо везти Лизу и Иру в Париж.

5

Легко сказать: надо везти... Точнее так: добиться, чтоб к нему отпустили дочь и её мать. Власти с этим не спешат. На обращения Иры молчат. Либо отказывают.

Тогда в бой идёт Анатолий.

Он объясняет знакомым парижским журналистам: моя дочь и её мать в СССР. Их оттуда не выпускают. Но признал отцовство. Значит, Лизу защищает французский закон. Вы что, об этом промолчите? И газеты публикуют заплаканное детское личико меж прутьев кровати будто тюремной решётки. О ней пишут «Монд» и «Либерасьен».

«Сможет ли когда-нибудь пятилетняя москвичка Лиза Гладилина встретиться со своим отцом, писателем Анатолием Гладилиным, живущим во Франции с 1976 года и получившим гражданство? Имя этой маленькой девочки неизменно включают в списки гуманитарных требований к властям СССР. Её случай одновременно и сложен, и очень прост. Сложен потому, что она родилась в Москве в 1979 году после поездки в Париж её мамы — Ирины Суренковой. Гладилин признал отцовство, и в 1982 году — одновременно с ним — Лиза получила французское гражданство.

Но ей и её матери власти отказывают в выездной визе. Было бы выгодней отпустить их. Ведь сейчас это похоже на месть писателю и несоблюдение принципа права на воссоединение...» «Маленькая девочка и принцип» — так эта статья и называется.

Принцип этот провозгласили на Международном совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 году в Хельсинки на пике «разрядки напряжённости». И хотя на-

пряжённость снова заряжалась, а Кремль всё крепче забывал о своей подписи, но принцип уже был включён в «Хельсинкские соглашения», подписанные СССР.

Они гласят, что «государства-участники будут в позитивном и гуманном духе рассматривать просьбы лиц, желающих воссоединиться с членами семьи, уделяя особое внимание ходатайствам срочного характера...» Это — начало статьи «Лиза, не знающая отца», где сказано: «власти СССР до сих пор не разрешают ей и её маме уехать...»

«Елизавете Гладилиной исполнилось шесть, но она никогда не видела папу — писателя и гражданина Франции. Визит Горбачева в Париж казался идеальным поводом уладить эту гуманитарную проблему, тем более, что речь идёт о судьбе ребёнка с французским гражданством, — пишет «Монд» в статье «Маленький гуманитарный случай» в канун визита советского лидера в 1985-м. — Но ОВИР вновь отказал матери и ребёнку «категорически». Дочь и отец надеются, что этот вопрос обсудят на переговорах».

«Нет визы — нет папы» — заголовок в стиле задиристой «Либерасьен» от 13 июля 1986 года. «Лизе Гладилиной скоро семь. И пожелание на день рождения возникает само собой: увидеть отца. <...>Анатолий Гладиллин считает, что здесь всё ясно: «Советский Союз считает Лизу и её маму своей собственностью. Крепостное право в России отменили в 1861 году, но в СССР его возродили».

6

«Я бросил всё, — говорит он в 2015 году в интервью Игорю Сви-нарченко, — и занялся воссоединением семьи. Мне удалось поставить на уши парламент и совет министров, и лично товарища Ширака. И Миттерана: он, когда приезжал в Москву, говорил про мою московскую дочку...»

Не знаю, как насчёт «поставить на уши», но депутатские запросы были. И всякий раз общаясь с советскими лидерами, официальные лица Франции говорят о Лизе и Ире.

И вот Ире звонят в дверь.

— Кто там?

— Комитет государственной безопасности.
— По какому вопросу?
— Хотим вам помочь.
— Спасибо. Мне Толя помогает.
— Он мечтает увидеть вас и Лизу. Мы ломаем голову, как это устроить.

— ???

Разговор кончается ничем. Но будут новые.

Рассказывая о них, Лиза вспоминает, что её удивляло больше всего: их новостройка окружена непролазной грязью, а обувь гостей сияет.

— Это, Лизанька, — говорит мама, — плохие дяди. Они не пускают нас к папе.

— А я их сейчас прибью диваном! — кричит возмущённая Лиза.

А те:

— Мы оплатим вам поездку в третью страну. Нейтральную. Приглашайте туда Гладилина. Про это никто не узнает. Мы гарантируем его безопасность. На границе даже штамп не поставят.

— А зачем это вам?

— Хотим с ним дружески побеседовать.

— О какой стране речь? О Швейцарии?

— Ну, скажем — о Венгрии. Или Болгарии.

— С каких это пор Венгерская Народная Республика и Народная Республика Болгария нейтральные страны?

— Откажетесь — никогда его не увидите.

— Вон на стенке — его фотография. На неё буду смотреть.

Терпение дядей иссякает. А с ним и цирлих-манирлих. Ире отключают телефон. Теперь Толя не может звонить ей домой и накручивает номера соседей. Те несутся сломя голову: «Иринка, там тебе Толик звонит! Беги, мы с Лизой посидим». Сомнений нет: их телефоны тоже прослушивают. Но говорить не боятся. И слов не стесняются.

Ночами кто-то звонит в дверь. «Кто там?» В ответ трехэтажный мат.

И так день за днём — в очереди заявлений и отказов, игре на нервах и глумлении.

Меж тем Гладилин в лепёшку расшибается. Просит старую подругу Марину Влади: «Помоги. Ты же главная в Обществе советско-французской дружбы». А та: «Записывай номер телефона. Генерал Гомбьез поможет лучше меня».

И Толя звонит ветерану Второй мировой и Индокитая, бывшему командующему войсками в Алжире, а ныне академику, члену Французской военно-исторической комиссии общества дружбы с СССР. И он помогает — пишет лично Горбачеву. Взывает к чувству боевого братства в борьбе за свободу, гуманизму, к духу перестройки. (Гладилин считает, что решением советских властей отпустить Иру и Лизу он обязан ему).

Однако шестерни машины, созданной для перемалывания людей, не желают двигаться в нужном направлении. Она не хочет отдавать добычу. Да, порой вынуждена это делать, но — крайне редко и вопреки себе.

В ходе визита в Москву 15–16 мая 1987 года премьер-министр Жак Ширак приглашает Иру на приём в посольство. Они долго при всех беседуют и делают фото.

И машина сдаётся. Точнее, так: Горбачев её ломает. Не всю сразу — частями. На этот раз — ломается узел, отвечающий за перемалывание Гладилина и его любимых.

7

6 сентября 1987 года Ира и Лиза прилетают в Париж.

Гладилин встречает в аэропорту. А их всё нет. Куда же они делись?

Бочком-бочком, «рыская на курсе», выплывает расписная тележка с багажом. Её, оглядываясь, катит Ира, держа за руку девочку в голубеньком платьице с красной полоской по рукавчикам и подолу.

О! Она его видит! Машет. Указывает девочке. Та бежит к нему. Но встаёт в трёх шагах. Внимательно смотрит. Рядом останавливает тележку Ира.

— Толя! В вашем чёртовом аэропорту никто не говорит по-русски, — заявляет она, — мы заблудились. Ну? Что стоим? Поехали!

Да. Он победил. Но не много ли на себя взвалил? Много. Однако не зря говорят: если тяжело что-то нести, скажи себе, что ты это украл. А он и украл. Точнее — отбил. У СССР. Тех, кого тот считал своими. И уверен, что сможет прокормить и обеспечить им хорошую жизнь. Он здоровый мужик. С большой зарплатой. Потом Ира найдёт работу. Они устроятся. И главное — будут с ним. Да. Он победил.

В трехкомнатной квартире в Мезон-Альфоре мир и благодать. Алла уже живёт отдельно. В её-то комнате и отдыхают Ира с Лизой. Маша

за ужином подкладывает им всякие вкусности, Ира смеётся: в Москве и обычная ветчина — деликатес.

Утром папа везёт Лизу за обновками — джинсами, футболками и прочим. А после в Венсенский замок — в Военно-историческую комиссию к генералу Гамбьезу.

— Mes filles,* — говорит, — прилетели вчера. И вы первый, к кому мы пришли. Спасибо, мой генерал. Вы — герой.

— Друг мой, это прекрасно! — голос сухого и крепкого старика в чёрном очень твёрд — видно, он глубоко тронут и очень рад, — Я верил: Горбачев прочтёт моё письмо. Я знал: ему передадут. Не могут же они вечно...

Он замирает в поисках дипломатичного оборота. Не находит, целует Лизу и долго жмёт руку Гладилину, будто сам ему чем-то обязан.

Эскорт офицеров и плачущая секретарша провожают их в зоопарк.

Лиза в восторге от тигра, мороженого и карусели. Папа сажает её на верблюда. И катает три раза. Он абсолютно счастлив.

8

Что может омрачить их встречу? Только смерть друга — Виктора Некрасова.

В «Русской мысли» извещение:

3 сентября 1987 года, в 18 ч. 10 мин. скончался

ВИКТОР ПЛАТОНОВИЧ НЕКРАСОВ

О чём горестно извещают вдова и семья покойного.

Мир праху его!

Газета печатает извещение через неделю — 11 сентября.

Но Гладилин узнает сразу.

Он буквально сбит с ног. Эта смерть бьёт его в душу. Близкий, родной, с кем в прямом смысле пили вино и делили хлеб изгнания, не оставляя корок, прям как у Бродского — Некрасов один из самых дорогих ему людей. И ведь говорили же с ним недавно в любимом кафе Вики на Монпарнасе. И на что-то ещё надеялись. Хотя жутко было видеть его разрушенным. Тогда, оставив их с Машей, он вышел, чтоб

* Мои девочки (фр.)

подумать: как быть. Он не может видеть Вику таким. Хочет помнить усачом-гусаром-мушкетёром.

А вернувшись, видит: тот живо толкует с Машей, шутит. «А вдруг — показалось? — думает Гладилин, — может, и теперь выкарабкается, как бывало...»

И когда Вику увозят в клинику, говорит: «Ничего, его вытащат».

А 30 августа в «Московских новостях» выходит беседа Натальи Изюмовой с Вячеславом Кондратьевым «Когда солдаты возвращаются домой», где он прямо говорит: без «В окопах Сталинграда» «наша литература о войне не полна». И что надеется: «как бы ни сложилась судьба автора, повесть будет переиздана». Это — один из первых шагов проектировщиков перестройки к диалогу с эмиграцией. Номер читают в бюро «Свободы» — не верится: впервые за много лет в Союзе о Вике пишут хорошо.

Извещение в «Русской мысли». Некролог, подписанный Буковским, Гастевым, Гинзбургом, Горбаневской, Григоренко, Копелевым, Литвиновыми, Любарским, Салказановой, Синявским, Рабинами, Эткиндами — всего пятьдесят фамилий.

И ещё некролог — особый — от Аксёнова, Владимирова, Гладиллина, Довлатова, Зиновьева, Копелева, Орловой, Кузнецова и Максимова: «При всех его человеческих слабостях, милых чудачествах, прелестном (впрочем, напускном) инфантилизме, босяцких южных интонациях — это и был истинный русский интеллигент... Но главный его дар был — любовь к свободе. С непостижимой для русского писателя смелостью он заявил: «Родина — там, где свобода»... Как тяжело примириться, что больше не будет с нами этого красивого, артистичного, на редкость обаятельного, доброго, благородного человека. О том, что Виктор Некрасов стал частью нашей жизни, мы знали давно. Но нам лишь сегодня дано осознать, какой большой и необходимой частью».

Поразительно — некролог в «Московских новостях»: «Он стоял у истоков правдивого и честного слова о войне. <...> Всесторонняя оценка им написанного — дело будущего. ...Заслужил посмертное право на признательность нашего народа и скорбную память...» Бакланов, Кондратьев, Лакшин, Окуджава. Мастодонты в смятении: в советской газете некролог о беглеце?!...

Бог ты мой, что творится! Глава «МН» Егор Яковлев не может самозачинно печатать некролог сотруднику «Свободы». Советуется с членом

Политбюро Александром Яковлевым. Тот звонит Горбачеву. Горбачев не возражает. Текст выходит.

9

Лиза говорит мне: мама рассказывала, почему когда они с Толей после разлуки пытались вернуть отношения и, может быть, завести второго ребёнка, этого не случилось.

Ире был куда ближе Гладилин, которого она знала в Союзе — пробивной мужик, идущий своим путём, несмотря ни на что и ничего не боясь. Не замечающий кто как одет. Включая женщин. Женщина либо красива, либо нет, а платье и бижу — дело десятое. Теперь он изменился. На смену брутальности пришло внимание к нарядам, стилю, манерам. Его внутреннее Я изменилось. И Ире оно не понравилось.

Но Лиза узнала об этом потом, а первое время во Франции жила новыми впечатлениями и памятью о Ясенево. Она и теперь помнит всех соседей. У мамы прободение язвы, оставить дочку не на кого, и она болеет дома. А все вокруг её любят и помогают — Лизу кормят завтраком одни соседи, обедом — другие, а ужином — третьи. И во Франции пока мама с папой выясняют отношения, Маша играет с ней в слова и города.

А папа три года живёт на два подъезда, а потом — на два дома. Что тут сделаешь?

Тут-то Довлатов и говорит: «Бедный Толя. Вариант тупиковый».

А что же Алла? Всё это удивительным образом проходит мимо неё. Что за дело молодой красивой женщине — диктору русской редакции Радио Франс Интернасьональ со сложной личной жизнью — до решений отца и странных соединений, из них вытекающих?

А дальше? Дальше чего только нет. Как-то раз Ира выскажет Маше всё-всё-всё, что у неё на душе. А это страшно. Лиза говорит, что лучше попасть под пулёмёт, чем под такой Ирин монолог. Вот и Маша в ужасе молча уйдёт. А через пару часов Ира, решив, что не имеет права её обижать, напишет ей письмо, прося прощения. И повезёт его через Париж десятилетняя Лиза. А в 2013-м (!) после смерти мамы узнает: Ира и Толя никогда не были в браке. И это — шок. Ведь она уверена, нет — просто знает: они были женаты...

Но будет это через несколько лет.

А сейчас пролетают первые три недели их жизни во Франции и отпуск Гладилина. И Толя снимает девочкам квартиру в том же доме, где живут он и Маша. Лиза идёт в школу и секцию дзюдо, где до крови кусает бросившую её на мат спарринг-партнёршу, чем заслуживает почётное прозвище *sauvage Russe* — дикая русская. Потом будет секция любимого папой пинг-понга и мечта о пианино и лаун-теннисе...

Вот так и заживут они в соседних подъездах. И три года будут ходить друг к другу в гости. Но это — не то, чем грезил Гладилин. В 1990-м он, включив связи, добудет для Иры и Лизы недорогую двухкомнатную муниципальную квартиру в приличном районе рядом с парком Ситроен, набережной Гренель и мостом Мирабо — на рю Белар.

Там — среди русских и французских книг — мы и толкуем обо всём этом с Лизой летом 2019-го. Красавица, она давно окончила школу, лицей и университет, работала в мире высокой моды, а теперь в информационном бизнесе.

А сейчас говорит мне то, чем делятся далеко не всегда, не все и не со всеми.

— Быть отцом — неблагодарная роль. Мать для дочки — это очень долго — бог; а отец, особенно когда её с ним знакомят через семь лет после рождения — всегда виноват во всём. И это безумно нечестно! Но это я сейчас понимаю. А очень долго его отталкивала.

А он очень хотел — изо всех сил — быть самым лучшим отцом. Водил меня в луна-парк, покупал конфеты, игрушки и вещи, подкладывал круассанчики, рассказывал истории — наверное, смешные и интересные, помогал со школой. А я его не принимала.

Помню случай — тогда мы жили ещё в Мезон-Альфоре и мама попала в больницу — ей сделали операцию и в итоге она больше не смогла иметь детей, а папе пришлось отказаться от таких планов, хотя они были. Так вот, мама в больнице, а я у Маши с Толей. И папа попросил меня что-то сделать. А я резко отказалась — ну подросток, лет десять, всякие бывают срывы... И тогда он сделал движение, будто хочет меня шлёпать.

Я абсолютно не испугалась. Я посмотрела ему в глаза и сказала: «Если ты продолжишь это делать ещё хоть секунду и до меня дотро-

нешься, честное слово — ты мне больше никто, и я с тобой никогда в жизни не скажу ни слова».

Сказала я это так, что он убежал в свою комнату и заплакал.

Но всё равно я продолжала ощущать его огромную, глубокую любовь и тепло. И — не принимать их. А тем временем — росла, становилась взрослой, красивой... И он уже стал меня приглашать с собой на приёмы. И я, бывало, снисходительно соглашалась.

А 6 ноября 2013 года умерла мама. И со мной случилось то, что я не умею описать. Из полутора лет, что были потом, я не помню ничего. Кроме одного: папа звонил мне каждый день. По нему можно было проверять часы — девять вечера, звонок, папа.

Дошло до того, что я стала думать: когда он умрёт, каждый вечер в девять у меня будет дикая депрессия... Слава Богу, обошлось.

Так вот тогда, только тогда между нами стала постепенно рождаться близость. И родилась она из походов в Париж. Мы обожали ходить пешком. У нас одинаковая походка. Мы не разгуливаем, знаешь, вот эдак вразвалку, не спеша. Нет! Мы очень быстро идём. С одной скоростью. Поэтому можем на ходу разговаривать. И так — каждый выходной. У нас были свои маршруты. Один — отсюда вдоль Сены до Эйфелевой башни, на Марсово поле, и через авеню Эмиля Золя и небольшие улицы — обратно сюда.

Было и своё кафе на авеню Ламотт Пике. Мы там что-то заказывали и болтали. Он рассказывал про маму, про свои дела, я — про свои. И мало-помалу во мне росло тепло.

Точнее — возвращалось. Я ведь не помню, когда я узнала, что у меня есть папа. Наверное, мама рассказывала мне про него так же, как пела колыбельные, читала сказки и Блока. Я долго не ощущала какой-то странности в этой ситуации. У других есть папы? И у меня есть. Только во Франции. Я видела его фото и знала голос. Ведь пока нам телефон не отключили, он звонил! Так что голос — первое, папино, что я узнала. И я полюбила.

И вот мы прилетаем в огромный «Шарль де Голль». Мама в шоке, все выходят из салона, а мы сидим. Я буквально вытаскиваю Иру, мы бродим по бескрайнему зданию и вдруг утыкаемся в двух отчаявшихся людей — папу и Алку. Они уже думали, что нас не выпустили. Но до последнего ждали. И дождались.

Моё первое впечатление от Франции — темнота, красные огни впереди идущих машин и ровная-ровная цепь белых фонарей вдоль

шоссе. По нему мы и поехали в Мезон-Альфр на машине, где в кармане на спинке сиденья лежал пистолет, из которого папа выстрелит в себя в Шатийоне через сорок лет...

ОБ АВТОРЕ

Дмитрий Петров — писатель, журналист. Автор книг «Василий Аксёнов. Сентиментальное путешествие» (ЭКСМО), «Аксёнов» (серия ЖЗЛ, «Молодая гвардия»), «Джон Кеннеди. Рыжий принц Америки» (АСТ) — первая на русском языке беллетризованная биография президента США, «Афганские звёзды» — книга, основанная на сотнях интервью с ветеранами трагической авантюры 80-х годов и ряда других. В 1980–90 годах работал учителем английского языка, сотрудником «Учительской газеты» и Фонда социальных изобретений «Комсомольской правды», изучал практики гражданского общества в Институте политических исследований Университета Джонса Хопкинса (Балтимор, США). В России участвовал в избирательных кампаниях.

В 2002–2008 возглавлял журнал «Со-Общение». Стал автором 4 из 12 томов уникальной книжной серии «История глазами «Крокодила». XX век». В 2018 году — стипендиат-исследователь (Freedom Chair Fellow) в Институте международных проблем Карлова университета в Праге. Лауреат премии «RuPoR» (2012, 2014); национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» (Москва, 2004); премии Silver Archer USA (Вашингтон, 2014).

Аркадий БЛЮМИН

ЖИЗНЬ И СУДЬБА ЖАНИСА ЛИПКЕ

Он из семьи бухгалтера, погибшего во время Первой Мировой войны.

Жанис — человек с тремя классами образования, но знавший русский и немецкий языки. Он был умен, предприимчив и даже бесстрашен, идя на рискованные действия. Очень общителен и хорошо понимал психологию людей.

До прихода «Советов» он, кроме прочего, зарабатывал на жизнь разными «левыми» делами. Сидел в тюрьме именно тогда, когда в 1940 году в Латвию пришла Советская власть.

«Советы» освободили Жаниса из-под ареста и трудоустроили, а пришедший в скором времени немецкий режим его сразу озлобил. Побои, нанесённые полицаями самому Жанису, его жене и детям во время обыска в его доме, он запомнит на всю жизнь.



Липке помогал евреям, спасал узников Рижского гетто. Всего он спас 56 человек. Он, безусловно, испытывал чувство сострадания к несчастным и считал, что именно он может им помочь.

Меня не смущает тот факт, что кто-то из спасённых платил ему, пока мог.

Он рисковал не только своей жизнью, но и жизнью тех, на кого он опирался. Главной среди них была жена Иоганна. При этом он ясно осознавал страшные последствия в случае провала как для себя самого, так и для своей семьи, для всех друзей-помощников и их семей.

Но за три с лишним года оккупации его никто не выдал!

Много можно рассказывать о сопротивлении, которое предшествовало присвоению ему и Иоганне звания Праведников Мира. Не

все готовы были поверить в реальность деяний его. Справедливость, в конце концов, восторжествовала.

Я благодарю судьбу, которая свела меня с другим легендарным человеком, Давидом Зильберманом, рассказавшем мне о Жанисе Липке, написавшем книгу о нём, которую доверил мне редактировать. Но Давид Зильберман сам является живой легендой, и о нём необходимо писать отдельно.

Прежде чем приступить к рассказу о герое очерка, необходимо рассказать об обстановке, в которой оказались латышские евреи с первых дней фашистского нашествия. Тогдашние латышские прислужники нацистских оккупантов стремились претворить в жизнь мечту Гитлера, и создать из своей страны «юденфрай» — зону, свободную от евреев. Латвия была одним из тех мест, которое нацистское руководство Германии избрало для уничтожения не только местных евреев, но и евреев из других стран — в годы Второй Мировой войны туда было депортировано более трехсот тысяч евреев со всей Европы. По последним данным, из 80 тысяч местных евреев Латвии в живых осталось 162 человека. При этом важно знать, что в деле уничтожения евреев Латвии огромную роль играли именно местные латыши. Многочисленные документы и свидетельские показания позволяют утверждать, что за геноцидом евреев в Латвии стоят не только немецкие фашисты, но и их местные пособники, латышские нацисты. Такая обстановка была не только в Латвии, но и в других местах. Например, в Литве, уже через три дня после того, как немцы вошли в Каунас, толпа литовских националистов на одной из площадей дико и безжалостно растерзала 68 евреев, среди которых погибли ребёнок и три раввина. Тем важнее доводить до наших современников и грядущих поколений информацию о героях, спасавших в охваченных фашистским мракобесием странах евреев.

Так кто же такой Жанис Липке?

Вернусь к его биографии. Он родился 1 февраля 1900 года в городе Елгава. Отец был бухгалтером и погиб в боях Первой мировой войны, а мать вела домашнее хозяйство и умерла в 1920 г. Именно она привила ему основной принцип жизни: главное, чтобы голова была на плечах, а в душе то, что люди называют совестью. После обретения Латвией независимости от России он работал грузчиком в рижском порту, участвовал в забастовках, распространял нелегальную литературу.

С началом Второй мировой войны в 1939 году морская торговля на Балтике была блокирована германским флотом, рижский порт опустел, и Жанису удалось устроиться столяром в Ассоциацию Потребителей. Но денег не хватало, и он подрабатывал в магазине неподалёку. Среди его друзей и знакомых были латыши, русские, евреи, поляки.

В 1940 году, после гибельных для всего мира договорённостей между фашистской Германией и коммунистическим СССР, в Латвию вошла Красная Армия. В стране был установлен большевистский режим. Многие латышские священнослужители, интеллигенты, просто богатые и деловые люди, были арестованы и сосланы в безжизненные, ледяные сибирские просторы. Немало зажиточных хуторов осталось без хозяев и пришло в запустение. И хотя в ульманисовские времена он сознательно помогал коммунистам-подпольщикам, довольно быстро пришло разочарование.

22 июня 1941 года началась война, а уже первого июля 1941 г. немцы захватили Ригу. Руководство Советской Латвии ещё 25–26 июня сбежало, и республика, по сути, оказалась неуправляемой. Эвакуация населения не проводилась, и не подозревавшие о смертельной опасности десятки тысяч евреев остались в городе. Их даже не предупредили о вероятной неминуемой гибели. Советская власть обрекла их на полное уничтожение.

Новый режим сразу приказал всем вернуться на свои рабочие места. Жанис стал работать на складе военной авиации «Люфтваффе», начальником которого был его знакомый поляк Якубовский, чем-то заслуживший у немцев доверие, и они назначили его на это место. Зная, что тот любил выпить, Липке старательно снабжал его выпивкой, а иногда помогал проворачивать прибыльные сделки, продавая на сторону продукты. Вот почему Якубовский сквозь пальцы смотрел на то, чем занимается Жанис.

До 1940 года склад принадлежал очень богатому бизнесмену, еврею Вагенхейму, с которым Липке был немного знаком ещё до войны. Коммунисты предприятие национализировали, а самого хозяина выгнали — счастье, что не погнали в Сибирь. В ситуации нагнетаемой ненависти к евреям Жанис переправил его семью к дальним родственникам на один из отдалённых хуторов. Это был первый шаг в его незабываемой, вошедшей в историю деятельности по спасению рижских евреев.

1 июля, как только немцы вошли в город, фашистский прихвостень Виктор Арайс продемонстрировал свою лояльность новым властям,

«захватив» брошенную префектуру полиции. Были организованы фашистские банды, старательно осуществлявшие лозунг Гитлера о создании «юденфрай» — земли, свободной от евреев. В подвалах Большой Хоральной синагоги, располагавшейся в центре Риги, скрывалось около 500 евреев — беженцев из Шауляя. Они добрались до Риги, но дальше не пошли — немецкое наступление отрезало им путь на Восток. В подавляющем большинстве это были измученные, перепуганные, совершенно беззащитные, полные самых страшных предчувствий женщины, старики и дети. И вот 4 июля, под вечер, нацистский прихвостень Виктор Арайс и такие же как он подонки обложили паклей стены синагоги, облили их керосином и подожгли. В матерей, пытавшихся выбросить детей из окон горящего здания, стреляли из автоматов. Когда вся синагога была охвачена пламенем, люди Арайса стали бросать в окна ручные гранаты. 500 евреев обрели здесь свой мученический конец. В тот же день в Риге были разгромлены почти все остальные синагоги и молельные дома. В тот же день в газете «Тевия» («Отечество») — главной латышской газете времён фашистской оккупации — появилось «Приглашение» следующего содержания: «Все национально мыслящие латыши — «перконкрустовцы», студенты, «айзсарги», офицеры и другие, кто желает принять активное участие в очистке нашей земли от вредных элементов, могут обращаться к руководству команды безопасности по адресу Валдемара, 19, с 9–00 до 11–00 и с 17–00 до 19–00». И «национально-мыслящие» шли записываться в «команду Арайса», вдохновлённые впечатляющим началом его деятельности. И голова Жаниса Липке лопалась от вопроса: почему евреев не предупредили о смертельной опасности, не помогли уйти на Восток? Почему их оставили на уничтожение? Ведь знали, что нацисты делают с евреями. Если для него не была секретом трагическая участь немецких и польских евреев, то уж компетентные органы, безусловно, об этом знали. Так почему их бросили зверям на съедение, почему скрывали ужасную правду? Если не могли помочь им бежать, так хотя бы сказали, чтобы люди спасались как могли. Наверняка в этом случае гибель евреев не была бы поголовной. От этих мыслей пухла голова тем более, что ни с кем нельзя было ими поделиться.

Именно в этот день Жанис Липке решил спасти несчастных. Именно в этот день произошло его перерождение.

23 августа 1941 г. появился приказ генерал-комиссара Латвии Г. Лозе о создании еврейского гетто на окраине. Все евреи Риги обяза-



Обитатели еврейского гетто в Риге.

вались в течение пяти суток переселиться в отведённый район. За невыполнение — расстрел. Весь квартал отделили от города. Евреям разрешалось покидать гетто

исключительно в составе трудовых колонн и находиться за пределами гетто только для выполнения работ, предписанных Рижской городской управой. Евреям разрешалось входить на территорию гетто и выходить из неё только через два прохода. Любое нарушение каралось расстрелом. При этом, все расходы по своему переселению и организации гетто должны были оплачивать сами евреи.

После массовых убийств в ноябре и декабре 1941 года стало ясно, что фашисты хотят уничтожить евреев поголовно, и ещё больше окрепло желание их спасти. Вскоре шофёр Янис Бриедис помог Липке вывести из гетто первую группу беглецов и спрятать их в складах Потребительской Ассоциации «Виениба» на улице Лачплеша. Потом прятали евреев у друзей Жаниса Барнета Розенберга и Андрея Граубиньша. В организации побегов ему очень помогала Андриена Дагарова, жена еврея Эпштейна. Вместе с Барнетом в мастерской работали три его брата, которых также привлекли к опасной деятельности. Барнет считался у немцев специалистом по изделиям из кожи, и каждый день к нему приводили на работу узников гетто. Розенберг помогал поддерживать контакты с людьми в гетто и даже посылать им продукты. Но скоро прятать людей в мастерской Розенберга и на складах стало опасным. и был выкопан бункер непосредственно во дворе дома Жаниса. К приходу Красной Армии в нём скрывалось несколько человек.

Время от времени на склад «Люфтваффе» приезжали крестьяне из окрестных деревень, и наш герой всегда выяснял их настроения, прощупывал, можно ли им доверять, и готовы ли они помочь спасти людей от неминуемой гибели. Познакомился с Фрицисом и Янисом Розенталем и с их другом Янисом Ундулисом, жителями отдалённых хуторов возле Добеле. Религиозные люди, они осуждали убийства евреев, не воспринимали нацистскую пропаганду и были возмущены уничтожением безвинных людей.

Убедившись в этом, Жанис открылся им, рассказал о том, что они спасают евреев и попросил помочь спрятать несчастных, устроить у себя убежище для них. Они согласились, и 10 мая 1943 года первая пара беглецов, Либхен и Ульман из Риги, была тщательно замаскирована в грузовике Яниса Бриедиса. Поддельная путёвка удостоверяла, что грузовик направляется по делам мясокомбината, где работал Бриедис. Хозяева приняли беглецов доброжелательно, накормили и спрятали. Начало было положено, но планы шли значительно дальше — хотелось вытащить из смертельных лап сотни евреев, а для этого нужно было организовать новые и новые убежища. Было создано ещё одно убежище у Фрициса Розенталя и Вильгельмины Путрини, и вскоре туда переправили несколько обитателей гетто.

Карл Янковский, водитель грузовика на складах, оказался нормальным человеком и единомышленником Жаниса, он примкнул к делу спасения евреев из рижского гетто. В дальнейшем его помощь в очень опасных операциях по перевозке сбежавших из гетто евреев из Риги в Добеле была неоценимой. Вскоре удалось наладить контакт с главой Добельского района Фрицисом Биненфельдом, которому немецкие власти доверяли. Он был этническим балтийским немцем, «Фольксдойче», но душой был настоящим латышом. Именно он помог организовать убежища ещё на двух хуторах.

В концлагере Баластдам, который находился недалеко от дома Жаниса, содержалось большое число советских военнопленных. Вся его семья старалась помочь им — в придорожных кустах около тех мест, где выстраивали колонну узников, прятали для них еду. Вскоре они стали оставлять там записки с благодарностью и просьбами о том, что им необходимо. Однажды группе военнопленных удалось бежать, и перед тем как раствориться в городе и в окрестных лесах, они забежали к Липке домой. Их покормили, как могли переодели, и ночью они ушли.

Летом 1942 года он познакомился в гетто с двумя атлетически сложенными молодыми ребятами, Сашей Перлом и Псавкой. Они понравились ему с первого взгляда, и он сразу предложил им бежать из гетто. Вначале они не хотели даже слушать его, очевидно, подозревали в нём провокатора. В условиях царившей вокруг страшной жестокости и невероятного контроля, попытка побега казалась равносильной самоубийству. Но постепенно насторожённость растаяла, Жанис с ребятами нашли общий язык. Саша Перл родился и вырос в Вентспилсе, до войны был известным яхтсменом, участвовал во

многих соревнованиях и был хорошо обеспечен материально. После гибели родителей все семейные драгоценности остались у него. Узнав об этом, Жанис решил купить яхту и через Балтийское море переправить на ней 15–20 человек в нейтральную Швецию.

Идея была дерзкой, на первый взгляд, но без отчаянной смелости Жаниса и его друзей, их дела были бы заранее обречены на провал. Он начал посещать рижский яхт-клуб и вошёл там в доверие. Вскоре ему сообщили, что продаётся большая яхта и Жанис без колебаний купил её. Но когда они с Сашей и Псавкой первый раз поднялись на борт яхты, откуда ни возьмись появились шуцманы. Он чудом избежал ареста, Псавка прыгнул в воду и уплыл к другому берегу, но Перла схватили и забрали в отделение полиции. Вероятно, за ними следили, но могло быть и предательство, хотя они никого в свои планы дерзкого побега не посвятили. Жанис, не теряя времени, побежал на склад «Люфтваффе» и включил Сашу в список, по которому обычно забирал людей из гетто. Но всё оказалось бесполезно, никакие его объяснения и просьбы не помогли. Сашу обвинили в тяжелейшем преступлении — появлении на «арийской» территории без жёлтой звезды и вскоре расстреляли. Саша вёл себя героически и никого не выдал, но это стало известно значительно позже, а тогда его арест вызвал большую тревогу. Большинство убежищ, которые эти люди с чистой совестью с таким трудом организовали в городе, теперь стали небезопасными. Саша знал их местонахождение и, не выдержав пыток, мог бы их выдать. Необходимо было срочно перевести людей в другие места, но сделать это стало гораздо труднее, чем раньше. Оккупанты именно в это время приступили к систематическим повальным обыскам. Они окружали целые кварталы и тщательно прочёсывали дом за домом. Немцы искали заброшенных к ним в тыл парашютистов, партизан и гражданских лиц, уклонявшихся от призыва в армию. Положение было очень сложным, потому что перевести прятавшихся в убежищах евреев было ещё некуда. Большинство из них решило вернуться в гетто, но быть готовыми в любую минуту бежать снова, как только будет найдено новое безопасное место.

Во дворе у Жаниса в бункере всегда пряталась группа евреев, и он очень надеялся, что ему удастся вскоре спасти от нацистского террора хотя бы этих людей. Одна мысль, что затраченные на его создание усилия оказались напрасными, приводила его в исступление. Потом вместе с Карлом Янковским они выкопали и оборудовали довольно просторный бункер под его гаражом на улице Мариас и спрятали там

относительно большую группу евреев из гетто. В бункере было даже оружие и радиоприёмник. Немецкие оккупационные власти, так же, как и их советские предшественники, велели гражданам сдать радиоприёмники, но ни Жанис, ни Карл это требование не выполнили. И теперь, слушая новости из Москвы и Лондона, они ясно представляли себе реальную ситуацию на фронтах и передавали эту информацию узникам гетто, что естественно поднимало их настроение.

Каждую операцию побега Жанис с друзьями готовили очень тщательно. Они изучали привычки охранников, точно знали, кого из них можно заманить, а кому достаточно налить стакан-другой спиртного. Кого можно подкупить, а кому нужна помощь врача или какая-нибудь другая услуга. Среди тех, кто помогал им в этих смертельно опасных операциях, очень важную роль играла Эмилия Абеле. Она работала в немецком военном госпитале и обеспечивала героев-спасателей медикаментами, которые без её помощи были бы им недоступны.

Жанис часто вспоминал одну из самых сложных операций по выводу людей из гетто. Конечно, все они были сложными, но эта запомнилась до мельчайших подробностей. Это операция по спасению еврейки Штерн и её дочери, привезённых фашистами из Германии в Латвию на убой.

Вскоре после ужасных «акций» по уничтожению евреев в ноябре — декабре 1941 года в «Большое гетто» привезли тысячи депортированных евреев из Германии, Чехословакии, Австрии, Венгрии. Большинство из них нацисты прямо с поездов доставляли к заранее подготовленным могилам в лесах Бикерниеки и Румбулы и сразу расстреливали. Но небольшую часть вновь прибывших нацисты иногда помещали в «Большом гетто», которое с тех пор стали называть «Немецкое гетто». Фашисты и их прихвостни систематически устраивали в гетто селекции и акции — убийства всё ещё остававшихся в живых евреев, регулярно «освобождая» таким образом его помещения для вновь и вновь прибывающих европейских евреев.

По просьбе доктора Шмульяна он начал искать Штерн и её семилетнюю дочь среди депортированных из Германии узников. Шмульян познакомился со Штерн в концлагере и всем сердцем к ней привязался. Её муж и пятнадцатилетний сын к тому времени уже были убиты. Доктор также недавно потерял свою семью. Узники «Кайзервальда», которые днём работали в городе, а на ночь возвращались в свои ба-

раки, помогли Жанису найти эту женщину. Он переслал ей записку о том, что готовит её побег, и предупредил, чтобы дочка была всё время рядом с ней. Подвижники — спасатели евреев начали осторожно выяснять, когда узников той части лагеря, где находились Штерн с дочкой, выводят за его пределы, как и когда они возвращаются, тем самым подготавливая маршруты спасения.

И вот наступил подходящий день. Группа евреев, среди которых была Штерн с дочкой, ремонтировала железнодорожные пути недалеко от концлагеря между станциями Саркандаугава и Браса. Охранник не спеша прохаживался вдоль рельсов, наблюдая за невольными путевыми рабочими. Жанис незаметно приблизился к работающим и, выбрав момент, когда охранник повернулся к нему спиной, подал знак Штерн, чтобы она пошла в уборную. Там уже был пакет с одеждой для неё и дочери, а в задней стенке были полуоторваны две доски — их нужно было только отодвинуть. Когда сопровождавший их эсэсовец пошёл назад, они переоделись и по сигналу Липке прыгнули на платформу. Быстро покинув опасную зону, проходными дворами он вывел их на улицу Дунтес. Здесь напряжение немного спало, и они осторожно пошли дальше в сторону Даугавы.

От голода и лишений девочка была настолько слаба, что не могла идти, и он посадил её к себе на плечи. Так добрались до его друзей-рыбаков, которые без малейшей задержки благополучно переправили их на другой берег реки. Скоро они уже сидели за столом у Жаниса дома, а через несколько дней, как и планировалось, спасённых от, казалось бы, неминуемой смерти Штерн с дочкой переправили в убежище в Межамаки.

Иногда Жанису с друзьями удавалось раздобыть оружие. В ход шли взятки и подкуп, разного рода хитрости, иногда помогали обстоятельства и удача.

Одна из таких операций оказалась особенно успешной. Двоюродный брат Карла Янковского, Янис Янковский, не только работал у эсэсовцев шофёром, но и активно сотрудничал с фашистами. Он очень любил выпить, и, как правило, на устраиваемые эсэсовцами попойки приносил им шнапс. Жанис с Карлом частенько использовали эту его слабость, и порой подпаивали его, чтобы получить полезную информацию. И вот однажды, в сильном подпитии, он рассказал, что на улице Мариас стоит безнадзорный грузовик с оружием, а шофёр даже

оставил ключи в замке зажигания. Жанис буквально влил в распахнутый рот Яниса полный стакан шнапса, и как только тот через несколько минут громко захрапел, они с Карлом не теряя времени побежали туда. Без проблем нашли машину и совершенно беспрепятственно отогнали её с таким драгоценным грузом в лес около Бикерниеки. Быстро перегрузив автоматы, патроны и взрывчатку в машину Карла, разломали грузовик так, чтобы он уже не мог двигаться своим ходом, и уехали очень довольные собой. Немцы обнаружили пропажу только через несколько часов. Они организовали облаву и искали пропавшую машину и тех, кто её угнал, но тщетно — борцы с фашистской нечистью на тот момент уже были на другой стороне Риги. Кроме оружия они нашли в грузовике очень важные для них документы — бланки водительских путёвок, дорожных разрешений, которые впоследствии оченьгодились им, когда нужно было фабриковать поддельные путёвки для перевозки нелегальных людей.

Что касается использования оружия и мужества беглецов, то не могу не привести такой пример. Когда немцы совершенно случайно обнаружили группу евреев в доме Андрея Граубиньша на улице Авоту, никто из них даже не подумал сдаваться — они приняли бой. Это был неравный бой малочисленной, плохо вооружённой группки необученных людей, впервые взявших в руки оружие, со значительно превосходящими и до зубов вооружёнными, профессионально подготовленными озверевшими убийцами. Еврейские беглецы отстреливались до последнего, но долго противостоять нацистам, конечно, они не могли, и все погибли. Но погибли с честью, не как безвольные рабы, а как свободолюбивые люди. Самого Андрея немцы схватили и отправили в концлагерь в Германию, где он и погиб.

В начале 1943 года Жанис ушёл из военных складов «Люфтваффе» и устроился на работу в порт боцманом буксира. Таким образом, он получил временное освобождение от армии, но главное: теперь два-три дня в неделю у него были совершенно свободными. Это было чрезвычайно важно, потому что во время немецкой оккупации работа для заработка была для него второстепенным делом. Свою основную задачу Жанис видел в спасении евреев, организации побегов их из гетто, а потом из концлагерей. Кроме того, ему необходимо было заботиться о тех, кого уже удалось спрятать в Риге и на хуторах в Добеле.

...После войны советские власти отнесли к деятельности Жаниса Липке по спасению евреев с большим недоверием и подозрительно-

стью. Несколько раз его часами допрашивали в НКВД. Причём допрашивали не только о его деятельности по спасению евреев, но и о сыне Альфреде, которого он не смог уберечь во время оккупации от призыва в немецкую армию. В конце войны тот ушёл на Запад и до последнего времени жил в Австралии. Следователи предполагали, что за своё спасение евреи расплачивались с Жанисом золотом и драгоценностями, и их интересовал фактически лишь один вопрос — где он прячет полученное. Им непонятно было, у них в головах не укладывалось, что Жанис не устраивал ярмарку на крови, что он не торговал пропусками в жизнь. Они даже не опрашивали оставшихся в живых и проживающих в Риге спасённых им и его товарищами евреев.

К рассказам и воспоминаниям о том, как Жанис Липке спасал узников гетто и концлагерей, с недоверием относились не только в Советском Союзе, но, как это ни парадоксально, и на Западе. В начале 80-х годов Давид Зильберман стал активным членом общества «Jewish Survivors of Latvia» или, по-русски, «Евреи Латвии, пережившие Катастрофу». На запрос Президента Общества Стивена Спрингфилда и редактора готовившегося сборника Гертруды Шнейдер представить воспоминания узников Рижского гетто, он предложил им рассказы спасённых Жанисом Липке евреев. Увы, эти материалы были восприняты с большим скептицизмом: «Случай Липке не типичен для Латвии», — заявил Стивен Спрингфилд. «Может быть, но тем не менее, всё, что здесь написано — абсолютная правда!» — возразил Давид.

Доводы Зильбермана оказались убедительными, поскольку представленные материалы были основаны на документальных свидетельствах спасённых им людей. Президент Общества Спрингфилд и редактор издания Шнейдер в конце концов согласились включить их в книгу Общества «Немые голоса», опубликованную в Нью-Йорке в 1987 году.



После войны советская власть очень своеобразно наградила самоотверженных помощников Липке. Глава районной администрации Фрицис Биненфельд, который долгое

Еврейское кладбище в Шмерли, осквернённое последышами шущманов
8 декабря 2010 года

время бескорыстно и мужественно помогал скрывать и содержать сбежавших из гетто евреев, был арестован и приговорён советским судом к длительному тюремному заключению якобы за сотрудничество с оккупантами.

14 мая 1987 года сердце Жаниса Липке перестало биться. Это печальное известие быстро облетело его друзей в Риге, Москве, Ленинграде и других городах Советского Союза, а также в Израиле, США, Канаде, Австралии и Германии. Похороны Липке состоялись 20 мая. Грандиозная траурная процессия, более тысячи человек, провожала Жаниса Липке в последний путь к месту захоронения на Втором Лесном кладбище Риги. Его могила утопала в цветах, было много ораторов, выступил раввин еврейской общины Риги. Латвийские и израильские газеты опубликовали некрологи, во многих международных СМИ также появились статьи об этом необычном человеке.

Проживающий в Торонто архитектор Яков Вагенгейм, который был спасён Жанисом Липке, сделал проект памятника герою, а известная в Латвии скульптор Лея Новоженец изваяла скульптурную композицию, которая впоследствии была сооружена на могиле Липке.

ОБ АВТОРЕ

Аркадий Блюмин, выпускник Харьковского авиационного института, работал на «щит и меч» родины и не только. Эмигрировал в 1998 году. С 1999 года регулярно проводил в Сан-Хосе (Калифорния) встречи читателей с редакцией газеты «Кстати», а в 2005 создал Клуб Творческого Общениа.

Много занимался судьбами еврейства в оккупированных регионах бывшего СССР, а также историей лагерей уничтожения евреев «Собибор» и «Треблинка». Более 180 статей опубликовано в разных газетах Сан-Франциско, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго, Сакраменто и Торонто.

Автор шести сборников стихов, сборника рассказов. Но главное для него — исследовательская работа «Антисемитизм — тень еврейства».

С начала пандемии еженедельно по воскресеньям и понедельникам проводит виртуальные зум-конференции «Клуба интересных встреч», где выступают творческие люди, учёные, эксперты.

Марк АВРУТИН
**ВЕРНЕР ФОН БРАУН —
ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ**

Этих двух людей по праву называли лидерами ракетно-космической гонки 20-го века. Сергей Павлович Королёв и Вернер фон Браун внесли огромный вклад в развитие ракетостроения и освоения космоса.

Крупный учёный Борис Раушенбах пишет о схожести их судеб: *«Оба в возрасте 32-х лет были репрессированы: Королёв — НКВД, фон Браун — гестапо. Обоим были предъявлены одинаковые надуманные обвинения — Королёву во вредительстве, фон Брауну в саботаже. Обоим удалось вернуться к активным работам по ракетной технике. Королёв запустил первый советский искусственный спутник Земли (он был и первый в мире), фон Браун — первый искусственный спутник в США. Оба были признанными руководителями космических программ своих стран и оба умерли от одной и той же болезни, проклятья нашего времени, от рака».*

Хотя фон Браун часто вспоминал о своём двухнедельном аресте, но его, как это не странно прозвучит, сравнительно комфортное пребывание в гестапо, никак нельзя сравнить с пребыванием Королёва на Колыме. Кстати, Королёв никогда и никому, кроме самых близких, не рассказывал о своём ГУЛАГовском периоде.

Фон Браун долго и мучительно умирал от рака, окружённый своими близкими, приехавшими из разных частей света. Королёв же умер скоропостижно на операционном столе из-за ошибок проводившей операцию команды во главе с тогдашним министром здравоохранения СССР Петровским. Обнаруженная в ходе операции опухоль была осумкована и, по словам знаменитого хирурга Вишневского, с ней можно было прожить ещё не один десяток лет.

Жизнь Королёва многократно описана, наши читатели наверняка знают о нём многое. Жизнь и судьба Вернера фон Брауна им, вполне возможно, известна в весьма малой степени. Мы хотим восполнить пробел. Тем более, что в 2022-м у героя нашего повествования две «полукруглые» даты: 110 лет со дня рождения и 45 лет со дня смерти. Ниже публикуются фрагменты книги живущего в Германии Марка Аврутина, немало лет проработавшего в космической отрасли.

* * *

Родители Вернера фон Брауна принадлежали к высшему слою немецкой аристократии.

Отец, барон Магнус Александер Максимилиан фон Браун был крупным землевладельцем и имел поместья в Восточной Пруссии и в Силезии. Мать, урождённая Эмми фон Квисторп, имела не менее древнюю родословную, чем её супруг, и её род был известен в Германии не меньше, чем род Браунов.

Вообще баронесса Эмми фон Браун была настоящей «гранд леди» с аристократичными манерами. Зная шесть европейских языков, она установила в семье традицию — каждый день разговаривать друг с другом на одном из них. Она же научила Вернера играть на пианино. Этим искусством он овладел в таком совершенстве, что уже в 15 лет написал несколько пьес. С музыкой он не расставался никогда.

В 1928 году родители отправили его на учёбу в интернат на острове Шпикерог в Северном море в Восточной Фризии. Здесь он наткнулся на книгу «Ракета для межпланетного пространства» Германа Оберта. Браун и прежде, чуть не с раннего детства, был очарован идеей космических полётов, а теперь он стал целенаправленно заниматься физикой и математикой, чтобы для начала понять эту книгу.

В 15 лет Вернер вступил в общество космических путешествий, где познакомился с настоящими специалистами-ракетчиками. «Это была цель, которой можно было посвятить всю жизнь! Не только наблюдать планеты в телескоп, но и самому прорваться во Вселенную, исследовать таинственные миры» — позже вспоминал он.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИИ

Согласно Версальскому договору, Германии запрещались разработка и производство почти всех известных на тот момент видов ору-

жия. Но, поскольку про ракеты в договоре не было сказано ни слова, немецкое военное командование, точнее, Управление вооружений сухопутных войск, а в нём — отдел баллистики и боеприпасов под руководством профессора Беккера начал проявлять интерес к ракетам. Это, в конечном счёте, привело к организации исследовательского отдела по вопросам ракетостроения. В конце 1929 года уже министр обороны принял решение изучить возможности использования ракет для военных целей.

Вскоре на армейской экспериментальной станции «Запад», расположенной в пригороде Берлина, появился первый в Германии испытательный стенд для работы с ракетами на жидком топливе. Стенд был оборудован всей известной на то время измерительной аппаратурой. Там же разместились кабинеты, чертёжный зал, отдел измерений, фотолаборатория и небольшая мастерская.

Организатором и руководителем армейской экспериментальной станции «Запад» стал полковник Вальтер Дорнбергер. С самого начала он поставил перед своими сотрудниками задачу раз и навсегда покончить с ложными теориями, неоправданными обещаниями и хвастливыми фантазиями. Все получаемые результаты должны иметь твёрдый научный фундамент.

На тот момент в Германии в области ракетостроения не проводилось никаких основательных научных исследований или экспериментальных работ. Никого, кроме отдельных изобретателей, пытавшихся получить финансовую поддержку, демонстрацией своих достижений и публикацией статей, не существовало. Кроме того, изобретатели вели непримиримую борьбу друг с другом. Ни промышленность, ни технические учебные заведения не уделяли никакого внимания изучению и созданию мощных ракет.

1 октября 1932 года 19-летний фон Браун присоединился к команде специалистов станции «Запад».

Он поражал энергией и сообразительностью. Обладая удивительными для его возраста теоретическими знаниями, фон Браун, казалось, улавливал мгновенно суть всех проблем и целиком погружался в их решение. Он разительно отличался свежестью мысли от многих своих руководителей. Когда было одобрено армейское начинание заняться ракетами на жидком топливе, Вальтер Дорнбергер в список нужных ему технических помощников первым внёс Вернера фон Брауна.

В январе 1933 года фон Браун поставил на испытательный стенд охлаждаемый водой ракетный двигатель тягой 140 кг. Его испытания позволили выявить ряд недоработок. Уже тогда фон Браун показал себя крупным организатором. Пользуясь финансовыми возможностями военного ведомства, он привлёк высококвалифицированных консультантов и стал через Дорнбергера размещать заказы на отдельные узлы двигательной установки на специализированных предприятиях. Так начала зарождаться кооперация, без чего ракетная техника существовать не могла. Кооперация позволила не только привлечь специалистов самой высокой квалификации, но и вести работы широким фронтом.

Созданный двигатель после нескольких отказов стал работать безупречно. После чего было решено приступить к созданию нового ракетного двигателя с увеличенной тягой до 1000 кг. Ракете дали условное наименование А-2. Изготовили два экземпляра такой ракеты, и в декабре 1934 года были осуществлены успешные запуски этих ракет. Эти ракеты ещё не имели системы автоматического управления полётом, а стабилизация на участке вертикального подъёма достигалась при помощи силовых гироскопов.

Для проведения экспериментов с более мощными двигателями и лётных испытаний ракет размеры имевшегося полигона в Куммерсдорфе оказались недостаточными. Требовалось новое место, полностью изолированное, где был бы не слышен характерный рёв ракетных двигателей. Вернер фон Браун был занят поисками места ещё с середины декабря 1935 года. Во время рождественских каникул, которые он провёл с родственниками под Анкламом, он обратил внимание на Пенемюнде и пришёл к выводу, что обширный лесной участок на севере острова Узедом вполне отвечает целям испытательной станции. Этот район был расположен вдали от больших городов, от любых транспортных артерий. Он лежал за камышовыми зарослями полуострова, который далеко вдавался в море. Цепь морских курортов, которые вытянулись вдоль побережья, близко не подходила к Пенемюнде.

РАКЕТНЫЙ ЦЕНТР ПЕНЕМЮНДЕ

Строительство центра завершилось в 1937 году. В декабре здесь были испытаны ракеты А-3. На этой ракете уже стоял гироскопический автомат управления полётом, однако его характеристики

при испытаниях оказались неудовлетворительными. Доработанный и улучшенный вариант ракеты получил обозначение А-5.

Летом 1939 года были проведены лётные испытания А-5. Достигнув высоты 13 км, ракета установила мировой рекорд для того времени. Всего было произведено 25 пусков.

Казалось бы, после А-3 должна была появиться ракета А-4. Её действительно начали проектировать раньше ракеты А-5. Но, поскольку она представляла собой по уровню сложности совершенно новый класс ракет, она стартовала много позже А-5.

Через семь лет после начала работ вплотную подошли к созданию изделия А-4, впоследствии названного V-2. В сентябре 1939 года главнокомандующий армией генерал-полковник Браухич заслушал сообщение по проекту А-4 и одобрил его как имеющего национальное значение.

Этому предшествовал в марте 1939 года первый визит Гитлера. Он прибыл на экспериментальную станцию в сопровождении фон Браухича и Беккера, чтобы познакомиться с ходом работ по созданию ракеты на жидком топливе. Пояснения фюреру давал фон Браун, рассказывая, как работает вся система в целом.

Потом Гитлера провели на большой испытательный стенд, где показали вертикально стоящую ракету А-5. И, наконец, в примыкающем к стенду ангаре ему подробно рассказали об агрегате А-4. Он слушал с интересом, не проронив ни слова.

Тем не менее, он, похоже, не оценил истинного значения ракет. Для фюрера все ракетчики выглядели несерьёзными фантазёрами. Да, он оценил новизну работ как таковую, но перспективу так и не разглядел. По-видимому, в его планах не было места для ракет, и он, скорее всего, не верил, что их время придёт. Возможно, затем, опьянённый политическими и военными победами и бездействием Англии и Франции, нацистский лидер полагал, что выиграет войну и без этого нового вида вооружения. Во всяком случае, верховное главнокомандование наполовину сократило ассигнования на А-4. Летом же 1940 года после победы над Францией, когда все средства были брошены на подготовку нападения на СССР, проект А-4 был вычеркнут из списка приоритетных.

С началом налётов на Англию в 1940 году немецкая бомбардировочная авиация несла огромные потери. Люфтваффе больше не могло себе позволить терять ценные экипажи. Согласно статистике, бомбар-

дивовицк совершал пять, максимум шесть вылетов, после чего его сбивали над Англией. При этом во время своего активного существования он доставлял к цели шесть-восемь тонн бомбового груза. С учётом стоимости подготовки экипажей общие потери бомбардировочной авиации в тридцать раз превышали стоимость ракеты А-4. Однако эту реальность на самом высоком уровне признали слишком поздно.

К лету 1942 года первая партия ракет А-4 была готова к лётным испытаниям. Первый экспериментальный запуск «настоящей» ракеты в истории ракетной техники состоялся в присутствии министра вооружений Альберта Шпеера и произвёл на него огромное впечатление.

Спустя двадцать пять лет Шпеер вспоминал, как 13 июня 1942 года в просеке соснового бора впервые *«увидел установленный безо всяких поддерживающих конструкций, устремлённый в небо снаряд высотой с четырехэтажный дом. В этом было что-то нереальное... В пусковую секунду, сначала как бы нехотя, а затем с нарастающим рокотом рвущего оковы гиганта ракета медленно отделилась от основания, на какую-то долю секунды, казалось, замерла на огненном столбе, чтобы затем с протяжным воем скрыться в низких облаках... Я был просто потрясён этим техническим чудом—опровержением на моих глазах привычного закона тяготения—без всякой механической тяги вертикально в небо вознеслись тринадцать тонн груза!»*.

Ракета массой в 13,8 т, которая могла нести полезный груз в 1000 кг, имела совершенную систему автоматического управления полётом, была снабжена газовыми рулями, на ней была осуществлена турбонасосная подача топлива в камеру сгорания двигателя и т.п. То есть, она содержала практически все элементы ракет-носителей наступавшей космической эры.

Второе испытание А-4 было проведено 16 августа 1942 года. В тот день А-4 стала первой в мире ракетой, преодолевшей скорость звука.

ВЫЗОВ В СТАВКУ ГИТЛЕРА

7 июля 1943 года Дорнбергер вместе с фон Брауном были приглашены в Ставку фюрера. Они захватили с собой фильм, снятый ещё девять месяцев назад. Сначала гости показали фильм и съёмки испытаний. Комментировал фон Браун. Он вкратце рассказал о конструкции ракеты А-4.

И фильм, и комментарии фон Брауна на сей раз явно заинтересовали Гитлера и убедили его в преимуществах этого вида оружия. Очевидно, подействовал разгром немецких войск в Сталинграде... В итоге он принял решение наделить Пенемюнде статусом высшей приоритетности в программе вооружения Германии.

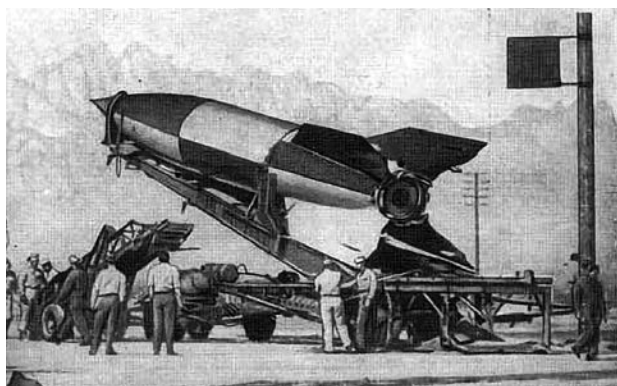
Прощаясь, он подошёл к Дорнбергеру, пожал ему руку и поблагодарил, сказав тихо, почти шёпотом: *«Почему же я не верил в успех вашей работы? Если бы такие ракеты были у нас в 1939 году, не пришлось бы вести эту войну. И Европа, и мир теперь станут слишком малы, чтобы вести войны. При таком оружии человечество их не выдержит».*

Шпеер, воспользовавшись ситуацией, предложил Гитлеру присвоить фон Брауну звание профессора. «Да, организуйте это сейчас же, — согласился тот. — Ради такого случая я сам подпишу диплом».

Положение Пенемюнде стало стремительно улучшаться. Потомком пошли материалы и людская сила. За несколько недель успевали сделать то, на что раньше требовались месяцы и годы. Была составлена программа производства ракет А-4. Она предусматривала постепенный выход к концу 1943 года на производство 950 штук в месяц. Однако эти расчёты были совершенно нереальными. На пути налаживания серийного производства ракет стояли серьёзные препятствия. На испытаниях часть ракет взрывалась сразу же после старта или же на активном участке траектории, другие разрушались в воздухе, не долетев до цели. Лишь около 10% всех пусков заканчивались успешно.

Необходимо было повысить точность попадания ракет. Они не могли использоваться в ходе военных действий, пока их разброс составлял порядка 18 километров.

Была поставлена задача свести рассеяние до полутора километров. Однако его так и не удалось сде-



Установка ракеты «Фау-2» на пусковой стол

лать менее 2,5 километров. Основными причинами разброса служили ошибки при наладке и корректировке, растущие допуски в системах управления и контроля, отсутствие стабильности гироскопов и прочие более мелкие факторы.

Кроме того, было ясно, что одноступенчатые ракеты не смогут покрывать значительные расстояния. Когда встал вопрос о создании ракеты, способной достичь территории США, конструкторы Пенемюнде решили сделать двухступенчатую ракету. Согласно проекту, в качестве первой ступени, представлявшей собой стартовый ускоритель, должна была использоваться ракета А-10, а вторая ступень состояла из снабжённой крыльями ракеты А-9.

Первая ступень ракеты весила 87 тонн, из которых 62 тонны составляло горючее. Вторая ступень размещалась над верхней частью А-10. Двигатель второй ступени развивал тягу 200 тонн и, работая в течение 50–60 сек, сообщал ракете скорость 4300 км в час.

Но такая ракета была столь дорога, что не имело смысла с её помощью забрасывать на другой континент обычную взрывчатку. Какую же взрывчатку собирались использовать немцы для своей межконтинентальной ракеты? Физики Третьего рейха трудились над «урановым проектом», ближайшей целью которого было создание первого атомного реактора на медленных нейтронах. Обогащение урана до «критической» массы было очень дорогим. Кроме того, в начале 1940-х годов не существовало ещё опробованных технологий, позволявших обогащать уран в промышленных масштабах. *(Но это отдельная тема, не входящая в нашу задачу показа достижений Вернера фон Брауна...)*

В итоге проект «А-9/А-10» был приостановлен из-за нереальности его воплощения

БОМБАРДИРОВКА ПЕНЕМЮНДЕ

В ночь с 17 на 18 августа 1943 года примерно в четверть первого на Пенемюнде со стороны острова Рюген пошли британские бомбардировщики. Первые несколько бомб упали перед гаванью на реке Пене. После попадания следующих семи бомб разрушились жилой посёлок и опытное производство. Пропала связь с силовой станцией на Пене. Пылали измерительный корпус, сборочные мастерские, начали гореть ремонтные мастерские и склад. Бомбардировщики непрерывно сменяли друг друга. Все тщательно разработанные планы действий на случай бомбардировки полетели к чёрту. Дорнбергер совершил с фон

Брауном рекогносцировочный облёт ракетного центра. Они были потрясены масштабом разрушений.

В налёте приняло участие 600 четырехмоторных английских бомбардировщиков, было сброшено 1500 тонн мощных бомб и огромное количество зажигалок. Число погибших составило 735 человек.

Через десять дней подвергся первой бомбардировке большой ангар в Ваттене на французском побережье. Вскоре воздушная разведка союзников обнаружила ещё семь пусковых ракетных установок: четыре в Па-де-Кале и три — на оконечности полуострова Шербур. К середине ноября была обнаружена ещё двадцать одна пара таких установок, похожих на гигантские лыжи.

В декабре 1943 года Уинстон Черчилль дал операциям, предпринимаемым англо-американской авиацией против немецкой программы оружия дальнего действия, кодовое имя «Арбалет». За несколько недель до открытия Второго фронта генерал Эйзенхауэр отдал приказ, согласно которому операции «Арбалет» отдавалось решающее предпочтение.

Генерал Эйзенхауэр в книге «Крестовый поход в Европу» писал, что, если бы немцы успели пустить в ход своё новое оружие на шесть месяцев раньше, Нормандская операция столкнулось бы с исключительными трудностями и, может, стала бы невозможной.

АРЕСТ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПЕНЕМЮНДЕ

Однажды в марте 1944 года в два часа утра Вернера фон Брауна разбудили сотрудники гестапо и вместе с ещё двумя специалистами отвезли в тюрьму. Ему предъявили обвинение в том, что он использовал средства армии для разработки не боевой, а космической ракеты.

Надо признать, что основания для подобных подозрений были. Браун с сотрудниками, действительно, обсуждал планы создания двухступенчатой ракеты А-9/А-10, способной пролететь 3000 км. Такая увеличенная преемница А-4 уже могла использоваться для освоения внеземного пространства. Браун имел неосторожность сказать, что ракетчикам, целиком занятым военной тематикой, ближе ракетные полёты в космос. При этом он выразил уверенность, что после войны они займутся прорывом в космос. Это не могло вызвать у руководства Третьего рейха чувства симпатии. Результатом подобных разговоров и стал арест.

Трудно сказать, как сложилась бы судьба фон Брауна и других сотрудников Пенемюнде, если бы не решительное заступничество армейского начальства. Фон Браун, лучший из специалистов Пенемюнде, который, обладая поразительной работоспособностью, целиком отдавал себя проекту А-4, арестован за саботаж! В это было невозможно поверить.

В результате помощи военных и самоотверженной борьбы Дорнбергера за арестованных их освободили.

Тем не менее, арест пошатнул репутацию фон Брауна у нацистов. Многие даже после его освобождения остались уверенными в том, что для него исследования космоса важнее, чем служение делу национал-социализма. После окончания войны тот факт, что фон Браун был объявлен гестапо врагом Третьего рейха, сыграл в его судьбе важную роль.

ВЫБИРАЕТ АМЕРИКУ

Как складывалась жизнь фон Брауна после окончания войны?

В первых числах апреля 1945 года был получен приказ эвакуировать коллектив сотрудников Пенемюнде в нижние предгорья Альп под Обераммергау. Что побудило отдать такой приказ? Возможно, начальство уже подумывало о переговорах с американцами и продаже им немецкой ракетной технологии и специалистов в обмен на свою жизнь.

6 апреля, когда американские танки уже прошли Блейхероде, сотрудники двинулись в путь в сопровождении людей из СД.

На следующий день после сообщения германского радио о самоубийстве фюрера фон Браун и шесть членов его команды перебрались через Альпы в Австрию, где сдались американцам и были арестованы. Немцы размышляли, что они должны сказать американцам, чтобы сделка оказалась для них выгодной. Решили не выкладывать всё сразу. Эта сдержанность была замечена американскими офицерами разведки и вызвала у них неприязнь к немецким специалистам.

Порт Свинемюнде и остров Узедом вместе с Пенемюнде были заняты 5 мая 1945 года войсками 2-го Белорусского фронта под командованием маршала Рокоссовского. Сам ракетный центр Пенемюнде был захвачен подразделением Анатолия Вавилова, на которого была возложена ответственность за сохранность оставшегося там оборудования.

Тем временем американские солдаты под руководством полковника Хольджера Тофтоя начали собирать узлы ракеты «Фау-2». Из имевшихся деталей можно было полностью собрать сотню ракет. Кроме того, американцы нашли 14 тонн документации, которую фон Браун в своё время приказал спрятать в надёжном месте. И, наконец, к американцам попали те люди, которые создавали эти ракеты.

Офицеры американской разведки допрашивали сдавшихся в плен специалистов в течение нескольких недель. Через много лет одного из них спросили, кому же всё-таки принадлежала идея привезти фон Брауна и его людей в Соединённые Штаты, и он ответил, скорее всего, это была идея самого фон Брауна. Вернер тоже запомнил эти волнующие дни. Странно, но ему почему-то не задавали вопросов типа: почему вы так быстро изменили своей стране после войны; использовали ли вы высокопоставленных нацистов, чтобы добиться своей цели, или сами были убеждённым нацистом; знали ли вы о том, что происходило в концентрационных лагерях?..

Кстати, сам Вальтер Дорнбергер попал в США только в 1947 году. Американцы требовали его выдачи для проведения допросов, считая, что он является носителем главных тайн, а британцы утверждали, будто им нет дела до тайн Дорнбергера, для них — он нацистский преступник и должен быть повешен. В целом же конфликт англичан



Двенадцать главных немецких ракетчиков, сменивших Центр Пенемюнде на Редстоунский арсенал в США (июнь 1959 года)

с американцами по поводу немецких специалистов завершился компромиссом: англичане отдают всех учёных, а взамен получают доступ к любой документации по ракетам, которой будут располагать американцы.

Любопытная подробность. Б.Е.Черток — один из ближайших соратников Королёва — в своей книге «Ракеты и люди» писал, что он в 1945 году предложил выкрасть у американцев фон Брауна, но это не удалось. А после завершения полёта «Аполлона-11», ознаменовавшего собой поражение СССР в «лунной гонке» с Америкой, один из руководителей ракетно-космической отрасли СССР пошутил: «Это всё Черток виноват». На что Борис Евсеевич ответил: *«И очень хорошо, что эта авантюра мне не удалась. Просидел бы у нас фон Браун без толку, потом отправили бы его в ГДР. Там как бывшего нациста никуда бы не допустили. А так с помощью американцев он осуществил не только свою мечту, но и мечту всего человечества»*. Однако этот разговор, если и был на самом деле, то ему предшествовали без малого четверть века жизни фон Брауна в Америке.

Обнаружив очевидное отставание в области военного ракетостроения, американские военные главной своей задачей определили не создание своих ракет, а воспроизведение на американской территории того, что успели сделать немецкие конструкторы. Именно на освоение чужого опыта были брошены все силы.

Вернер фон Браун прибыл в Америку как военнопленный, под надзором офицеров американской армии. Вместе с ним прибыли ещё шесть его коллег — виднейших специалистов в области ракетостроения. На следующий после прибытия день их доставили на военный аэродром в окрестностях Бостона. Оттуда их отвезли в бостонский морской порт, и далее — в Форт-Стронг, который был резиденцией армейской разведки США. Там после допроса должны были решить их дальнейшую судьбу.

Немцам задавали, в общем-то, те же вопросы, на которые они уже отвечали в Германии, когда добровольно сдались американцам. После окончания допросов в подготовленных досье было зашифровано, чем эти люди будут заниматься в Соединённых Штатах и на кого работать.

1 октября 1945 года майор Джеймс Хэмилл подписал документ, согласно которому немецкие специалисты переходили под его надзор. Майору поручили осуществление программы разработки управляе-

мых ракет. Пока весь его штат состоял из семи немецких специалистов. Он отправился в Вашингтон, чтобы представить там фон Брауна генералам из армии США в качестве выдающегося конструктора ракет.

В качестве главного испытательного полигона решили использовать артиллерийский полигон Уайт Сэндз в штате Нью-Мексико, расположенный недалеко от полигона Уайт Сэндз, на котором Роберт Оппенгеймер и другие физики-ядерщики испытывали первую атомную бомбу. В 192 км от полигона Уайт Сэндз находилась стартовая площадка, с которой в начале 1930-х годов стартовали ракеты Роберта Годдарда.

В конце июля 1945 года на полигон в Уайт Сэндз было доставлено 300 вагонов с агрегатами и деталями ракет V2 («Фау-2»). Был построен стенд для огневых испытаний собранных ракет. Программа испытаний предусматривала в среднем по два запуска ракет в месяц. Испытывать ракеты было поручено немцам.

Полигон Уайт Сэндз, однако, оказался тесен для ракетчиков: расстояние от стартовой позиции на нём до района падения снарядов не превышало половины дальности ракеты V2. Ракетный полигон большей протяжённости можно было найти только на берегу океана. В мае 1949 года были начаты переговоры с английским правительством о том, чтобы создать станции наблюдения и слежения на Багамских островах. Одновременно для строительства стартовых позиций был выбран мыс Канаверал на восточном побережье Флориды.

В это же самое время немецкие инженеры из Пенемюнде под руководством фон Брауна, обосновавшиеся в Хантсвилле (шт. Алабама), работали над многоступенчатой баллистической ракетой для Редстоунского арсенала армии США.

Ракета «Редстоун» или «Юпитер-А» являлась прямым «потомком» ракеты V2. В качестве топлива в ней тоже применялся этиловый спирт и жидкий кислород. Дальность полёта ракеты «Редстоун» составляла примерно 320–400 км. Поскольку эта ракета имела значительно большие габариты, чем ракета V2 (длина — 21,2 м, диаметр — 1,8 м, размах стабилизаторов — 4,4 м, стартовый вес — 18 000 кг, тяга ракетного двигателя при старте — 29 500 кг), боевая часть могла весить не менее 5 тонн. Большая полезная нагрузка делала ракету «Redstone» почти идеальным ускорителем — вернее, первой ступенью — для весьма сложных и тяжёлых опытных многоступенчатых ракетных систем. Например, она могла бы нести многоступенчатую систему связей

ракет на твёрдом топливе, и надо сказать, что этот эксперимент не замедлил состояться.

ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕМЕЦКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В США

Притом, что немецкие специалисты прожили в США год, они не имели никаких документов на право проживания на территории Америки. Поэтому им было запрещено покидать пределы Форт-Блисса, обнесённого колючей проволокой. Лишь в начале сентября армейские чиновники выдали немцам специальные пропуска, позволявшие им свободно перемещаться в окрестностях Эль-Пасо.

В начале 1946 года Координационный комитет армии и флота США разработал специальный документ, легализирующий ввоз в страну немецких специалистов и заключение с ними долгосрочных контрактов. 6 сентября 1946 года этот проект был одобрен президентом Гарри Трумэном, но проблему это не решило.

Американская пресса старалась превратить фон Брауна и его коллег из вражеских учёных и бывших нацистов в добропорядочных отцов семейств и мужей, достойных стать гражданами Соединённых Штатов. Однако не все американцы готовы были забыть, что почти все они в годы войны были пособниками нацистов.

30 декабря 1946 года группа выдающихся американских деятелей, включая Альберта Эйнштейна, известного политика Ричарда Нойбергера, профсоюзного лидера Филиппа Мюррея и ряда религиозных лидеров, направила президенту Трумэну ноту протеста, в которой было, в частности, написано следующее: *«Мы считаем этих людей потенциально опасными для Соединённых Штатов, поскольку они способны посеять на американской земле семена расовой ненависти и религиозной нетерпимости. Многие из них в прошлом либо состояли в нацистской партии, либо молчаливо одобряли злодеяния нацистов, и поэтому мы считаем, что они не достойны быть гражданами Соединённых Штатов и занять со временем ключевые позиции в американской промышленности, науке и системе образования».*

13 сентября 1947 года директор ФБР Эдгар Гувер обратился к руководителю разведки армии США Стивену Чемберлену, рекомендуя ему лишить немцев возможности доступа к секретной информации. Понимая, что рекомендация Гувера невыполнима, поскольку немцы сами и были создателями секретной информации, Чемберлен, тем не менее, воспользовался советом Гувера, но в своих интересах, а имен-

но, как поводом для легитимизации пребывания фон Брауна и его группы в США.

Учитывая разрастающиеся масштабы «холодной» войны, Чемберлен объяснил Гуверу, который ненавидел коммунизм, что немцы были союзниками в борьбе против коммунистической угрозы. И Гувер без колебаний принял аргумент Чемберлена. Более того, он согласился поддержать немцев в их усилиях получить визы и стать легально проживающими иностранцами.

2 ноября 1949 года, через четыре года после того, как фон Браун прибыл в Соединённые Штаты, он покинул Форт-Блисс в сопровождении военной охраны, пересёк границу с Мексикой и направился прямо в консульство США, где получил визу на въезд в Соединённые Штаты. Спустя несколько часов Вернер фон Браун вернулся в Соединённые Штаты в качестве легального иммигранта. Весной следующего года большинство членов его ракетной группы дважды пересекли Рио-Гранде и стали людьми, легально проживающими в США.

ВЕРНЕР ПУСКАЕТ КОРНИ

Вернер фон Браун решил обзавестись семьёй. 7 ноября 1946 года он сообщил, что собирается вступить в брак с Марией Луизой фон Квисторп и попросил, чтобы ей позволили приехать вместе с его родителями из Германии.

Мария фон Квисторп приходилась ему «полукузиной», т.е. у них был общий дед. Последний раз Вернер видел её зимой 1945 года, когда ей было всего 16 лет. Тридцатипятилетний Вернер был старше её на 17 лет и потом в шутку говорил, что захотел жениться на ней в тот момент, когда ещё юношей держал её на руках в церкви во время обряда крещения. Они прожили вместе 30 лет. В 1948 г. у них родилась первая дочь Ирис, через четыре года Маргит, а в 1960 г. сын Петер.

Родителям Вернера фон Брауна удалось выехать в лагерь «Оверкаст», в котором под опекой американской армии проживали семьи других немецких ракетчиков. Мария фон Квисторп находилась в британской зоне оккупации, но регулярно переписывалась с родителями Вернера. О судьбе её отца удалось узнать лишь в сентябре 1948 года. Он находился в одном из лагерей в Восточной Германии. Отец Вернера фон Брауна решил позаботиться о Марии и выдать её за Вернера, чтобы избавить девушку от тягот послевоенной жизни в Германии и, может быть, сделать счастливым своего сына.

«ЦЕНТР УПРАВЛЯЕМЫХ СНАРЯДОВ»

В октябре 1948 года Редстоунский арсенал артиллерийско-технической службы сухопутных войск был преобразован в центр исследований и разработок по ракетной технике. Вскоре к нему был присоединён Хантсвиллский арсенал.

В апреле 1950 года начался переезд группы фон Брауна в Хантсвилл. Переезд завершился в ноябре. Кроме немецких специалистов переехали 500 военных, 120 гражданских служащих и несколько сот работников компании «Дженерал электрик» — главного ракетного подрядчика армии.

Новая организация получила название «Центр управляемых снарядов артиллерийско-технической службы». Ставший генералом полковник Тофтой управлял работой центра из Пентагона, а его представителем в Редстоуне стал теперь уже полковник Хэмилл. Вернер фон Браун получил должность «технического директора группы разработки управляемых снарядов».

Для отражения военного вторжения в Южную Корею президент Трумэн послал американские войска. Одновременно с этим группе Редстоунского арсенала поручили начать исследования с целью создания баллистической ракеты радиусом действия 800 км, и ракеты дальностью 320 км, но с увеличенным до 3 т полезным грузом, в качестве которого предполагалось разместить ядерную боеголовку. Новая ракета несла заряд такой разрушительной силы, что Фау-2 казалась по сравнению с ней просто детской игрушкой. Эта ракета 8 апреля 1952 года была названа «Редстоун».

РАЗГОВОР О СПУТНИКЕ

Практическое планирование создания первого искусственного спутника началось в июне 1954 года. Всё оформление проекта фон Браун взял на себя. В вводной части он написал: *«Запуск искусственного спутника, сколь угодно маленького, был бы научным достижением огромной важности. Поскольку это проект, который при имеющемся опыте создания ракет может быть реализован за несколько лет, логично предположить, что и другие страны могут сделать то же самое. Если мы не сделаем это первыми, это нанесёт удар по престижу США».*

...Тем временем группа фон Брауна получила новое задание на разработку баллистической ракеты с радиусом действия 2400 км, ко-

торая могла бы доставлять груз весом 1 т. Группой фон Брауна была построена совершенно новая ракета «Юпитер» с дальностью полёта 3200 км. Двигатель ракеты развивал тягу 60 т. Крайне важным для конструкции «Юпитера» была носовая часть, не сгоравшая при входе в атмосферу, благодаря покрытию поверхности специальным материалом, который при сгорании уносил тепло.

Пуск первого «Юпитера С» с мыса Канаверал состоялся 20 сентября 1956 года. Груз был поднят на высоту 1091 км, а ракета преодолела расстояние 5440 км. Установленные рекорды высоты и дальности продержались два года. Программа «Юпитер С» оказалась полностью выполненной уже после запуска трёх из запланированных 12 ракет. Остальные ракеты были размещены в хранилище и поддерживались в состоянии, близком к состоянию готовности.

АМЕРИКА В ШОКЕ ОТ ЗАПУСКА СОВЕТСКОГО ИСЗ

Когда на космодроме Байконур заканчивалась предстартовая подготовка ракеты с первым искусственным спутником Земли на борту, в Хантсвилле, штат Алабама, «команда фон Брауна» принимала высокопоставленных гостей из Вашингтона, среди которых был назначенный министром обороны США Нейл МакЭлрой.

Фон Браун сильно рассчитывал обрести в лице нового министра обороны сторонника своей программы запуска спутника, поскольку предыдущий глава военного ведомства Чарльз Вильсон относился к этой затее отрицательно, считая космический полёт никому не нужной ерундой.

«Выиграть гонку у русских» — такая политическая цель могла интересовать политиков, а не учёных. Однако ни Вернер фон Браун, ни другие участники той встречи даже не надеялись, что им удастся увлечь своей затеей администрацию президента Эйзенхауэра. Неожиданно в Белом доме сочли, что выведение на орбиту небольшого искусственного спутника лишний раз продемонстрирует технологическую мощь Америки и её лидирующую роль в мире.

Запуск спутника был поручен группе ракетчиков военно-морского флота США. Как отмечает Борис Раушенбах, «поручение столь ответственного задания разработчикам, связанным с флотом, имело чисто пропагандистский смысл. Руководству страны хотелось, чтобы первый шаг в космос совершили стопроцентные американцы. А фон Браун и сотни его немецких сотрудников, лишь недавно получившие

американское гражданство, были в глазах всех «американцами второго сорта».

Что же касается реализации программы, то её не поручили фон Брауну и его сотрудникам, имевшим бесценный опыт в области ракетостроения, помня их нацистское прошлое. Во многом из-за этого ошибочного решения Америка проиграла первый этап космической гонки.

Поддержанный правительством проект, получивший название «Авангард», включал в себя создание спутника и носителя. Вернер фон Браун пытался убедить правительственных чиновников, что «Авангард» летать не может. Но его слова оставались гласом вопиющего в пустыне.

На встречу с МакЭлроем фон Браун принёс диаграммы, чертежи, проекты. Беседа перемежалась с выпивкой. Казалось уже, что в лице нового министра обороны фон Браун нашёл единомышленника, и тут раздался крик. Директор по связям с общественностью Гордон Харрис сообщил, что русские запустили спутник! Изменившийся в лице Вернер фон Браун, с трудом сдерживая ярость, произнёс: «Сэр, когда вы получите полномочия, дайте нам свободу, и мы запустим спутник через шестьдесят дней».

Но титула «пионер космонавтики» его уже лишил Сергей Павлович Королёв.

Успех Советского Союза шокировал всю Америку. Газета «Дэйли ньюс» писала: «Сейчас мы выглядим довольно глупо со всем нашим пропагандистским визгом, когда мы утверждали на весь мир, что русские плетутся где-то в хвосте в области научных достижений». А агентство ЮПИ добавляло: «Девяносто процентов разговоров об искусственных спутниках Земли приходилось на долю США. Как оказалось, 100 процентов дела пришлось на Россию».

Это был серьёзный удар по вере американцев в своё технологическое превосходство над всем остальным миром. Необходимы были срочные и адекватные в пропагандистском плане меры, чтобы ослабить негативное воздействие достижения русских.

Но вслед за первым 3 ноября 1957 года последовал второй советский искусственный спутник Земли. Возмущение общественности, шум в средствах массовой информации достиг предельного уровня.

Руководство проектом «Авангард» получило указание ускорить подготовку и запуск спутника. Несмотря на все предпринятые в США усилия, первую попытку запустить спутник удалось осуществить лишь спустя два месяца. Старт ракеты-носителя «Авангард» с килограммовым спутником на борту был назначен на 6 декабря 1957 года. Все ведущие радиостанции Америки вели прямой репортаж с мыса Канаверал. Уже на второй секунде полёта ракета, оторвавшись от стартового стола, слегка качнулась и, охваченная пламенем, рухнула на землю.

Тут же начался поиск виновных в случившемся. Председатель Демократической партии Пол Батлер возложил ответственность на Вернера фон Брауна, заявив, вопреки фактам, что тот был ответственным за программу, поэтому «если кто-то и должен нести ответственность, то это фон Браун».

Тем временем, пользуясь покровительством генерала Джона Медариса, шефа в Редстоуне, фон Браун вместе со своими сотрудниками начал разработку национальной космической программы, рассчитанной минимум на десять лет вперёд.

После неудачи вспомнили об обещании фон Брауна и дали ход альтернативному проекту — спутнику «Эксплорер». Фон Браун сдержал данное обещание запустить первый американский спутник, хотя на это ему потребовалось не 60 дней, а несколько больше. 29 января 1958 года четырехступенчатая ракета «Юпитер С/Эксплорер-1» была на стартовой площадке мыса Канаверал.

Из-за погодных условий запуск перенесли на 31 января. В 10:55 вечера прошла команда на пуск двигателя «Юпитера С. Спустя 157 секунд на высоте 96 км двигатель первой ступени выключился. Через 5 секунд произошло отделение верхних ступеней, которые по инерции поднимались до высоты 360 км. Затем с мыса Канаверал был подан сигнал на запуск двигателей второй ступени, которые работали 6,5 секунды. Столько же отработали двигатели третьей ступени. Потом включился двигатель четвёртой ступени. В результате «Эксплореру-1» была придана орбитальная скорость 28 800 км/час.

Вернер фон Браун в это время находился в центре связи в Пентагоне вместе с министром сухопутных войск и небольшой группой генералов и ведущих учёных, работавших для армии. Сотрудник лаборатории реактивного движения Пикеринг был на линии связи с радио-

приёмной станцией в Сан-Диего. В расчётное время спутник над Сан-Диего не появился. Все присутствовавшие уставились на фон Брауна. Вдруг Пикеринг радостно закричал, что спутник слышат. Фон Браун, взглянув на часы, сказал, что спутник опоздал на восемь минут.

Но это уже никого не интересовало. Позвонили президенту Эйзенхауэру. Он расположился перед заранее подготовленным микрофоном и сообщил новость всему миру, сказав: «Соединённые Штаты успешно вывели научно-исследовательский спутник на орбиту вокруг Земли. Это часть вклада нашей страны в Международный геофизический год».

Так соревнование с группой ракетчиков ВМС выиграла «команда» фон Брауна: на околоземной орбите 1 февраля 1958 года появился первый американский искусственный спутник Земли «Эксплорер-1».

В отличие от советского спутника, «Эксплорер-1» собрал ещё и важные научные данные. Двигаясь по сильно вытянутой эллиптической орбите с максимальным удалением от Земли на 1536 км и минимальным — 336 км, спутник составил карту радиационных поясов, названных поясами Ван Аллена, который спланировал этот эксперимент.

СОЗДАНИЕ НАСА

После запуска «Эксплорера-1» Вернер фон Браун стал знаменитостью. Журнал «Тайм» 17 февраля 1958 года поместил портрет фон Брауна на обложку своего выпуска. Этому примеру последовали и другие журналы. В начале 1959 года студия «Коламбия Пикчерз» начала работать над фильмом «Я стремлюсь к звёздам» о жизни фон Брауна. Фильм рассказывал историю жизни фон Брауна с момента, когда он впервые заинтересовался ракетами, и до запуска искусственного спутника Земли.

Роль Вернера фон Брауна исполнял обладавший тевтонской внешностью Курт Юргенс. Самому Вернеру фон Брауну фильм не понравился. Это не было похоже на историю его жизни или на миф, который он сам сотворил, это был всего лишь голливудский вымысел.

17 января 1959 года президент Эйзенхауэр в Вашингтоне вручил фон Брауну медаль «За выдающиеся заслуги» — высшую награду для гражданских служащих.

В начале 1958 года Управление по перспективным исследовательским проектам министерства обороны пригласило фон Брауна для участия в обсуждении возможного лунного проекта. Фон Браун пред-

ложил построить большую ракету-носитель, объединив 8 двигателей «Юпитер». 15 августа 1958 года на создание этой ракеты было выделено 10 миллионов долларов.

2 апреля 1958 года президент Эйзенхауэр в своём послании конгрессу предложил создать гражданское космическое ведомство. 21 июля создание Национального управления по авиации и исследованию космического пространства (НАСА) было санкционировано. 20 августа Эйзенхауэр отнёс пилотируемые космические полёты к компетенции НАСА. Свою работу НАСА начало с организации проекта «Меркурий», цель которого состояла в выводе на орбиту космического аппарата с человеком на борту.

Численность персонала НАСА к 1969 году достигла 31 745 человек. Из них научных работников и инженеров 13 700. Общая численность сотрудников, занятых в программах НАСА, составила 218 345 человек.

КЕННЕДИ СТАВИТ НАЦИОНАЛЬНУЮ ЗАДАЧУ

1960 год был годом президентских выборов. Демократы, подвергая критике действия республиканской администрации, не обошли вниманием и космос. Кеннеди довольно много в своих выступлениях говорил о необходимости более активной политики в отношении космических исследований.

Американские историки техники ставят Вернеру фон Брауну в вину его колебания. Если бы он дал своё согласие на суборбитальный полёт «Меркурия» с пилотом на борту уже в феврале 1961 года, то приоритет Америки никто не смел бы оспорить: первым космонавтом планеты считался бы не Юрий Гагарин, а кто-нибудь из отобранной тройки — Алан Шепард, Джон Гленн или Вирджилл Гриссом.

Действительно, в декабре 1960 года программа подготовки запуска была выполнена в полном объёме. Но сразу решиться на суборбитальный полёт человека руководители НАСА не решились. Поэтому 31 января 1961 года был успешно осуществлён полёт «Меркурия-2» с шимпанзе по кличке Хэм. Возникли некоторые проблемы при спуске.

Следующий запуск «Меркурия-2» состоялся 21 февраля. Его целью была проверка эффективности теплозащиты и работоспособности систем контроля. Он прошёл без единого замечания, и отобранные для первого полёта астронавты выразили желание лететь прямо сейчас.

Однако Вернер фон Браун колебался. Он — единственный, кто по опыту запусков «Фау-2» знал, что успех в самом начале не гарантирует стопроцентную надёжность в дальнейшем. А катастрофу космического корабля с американским пилотом на борту ему не простят никогда. Он хотел быть абсолютно уверенным, что к полёту готовы и корабль, и ракета, и все наземные службы. Поэтому он настоял на необходимости ещё одного беспилотного запуска, который был успешно осуществлён 24 марта 1961 года.

Теперь уже всё было готово для того, чтобы отправить в космическое пространство человека. Старт назначили на 24 апреля. НАСА разослало приглашения редакторам ведущих журналов и газет, которым предстояло рассказать всему миру о новом достижении Америки. При этом все забыли бы о том, что вес космического корабля «Меркурий» в четыре раза меньше, чем вес корабля «Восток», и продолжительность его жизни на орбите — в три раза меньше. Но сам факт первого полёта стал бы символом Великой Америки.

Однако событие 12 апреля 1961 года заставило Америку опять довольствоваться второй ролью. 5 мая 1961 года лётчик военно-морской авиации США Алан Шепард совершил суборбитальный полёт продолжительностью всего 15 минут. Настоящий орбитальный полёт «Меркурия» с лётчиком-испытателем Джоном Гленном состоялся лишь 20 февраля 1962 года.

После полёта Юрия Гагарина новый американский президент поставил грандиозную цель: вместо скромной роли участника стать первыми в космической гонке. Было принято решение — осуществить высадку человека на Луну. Началась громадная по объёму программа, включавшая в себя создание новой сверхтяжёлой ракеты-носителя «Сатурн», разработка которой была поручена ракетчикам под руководством фон Брауна.

Кеннеди дал понять, что рассматривает полёт на Луну как средство одержать победу над Советским Союзом в «космической гонке». *«Ни один другой космический проект в данный период времени не произведёт на человечество большего впечатления, не будет более важным для долгосрочного освоения космоса или же более трудным и дорогим в осуществлении»*, — заявил президент.

Чиновники из НАСА представили в Комиссию Конгресса по науке и космосу оценочные цифры стоимости лунной программы: от 20 до

40 миллиардов долларов. Конгресс принял эти предложения, и в результате появилась программа «Аполлон».

СОЗДАНИЕ СЕРИИ РАКЕТ «САТУРН»

Фон Браун отвечал за поставку больших ракет-носителей. В конструкциях ракет использовались достижения последнего десятилетия: камеры сгорания делались из металла, пронизанного трубопроводами, по которым протекало топливо перед впрыскиванием в двигатель. Такой способ охлаждения двигателя приводил к значительному его облегчению, что, в свою очередь, позволило увеличить полезный груз.

Спроектированная с использованием всех этих новшеств ракета «Сатурн-1» весом 748 т и высотой 38,1 м могла вывести на орбиту полезный груз весом 10 т. На её первой ступени были установлены восемь усовершенствованных двигателей «Юпитер», создававших суммарную тягу 680 т. «Сатурн-1» предназначалась, в основном, для отработки компонентов, предназначенных для «лунной» программы.

Затем была создана ракета «Сатурн-1Б». Двигатели её первой ступени, работавшие на жидком кислороде и керосине, создавали суммарную тягу 745 т. На второй ступени впервые использовался новый

двигатель J-2 на жидком водороде и жидком кислороде, развивавший тягу 115 т. Ракета «Сатурн-1Б» позволяла вывести на орбиту 16 т.

Вслед за «Сатурном-1Б» группа Вернера фон Брауна приступила к проектированию трехступенчатой ракеты «Сатурн-5». Её первая ступень имела 5 новых двигателей F-1, работавших на керосине и жидком кислороде и развивавших



Вернер фон Браун на фоне своего детища — космического носителя «Сатурн-5».

тягу по 680 т каждый, и совокупную тягу первой ступени — 3401 т. На второй и третьей ступенях использовались двигатели J-2 на жидком водороде и жидком кислороде.

По первоначальному проекту ракета «Сатурн-5» высотой 111 м и весом более 2700 т могла вывести на орбиту Земли груз в 140 т, а на орбиту Луны — 47 т. 25 января 1962 года проект «Сатурн-5» был одобрен НАСА.

11 сентября 1962 года президент Кеннеди посетил Центр космических полётов имени Дж. Маршалла.

При подъёме ракеты Сатурн-5 из горизонтального в вертикальное положение возникали неравномерные нагрузки, кроме того, возросшая сложность ракеты требовала более тщательной проверки её ступеней перед окончательной сборкой. Поэтому для сборки ракет-носителей «Сатурн-5» с кораблями «Аполлон» было построено колоссальное здание, в котором были самые высокие в мире ворота (высота 130 м), а на их открытие уходит 45 минут. Потом это же здание служило для сборки космических кораблей многоразового использования с центральным баком и боковыми ускорителями.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ «АПОЛЛОН»

11 октября 1968 года корабль «Аполлон-7» был выведен на орбиту вокруг Земли с помощью ракеты «Сатурн-1Б». Это был первый полёт корабля «Аполлон» с экипажем. Полёт длился 11 дней. Задача состояла в проверке пилотируемого корабля в составе служебного и командного модулей без их лунного модуля.

21 декабря с использованием «Сатурн-5» был осуществлён полёт «Аполлона-8» с тремя членами экипажа вокруг Луны, но без лунного модуля. «Аполлон-8» облетел десять раз естественный спутник Земли и 27 декабря благополучно вернулся домой.

3 марта 1969 года «Сатурн-5» поднял командный и лунный модули на околоземную орбиту для испытания ЛМ и отработки стыковки в космосе. Для этого два астронавта перешли в лунный модуль. В процессе перехода был испытан скафандр для работы на Луне. Астронавты отстыковались от командного модуля (КМ), и отошли от него на 100 миль. Затем, отделив взлётную ступень от посадочной ступени ЛМ, астронавты пошли на сближение с командным модулем. Опасения вызывали операция разделения двух частей ЛМ в вакууме и сты-

ковка взлётной ступени и командного модуля. Всё прошло штатно, и 13 марта «Аполлон-9» приводнился в заданном районе Атлантического океана.

18 мая при помощи «Сатурна-5» был осуществлён ещё один полёт корабля «Аполлон-10» к Луне — генеральная репетиция. То, что делал экипаж «Аполлона-9» на околоземной орбите, предстояло выполнить на орбите Луны. На этот раз лунный модуль приблизился к поверхности Луны на расстояние 14 км. Необходимо отметить, что носитель на всех запусках работал безупречно.

Накануне старта «Аполлона-11» во всех близлежащих от места старта мотелях проходили приёмы и вечеринки. Самый большой приём, на котором присутствовали самые богатые, знаменитые и могущественные люди, давался в клубе «Ройял», который был оплачен журналом «Лайф», устроившим увеселительную поездку для президентов корпораций и высокопоставленных администраторов. Сначала их отвезли в Хьюстон для встречи с астронавтами, а затем на мыс Канаверал, чтобы они могли присутствовать при запуске корабля «Аполлон-11».

Вернер фон Браун получил почётное право выступить на банкете. Он сказал: «Подлинной целью завтрашнего полёта является будущее Земли. Мы расширяем область человеческого сознания. Мы заставляем данный Богом разум и данные Богом руки достигнуть своих высших возможностей, и от этого выиграет всё человечество. Когда Нейл Армстронг ступит на Луну, это будет совершенно новый шаг в эволюции человека».

ХРОНИКА ПОЛЁТА НА ЛУНУ

На рассвете Нейл Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин вошли в командный модуль башни «Сатурн-5». Все вели себя так, словно риск предстоящего полёта был невелик, а многие считали, что его не было вовсе. Во всяком случае, в надёжность ракеты утром 16 июля верили все. Никто не смел и думать о возможной неудаче. Для этого имелись основания: «Сатурн-1» в нескольких версиях совершил 15 успешных полётов, а «Сатурн-5» выполнил 5 полётов почти без замечаний.

По оценкам, число зрителей составляло свыше миллиона человек. Они расположились вдоль восточного побережья Флориды в пределах видимости от корабля «Сатурн-5/Аполлон-11». Большинство приеха-

ли на своих машинах. Тысячи людей находились в лодках, бросивших якорь возле мыса Канаверал.

Вернер фон Браун приехал в Центр управления в 4 часа утра. Там уже более 50 человек сидели перед мониторами, следя за состоянием корабля. За 15 секунд до старта — переход на внутреннее управление. Вернер фон Браун стал тихо молиться.

Через 2 часа 45 минут после старта «Аполлона-11» астронавты повторно включили двигатель третьей ступени. Он отработал 6 минут, и перевёл «Аполлон-11» с орбиты спутника Земли на траекторию полёта к Луне, сообщив ему вторую космическую скорость.

Через 76 часов с момента старта корабль начал входить в поле сил тяготения Луны и переходить на орбиту её спутника. Майк Коллинз запустил двигатель командного модуля на торможение. Отработав 6 минут, он вывел «Аполлон-11» на селеноцентрическую орбиту.

Приближался самый ответственный момент. Армстронг и Олдрин вывели лунный модуль на более низкую орбиту перед спуском на поверхность Луны. С разрешения Хьюстона астронавты запускают двигатель лунного модуля и начинают спуск.

На высоте нескольких сот метров над поверхностью Армстронг заметил, что бортовой компьютер, который управляет тормозным двигателем и посадкой модуля, ведёт их на поле, покрытое большими валунами. Он быстро перешёл на ручное управление и начал искать ровный участок для посадки лунного модуля.

Топлива в баках, по оценкам Центра управления, оставалось на 20 секунд, когда Армстронг доложил: «Хьюстон, мы на дне Моря Спокойствия. Орёл приземлился».

Армстронг и Олдрин укрепили на поверхности Луны государственный флаг США, провели несколько экспериментов, собрали около 18 кг лунных камней, проведя на Луне в общей сложности 21 час 38 минут, в том числе, погуляв по поверхности Луны пешком 2 часа 21 минуту.

21 июля в точном соответствии с программой полёта астронавты стартовали с поверхности Луны. После успешной стыковки лунного модуля «Орёл» с командным модулем Коллинз запустил двигатель, и командный модуль перешёл на траекторию полёта к Земле. Командный модуль «Аполлона-11» приводнился в Тихом океане примерно в 1520 км юго-западнее Гавайских островов. Там его ждал авианосец

«Хорнет», на борту которого находился президент Соединённых Штатов, прибывший туда, чтобы первым приветствовать своих мужественных парней.

В момент приводнения командного модуля «Аполлона-11» Вернер фон Браун был в Хантсвилле. Известие об успехе вызвало всеобщее ликование, поскольку это был успех Хантсвилла, и горожане пронесли фон Брауна по улицам города на руках. Потом он праздновал высадку на Луну с сотрудниками Центра космических полётов.

Президент Никсон собирался пригласить в Белый дом ведущих участников программы «Аполлон». Празднование началось 13 августа после того, как астронавты вышли из карантина, с парада на Бродвее в Нью-Йорке, продолжилось автомобильным парадом и ралли в Чикаго и закончилось обедом в отеле «Сэнчери плаза» в Лос-Анджелесе, на котором присутствовало 1440 гостей, включая Вернера фон Брауна с супругой.

ПОЛЁТ «АПОЛЛОНА-13»

Третья лунная экспедиция была запланирована на апрель 1970 года. За три дня до старта руководством НАСА было принято решение о замене в составе экипажа: Маттингли, не имевший иммунитета к «краснухе», был заменён Джоном Суиджертом. Но именно Маттингли пришлось сыграть одну из ведущих ролей в возникшей ситуации во время полёта «Аполлона-13».

«Аполлон-13» стартовал с мыса Канаверал 11 апреля в 13 часов 13 минут. 13 апреля, когда «Аполлон-13» находился от Земли на расстоянии в 330 тысяч километров и до Луны оставалось совсем немного, Суиджерт по команде с Земли «размешал» кислород и водород выключением на несколько секунд тумблера «Вентилятор».

В этот момент неожиданно раздался громкий глухой удар, корабль качнуло, в шлемофонах зазвучал сигнал тревоги. Оказалось, что взорвался второй бак с кислородом и повредил осколками первый бак, а также ряд других жизненно важных систем корабля.

Масштаб аварии принимал катастрофический характер. На пультах управления загорелись транспаранты: «вышли из строя маршевые двигатели», «вышли из строя топливные элементы», «вышел из строя кислородный резервуар № 2». Начал перезагрузку бортовой компьютер, из-за чего оказалась потерянной часть телеметрической информации, необходимая для оценки масштаба аварии.

Командир «Аполлона-13», взглянув в иллюминатор, увидел облако неизвестно откуда взявшихся металлических осколков, а из обшивки служебного модуля вырывалась струя газа или жидкости. О происходящем тут же было доложено в Центр управления полётом. В эфире повисла гнетущая тишина. В Хьюстоне в тот момент не могли даже представить, что через 38 минут после аварии шансы у астронавтов вернуться на Землю составляли 1 к 9.

В первую очередь активировали компьютер и систему жизнеобеспечения лунного модуля, который стал играть роль спасательной шлюпки. Системы же командного модуля начали выключать, чтобы сохранить ресурс батарей. На Земле все необходимые специалисты были срочно доставлены в Хьюстон.

Через два часа после аварии состоялось первое заседание специального комитета НАСА. Сменный руководитель полётом Ланни, проводивший заседание, предложил решение, ставшее основой для всех последующих действий: «Неудачу из списка возможностей исключить!»

Приближалось время, когда предстояло совершить первую коррекцию и перевести корабль на траекторию возвращения к дому. Чтобы вести многотонный корабль с помощью двигателей лунного модуля, требовалось стабилизировать «Аполлон-13» с помощью двигателей ориентации. Если бы это не удалось сделать, то с коррекцией траектории полёта возникли бы трудноразрешимые проблемы.

Через пять с половиной часов после аварии были включены двигатели посадочной ступени лунного модуля. «Аполлон-13» сошёл с траектории, по которой он приближался к Луне, и, совершив манёвр в гравитационном поле Луны, устремился к Земле. Коррекция прошла успешно, появилась надежда на благополучный исход полёта.

Подошло время второй коррекции. Ловеллу удалось по Солнцу сориентировать корабль, и вторая коррекция тоже удалась. Но оставалось ещё три дня пути. Вечером 14 апреля зажётся транспарант «CO₂». Лунный модуль, не рассчитанный на трёх астронавтов, переполнился углекислым газом. Были изготовлены самодельные фильтры.

Устранив «углекислотную» угрозу, тут же столкнулись с другой — внутри корабля быстро падала температура. Следом ещё одна проблема: заряда бортовых батарей могло не хватить на «оживление» командного модуля. Тогда все усилия, предпринимаемые космонавтами, были бы напрасны.

Искали решение этой задачи и на Земле: нужно было так соединить электроцепи лунного и командного модулей, чтобы создать единую систему и выработать такой порядок включения тумблеров, чтобы не потерять ни единого ватта энергии. Отстранённый от полёта Томас Маттингли в тренажёре лунной кабины искал ту комбинацию переключения тумблеров, которая помогла бы сохранить жизни его товарищей.

На борту тем временем происходили новые события: 15 апреля Хейс в иллюминатор увидел истекавший из основания лунного модуля белый пар. Оказалось, что это всего лишь сработал предохранительный клапан гелиевого баллона, а гелия на борту было в избытке. Затем сработал датчик перегрева одной из химических батарей, что было уже очень серьёзно. Транспарант мигал пять часов, не добавляя астронавтам оптимизма.

Вечером того же дня была успешно проведена третья коррекция. Земля поблагодарила смертельно уставший экипаж за отличную работу. С момента возникновения аварии пошёл 50-й час. После четвёртой коррекции вырвало предохранительный клапан гелиевого баллона посадочного двигателя лунной кабины. Проведённые измерения показали, что угол входа аппарата в атмосферу Земли хоть и попадает в допустимые пределы, но не оптимален. Требовалась ещё одна, пятая по счёту коррекция. Однако пятый запуск стал невозможен.

К утру в лунном модуле стало по-настоящему холодно. На приборах выступил иней, уснуть было невозможно. Земля приближалась, а все мысли были лишь о том, как бы немного согреться. Тем временем Маттингли нашёл всё-таки комбинацию порядка переключения систем, требовавшую минимума энергии для посадки. Вечером он начал диктовать экипажу последовательность работы.

17 апреля в 2 часа 35 минут поступила команда с Земли: «Все включать». Астронавты приступили к реализации программы, которую для них составил Маттингли. Системы начали оживать. В те минуты никто не хотел думать об опасности, которая состояла в том, что заиндевевшие контакты могли заискрить, а в кислородной атмосфере корабля любая искра могла привести к катастрофе.

В 5 часов 10 минут началось включение систем командного модуля. Этим занялся Суиджерт, который в течение трёх с лишним суток был вынужден лишь наблюдать за работой своих товарищей, но теперь на

его плечи ложилась ответственность за жизнь экипажа. В 6 часов 52 минуты началась четвёртая коррекция траектории полёта.

Почти у самой Земли экипаж провёл последние перед посадкой работы: перешёл в командный модуль, отделил лунную кабину, сориентировал корабль. И вот он входит в земную атмосферу. Вся Америка приникла к экранам телевизоров, динамикам радиоприёмников. Когда капсулу окутало облако плазмы, связь оборвалась. Пауза должна была составить 180 секунд, после чего стало бы ясно: жив экипаж или погиб.

180 секунд — связи нет. 185 секунд, 190 секунд — связи нет. У специалистов, следивших за посадкой, прибавилось немало седых волос. 193 секунды — связи нет. 194 секунды — сквозь треск помех пробивается голос Джона Суиджерта: «Всё о'кей!». Центр управления полётом в Хьюстоне сотрясается от радостного крика.

Так закончилась эта беспрецедентная по мужеству космическая эпопея.

НАЧАЛО РАЗРАБОТКИ МНОГОРАЗОВОЙ СИСТЕМЫ

В марте 1970 года президент Никсон объявил своё решение по поводу рекомендаций специальной комиссии по космосу. Он поддержал наименее дорогостоящий вариант будущей космической программы — разработку многоразовой космической транспортной системы, отказавшись рассматривать вопрос о создании космической станции, прежде чем будет создан космический челнок.

Но уже 22 июля 1969 года, ещё до возвращения «Аполлона-11», НАСА дало указание своим подразделениям начать разработку «Скайлэб» — наиболее простой космической станции с экипажем из трёх человек. Эта станция, которая хотя и не могла бы служить ступенькой для экспедиции на Марс, но могла быть использована для испытания снаряжения и тренировок людей, которые, в конце концов, отправились бы в такое путешествие.

Космическая транспортная система впервые была представлена американцам 5 января 1972 года.

БРАУН УХОДИТ ИЗ НАСА

10 июня 1972 года фон Браун объявил о своём уходе из НАСА. 1 июля, в возрасте 60 лет, он впервые оказался в частном секторе, в компании «Фэрчайлд индастриз» в Джермантауне, штат Мэриленд.

В корпорации «Фэрчайлд» он занял должность исполнительного вице-президента по опытно-конструкторским работам. Эта должность была гораздо менее престижной, чем его прежние должности в Пенемюнде и в Хантсвилле, но это было лучшее, что ему предложили. К тому же его новые сотрудники относились к нему с огромным уважением, а штаб-квартира корпорации находилась на расстоянии короткой поездки от его дома в Александрии, штат Вирджиния, и от Вашингтона. Да и проекты компании были весьма значительными, а на фон Брауна было возложено стратегическое планирование будущего корпорации.

Когда корпорация «Фэрчайлд» нуждалась в поддержке могущественных людей, фон Браун отправлялся на Капитолийский холм, где он за много лет завёл немало друзей, занимавших высокое положение. Хотя он и не входил никогда во властные структуры, но был знаменитостью, с которым престижно было состоять в приятельских отношениях.

15 июля 1975 года последний «Сатурн» был использован в программе «Аполлон-Союз». Он должен был доставить на орбиту корабль «Аполлон» с тремя американскими астронавтами, где ему предстояла стыковка с советским кораблём «Союз». Вернер фон Браун, который присутствовал в Космическом центре имени Джона Кеннеди во время запуска корабля «Аполлон», был горд своими ракетами класса «Сатурн», ни одна из которых не потерпела аварию. Такой результат не был достигнут никаким другим конструктором ракет.

БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ

Вскоре после этого во время отдыха с семьёй у него случилось кровотечение кишечника. Через несколько недель на Аляске, во время деловой поездки, кровотечение повторилось. Шестого августа фон Браун обратился в госпиталь, где у него обнаружили злокачественную опухоль толстой кишки. Была проведена операция по удалению опухоли, и через четыре недели его выписали.

В ноябре 1975 года Вернер фон Браун приступил к работе, но по рекомендации врачей сократил свой рабочий день. Поначалу ему казалось, что и над раком он одержал победу. Однако его состояние вновь стало ухудшаться. В кишечнике образовался инфекционный инфильтрат, который вызывал повышенную температуру, потом начала кро-

воточить толстая кишка. В мае 1976 года он снова лёг в больницу на переливание крови и внутривенное питание.

Рак уже не поддавался ни хирургическому, ни медикаментозному лечению. Фон Браун смирился с неизбежным и ушёл 31 декабря 1976 года в отставку из компании «Фэрчайлд». В начале 1977 года президент Джеральд Форд наградил его Национальной медалью за вклад в науку. Но его состояние настолько ухудшилось, что он не смог лично получить награду. Доктора даже не разрешили сотрудникам Белого дома посетить его в больнице, и медаль передал ему близкий друг и бывший его шеф Эд Ул. Фон Браун был тронут этим знаком признания его заслуг со стороны второй его родины.

16 июня 1977 года в присутствии жены и троих детей Вернер фон Браун скончался.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

Вернер фон Браун был всегда корректен и вежлив. Он выходил из себя, только если ему напоминали о службе в СС и о том, что его «Фау» несли смерть женщинам и детям. Из-за этого он не любил ездить в Европу — там об этом напоминали чаще. В Англии фон Брауна избрали почётным доктором, а толпа забросала его машину тухлыми яйцами. Фон Браун в СССР, в Англии, во Франции был фигурой нон-грата.

Не всё было безоблачным на небосводе славы в Америке. Нашлись люди, которые не разделяли всеобщих восторгов по поводу его личности. Они считали, что вина на нём огромная. Они создали общество «Друзья узников лагеря «Дора-Эллрих» и потребовали, чтобы фон Браун разделил ответственность за страдания узников концлагеря, в котором делали ракеты «Фау-2».

Их чувства были оскорблены тем, что человеку, ответственному за создание смертоносного оружия, оказывались такие большие почести. К апрелю 1966 года набралось так много писем, что невозможно стало их игнорировать. «Пари матч» попросила фон Брауна ответить своим обвинителям. 26 апреля был опубликован его ответ.

Фон Браун отрицал всякую ответственность, написав: «Как ни понятна мне их горечь, я потрясён ложными обвинениями в мой адрес». Он считал, что жертвы «Доры» и «Миттельверка» теперь стремятся превратить в жертву его самого. Он напомнил, что правительство

США внимательно изучало его прошлое, а трибунал, расследовавший преступления в лагере «Дора», против него ничего не нашёл.

Фон Браун утверждал, что не должен нести ответственность за преступления Третьего рейха. В письме в «Пари матч» фон Браун отмечал, что ему «...стыдно, что подобное могло происходить в Германии, даже в условиях войны, когда под угрозой было существование нации». Напомнил он и о своём аресте гестапо по обвинению в саботаже программы разработки «Фау-2». Редакцию «Пари матч» вполне удовлетворил ответ фон Брауна, и она больше не поднимала этот вопрос.

Через 6 недель после триумфального полёта «Аполлона-11» в Уилмингтоне, штат Делавэр, клуб «Голден слиппер сквер», по преимуществу еврейская организация, пригласила фон Брауна вместе с другими сотрудниками НАСА на банкет. Перед входом их встретила группа, называвшая себя «Выжившие Уилмингтона».

Это были евреи, бывшие узники концлагерей, которые не собирались забывать прошлое. Около 25 пикетчиков собрались возле клуба с плакатами, напоминавшими о нацистском прошлом фон Брауна. Демонстранты растоптали нацистский флаг и мирно разошлись.

Прожив в Соединённых Штатах 25 лет, будучи 15 лет гражданином страны и проработав 25 лет на правительство, Вернер фон Браун так и не смог добиться полного доверия.

ОБ АВТОРЕ

Марк Аврутин по образованию и призванию — системный аналитик; более 30 лет проработал в КБ им. акад. Королёва, занимался анализом и проектированием систем комплексного управления.

С 1997 г. живёт в Германии. Издал несколько книг, в том числе «О причинах русской катастрофы XX века», «Размышляя о Великой войне», «Третий взгляд на «третью силу», «Лидеры ракетно-космической гонки: прощённый зек Сергей Королёв и бывший военнопленный Вернер фон Браун».

...Для нас это будет просто мясорубка, мы истощены, мы не на своей земле, не знаем местность, связи нет, поддержки авиации и артиллерии нет, те, кто прорвались вперёд, уже уничтожены. <...> Где основные силы? Где «арматы», «сарматы», «белые лебеди» и все остальное дерьмо из пропаганды по ТВ?! <...>

Павел Филатьев

...Мне осталось жить всего два года. Как человек здравомыслящий и верящий в Бога, я спокойно отнеслась к этой новости. Оглядев себя и свою жизнь, поняла, что за 38 лет не оставила на белом свете ничего, на чем можно остановить внимание и даже взгляд. Но что-то оставить я должна. Поэтому я прошу Вас сделать мне ребенка...

Владимир Батшев

Два коня на горе, на последней вечерней заре.
Так уходит поэт, разделившись на две ипостаси:
Тело тащится к пропасти, сидя на смертном одре,
И взлетает душа в небеса на бессмертном Пегасе

Борис Камянов

...Потрясает, как они слышали друг друга, эти две женщины, Галина и Наталья, жена и подруга, и какое великодушие проявляли обе. Пылкая неприязнь сменяла пылкую дружбу, ссорились и мирились, обижались и плакали, но всегда над ними сияла звезда Ерофеева, и обе совершали подвиг терпения и любви...

Ольга Кучкина

Как-то сомнительно то, что добро посильнее, чем зло.
Если задуматься, истины в этом так мало.
Мне в этом смысле по жизни на редкость везло:
Просто большое и сильное зло мною пренебрегало.

Валерий Скобло

...Мое первое впечатление от Франции — темнота, красные огни впереди идущих машин и ровная-ровная цепь белых фонарей вдоль шоссе. По нему мы и поехали в Мезон-Альфр на машине, где в кармане на спинке сиденья лежал пистолет, из которого папа выстрелит в себя в Шатийоне через сорок лет...

Дмитрий Петров

...Вернер фон Браун был всегда корректен и вежлив. Он выходил из себя, только если ему напоминали о службе в СС и о том, что его «Фау» несли смерть женщинам и детям. Из-за этого он не любил ездить в Европу — там об этом напоминали чаще. В Англии фон Брауна избрали почетным доктором, а толпа забросала его машину тухлыми яйцами...

Марк Аврутин